КОЛЛЕКЦИЯ / ТЕКСТ

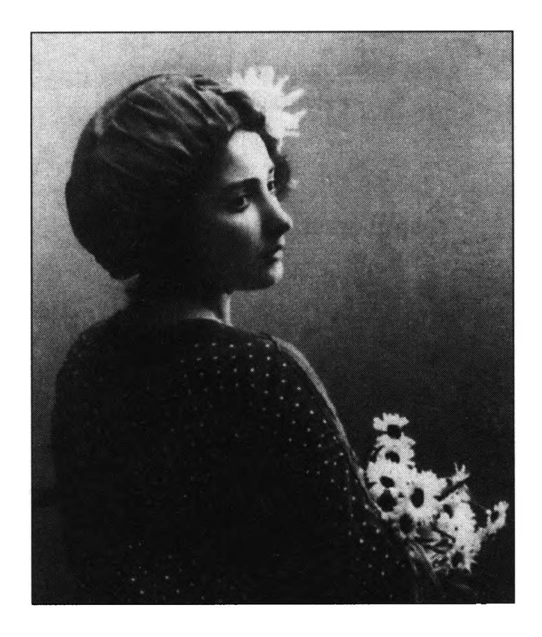


Белла Шагал

ГОРЯЩИЕ ОГНИ

Иллюстрации Марка Шагала


text
текст



Белла Шагал (Розенфельд),
1908 г.

Bella Chagall

LUMIÈRES ALLUMÉES

GALLIMARD

Белла Шагал

ГОРЯЩИЕ ОГНИ

Перевод с французского
Н.Мавлевич

Иллюстрации Марка Шагала

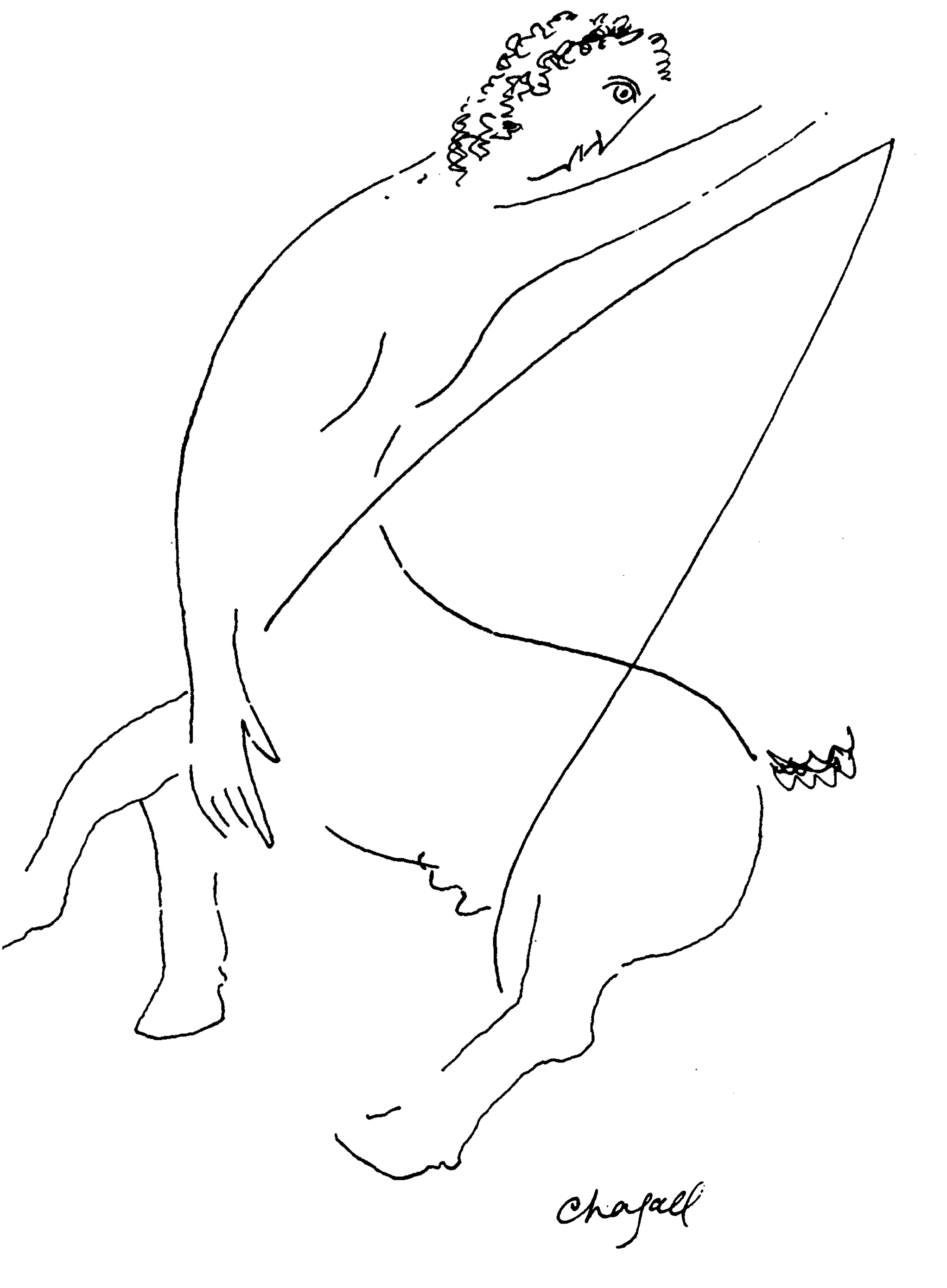
МОСКВА «ТЕКСТ» 2001

ББК 84(4Фра)
Ш15

*Издательство благодарит
Министерство иностранных дел Франции
за помощь в издании этой книги*

ISBN 5-7516-0205-6

ГОРЯЩИЕ
ОГНИ


Chagall

НАСЛЕДСТВО

Мне почему-то хочется писать, мало того — писать на неуклюжем родном наречии, на котором я и говорить-то не говорила, с тех пор как покинула родительский дом.

Детские годы вдруг возвращаются издалека, подступают все ближе и ближе, так близко, что вбирают мое дыхание.

Ясно вижу пухленькую девчушку, что носится по всему дому, влетает во все двери по очереди или влезает на широкий подоконник и, затаившись, лежит на животе да болтает задранными ногами, — это я.

Отец, мама, обе бабушки, красавец дедушка, вся наша семья и семьи соседей, свадьбы и похороны, богачи и бедняки, улицы и сады нашего городка — все протекает перед глазами, как неспешные воды глубокой Двины.

Моего дома больше нет.

Все прошло, все, наверное, вымерло.

Отец — да будет он нам заступником на небесах! — умер. Мама живет — Бог весть! — в гойском городе, среди чужих. Дети рассеяны кто где — на этом и на том свете. Но из всего сгинувшего наследства каждый унес с собой, как клочок отцовского савана; память о родном доме, его дух.

Я разворачиваю свой клочок наследства — и поднимаются запахи этого старого дома.

Уши наполняются звуками: голоса в магазине, напевное молитвословие раввина по большим праздникам. Тени скользят из всех углов, и стоит коснуться какой-нибудь из них, как она увлекает меня в призрачный хоровод. Тени обступают, толкают в спину, хлопают по плечам, хватают за руки и за ноги, наконец, облепляют

меня все разом, точно жужжащий мушиный рой в знойный полдень. И никуда от них не скрыться.

И вот однажды мне захотелось вырвать из небытия день, час, минуту той позабытой жизни.

Но как... как, Боже мой, оживить мгновения? Извлекать капли жизни из засохших воспоминаний так трудно! Тем более что эти скудные воспоминания меркнут, меркнут и вскоре исчезнут со мною вместе.

Я бы хотела их спасти.

Да ведь и ты, мой верный, нежный друг, помнится, не раз просил меня рассказать, как я жила до встречи с тобой.

Что ж, пишу для тебя.

Тебе наш город еще дороже, чем мне. И ты своим любящим сердцем поймешь все то, чего я не сумею высказать словами...

Одно лишь мучает. А поймет ли моя кровиночка-дочка, которая в том доме провела всего лишь год, первый год своей жизни?

Сен-Дье, 1939

ДВОР

После завтрака все расходятся, и дом пустеет.

Большой дом, а в нем совсем никого. Хоть впускай козу со двора или кур из курятника. Слышно только, как хлюпает вода на кухне — моют посуду.

— Ты подмела пол в столовой? — раздается оттуда, и из кухонной двери вылетает Саша со шваброй в руках. — Ты что тут делаешь?

— Ничего!

— Ну-ка, выйди! Мне надо подмести.

— Подметай, кто тебе мешает?

Вместе с крошками швабра выметает последние отзвуки застольных разговоров. Столовая остыла.

Разом постарели стены. Бросается в глаза, как выцвели обои. Со стола все убрали, и он нелепо торчит посреди комнаты.

Я тут тоже явно лишняя.

Куда бы деваться?

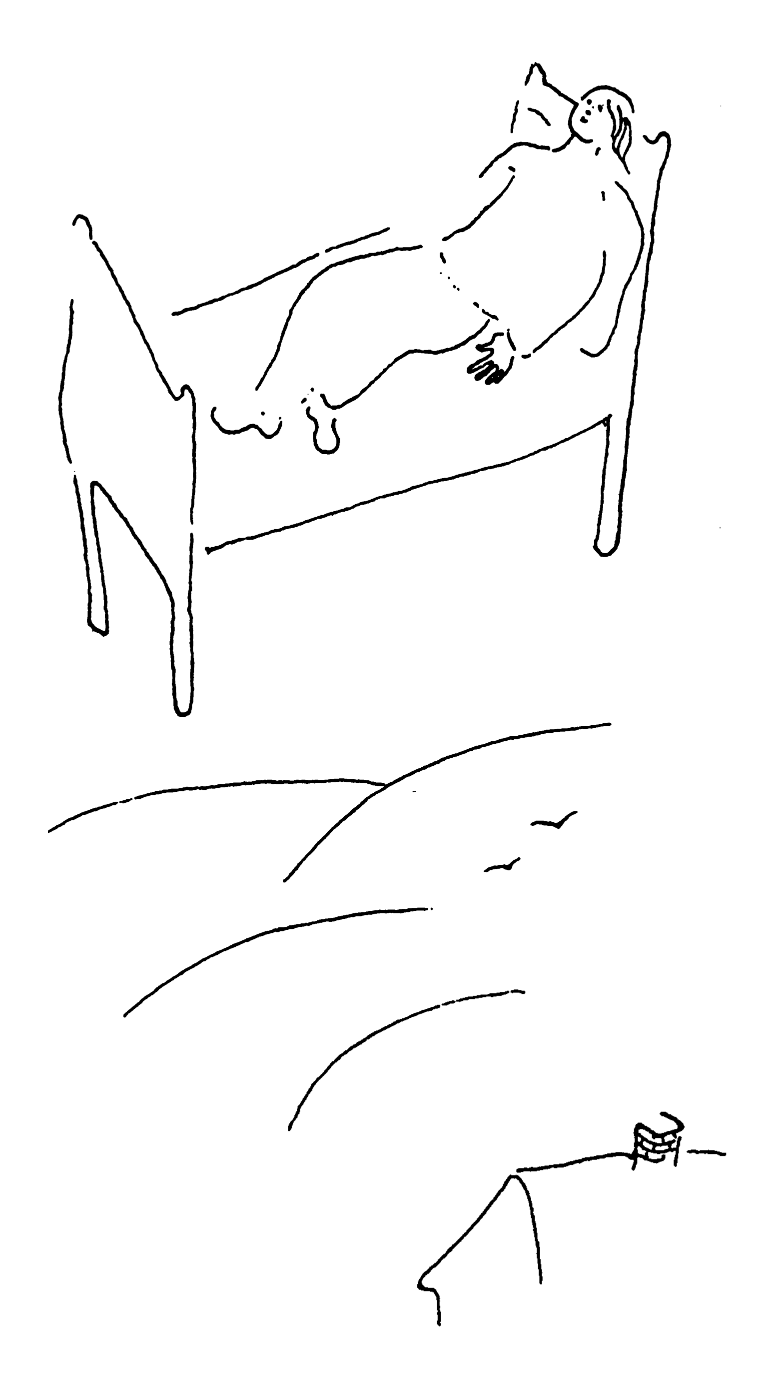
Иду бродить по дому. Забредаю в спальню. Узкие, гладко застеленные кровати похожи на клетки. Кому тут лежать среди дня?

Пара высоких кроватей, папина и мамина, сияет никелем. Никелированные прутья передней и задней спинок и огромные никелированные шары, как неприступные часовые.

Попробуй подойди — полыхнут в лицо как из пулемета. Я смотрюсь в зеркальный шар: перекошенное лицо, приплюснутый нос.

Бегу прочь и натыкаюсь на дверь.

Я и забыла про гостиную. Эта дверь всегда закрыта. Да и входить-то страшновато.



К свадьбе брата в гостиной, чтобы не осрамиться перед невестиной семьей, сменили стулья: вместо старых, венских, поставили новые, мягкие, и комната стала чужой, как будто отделилась от всего дома.

Здесь темно.

Зеленое плюшевое покрывало густым мхом облепляет диван. Стоит на него присесть или прилечь — даже коту! — как пружины издают стон: не дотрагивайся, больно!

На полу зеленым газоном — ковер.

Вытканные посередине розы заставляют почтительно обходить центр, чтобы и тень ноги не наступала на эту роскошь.

Даже высокое узкое зеркало отливает зеленью. Ведь в нем день и ночь отражаются вещи в зеленых тонах.

У окна сохнет с тоски старая пальма, одна-одинешенька в болотном полумраке.

Окно всегда закрыто и зашторено, бедной пальме на солнышко и не глянуть.

Вместо солнца поблескивают два бронзовых канделябра на высоких треножниках. В них шеренги коротких белых свечей, которые никогда не зажигаются.

Под потолком застыла бронзовая люстра с подрагивающими, как живые, хрустальными подвесками.

По ночам пальма думает, что на небе-потолке для нее мерцает какое-то светило, а подвижные хрусталики искрятся звездами. Чтобы держаться так долго и стойко, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, она сама должна быть прочнее бронзы...

В гостиной никто не задерживается подолгу. По ней переходят, как по трапу, перекинутому из одной комнаты в другую.

Только папа молится тут по утрам, накинув талес — молитвенное покрывало и надев филактерии*.

---

* Филактерии — кожаные коробочки со священными текстами, которые во время молитвы закрепляются ремешками на лбу и на левой руке. (*Здесь и далее примеч. переводчика.*)

Ему, верно, кажется, что он выходит молиться в чистое поле.

Если же заходит в гостиную днем за какой-нибудь духовной книгой, старается не смотреть по сторонам.

Книжный шкаф — единственный предмет, который остался от прежней обстановки. Как стоял, так и стоит в углу около двери. Такую махину просто с места не сдвинешь.

Занятый своими книгами, шкаф замер в немой неподвижности, никак не отзываясь на бурлящую в доме жизнь.

Я подхожу к нему, как к престарелому родственнику. Прикасаюсь рукой — низенькие ножки жалобно скрипят. Нелегко им поддерживать эту тяжесть.

Разглядываю ряды книг за стеклянными дверцами.

Каждая полка — святилище.

Вот тесно прижавшиеся друг к другу черные картонные корешки Гемары*, высокие и стройные, ни дать ни взять старые евреи, рядком вдоль стены, собрались, чтобы славить Господа.

На другой полке расположились толстенные фолианты, тут Махзор, сиддуры** и сборники псалмов.

А на самых верхних громоздится столько пухлых молитвенников, что так и слышишь шепот! Книги просыпаются под моим взглядом.

Я поворачиваюсь и бегу, а они кричат мне вслед, как мой старый дед кричал маме: зачем меня учат русскому, наняли бы лучше преподавателя идиша!

И тут — ох! — я вспоминаю: сейчас придет маленький ребе давать мне урок и я опять буду засыпать над алфавитом. Как бы улизнуть?

— Башенька? Куда это ты бежишь как угорелая? — останавливает меня Саша.

— А тебе что? Никуда!

---

* Гемара — одна из двух частей Талмуда.

** Махзор — сборник праздничных молитв; сиддуры — молитвенники.

И я выскакиваю во двор.

Ступеньки крыльца, хоть и железные, прогибаются под ногами. Они сделаны из тонких, не прилегающих друг к другу пластинок, а крыльцо довольно высокое. Лестница идет вверх и вниз, зигзагами. Перила поддерживают марши, словно цепи.

Верхний конец упирается в застекленный чердак, где живет фотограф. Нижний сбегает чуть ли не в середину двора.

А под самыми последними ступеньками мой домик.

Тут у меня целый магазин: досыхают пирожки из мокрого песка, расставлены консервные банки с овсяной мукой, камушками, черепками, цветными стекляшками — склад сокровищ, которые я подбираю во дворе и прячу, чтоб никто не затоптал.

Маленький квадратный двор стиснут высокими стенами. Тут свой мир. Солнце сюда не проникает. Высоко над головой виден кусочек неба. Свет свисает по стенам лоскутами.

Первый этаж по всему периметру занимают окна и двери гостиницы «Брози». Каждое окно — отдельный номер, из каждого смотрит голова. И каждый день новая. Как только заезжает новый гость, на окне опускается штора.

— Видишь, маленькая барышня? Новые постояльцы приехали. — Пекарь вышел во двор передохнуть и показывает мне на одно такое окошко. — Наверное, только что с поезда и отдыхают. Ты не будешь шуметь во дворе, правда?

Шуметь — я?

Жаль, я не успела расспросить его. Может, он бы объяснил, почему все они так устают с дороги. Ведь бежит-то поезд, а они сидят!

Старый пекарь знает, что я его боюсь, боюсь его перепачканного мукой лица, белого колпака и большого белого фартука.

Нет, но чтобы я шумела!

Сижу себе спокойненько на крылечке. А шума во дворе хватает и без меня. То и дело снуют, как мыши, взад-вперед гостиничные слуги. Что-то тащат, нагружают, выгружают. С улицы заходят торговки со своим товаром: яйцами, курами, сметаной. Страшная суматоха.

Куры кудахчут, кот путается под ногами. Пес, задрав хвост и свесив язык, атакует петуха, тот хлопает крыльями. Кот забивается в угол.

Пес рыщет по двору, все обнюхивает, как будто он тут управляющий и должен все знать. Слуги толкаются, ругаются.

— Купите петушка! — причитает торговка.

— Пошла ты со своим петушком! Он у тебя старше праотца Авраама!

— Что ты, Господь с тобой! Да пусть у меня руки-ноги отсохнут, коли так!

— Иди, иди отсюда, старая ведьма, слышишь? А не то...

Старушонка с петухом молча съеживается. Лучше переждать, глядишь, забияка угомонится. Ну вот, он уже прицепился к кому-то другому:

— Куда, к черту, прешь?! Закатил бочонок в самую грязищу!

— Что? Где? Чего привязался? Надрался, что ли? Погоди у меня...

— Эй! Петр! Степан! — окликают из кухни. — Гори вы огнем! Картошку почистили? Кухарка ждет...

Парни вскидываются и бегут в дом, торговка за ними.

— Прихвати петушка, Петр! Покажи на кухне. Поджарить — пальчики оближешь!

Но тот не оборачивается. Старуха устала кричать и, понурив голову, сует петуха назад в корзинку.

— Гла-а-а-ша-а! Где ты там, поди сюда! Тебя зовет барыня из первого!

Кто не кричит, так это прачки, которые гладят белье у открытых окон. Они поют — так, будто пар от утюгов растравляет им душу. Навзрыд. Песня тоскли-

вая, протяжная и нескончаемая, как груда белья перед каждой.

Вдруг во двор с хохотом выбегают две дочки хозяина дома. Я мчусь к ним и тут же отскакиваю. С их губ летят кровавые брызги... это вареные креветки, они разгрызают их и сплевывают красные ошметки.

— Что вы делаете? Тьфу! — Мне кажется, что они глотают ободранных мышей.

— Иван! — кричат они в открытую конюшню. — Подавай лошадей, скоро едем!

И сейчас же из конюшни доносится ржание. Там стоит пара статных вороных с лоснящимися крупами. Капельки пота стекают по гладкой шкуре. Разгоряченные, они бьют копытами, встряхивают гривами, тычутся и ищут вслепую мешок с овсом, который кучер повесил на стенке. Наконец, потоптавшись, засыпают, утонув мордами в торбе. Только торчат, точно рога, чуть подрагивающие длинные шеи.

Кучер стоит рядом с лошадьми и говорит им что-то ласковое. Его сапоги и шевелюра тоже блестят, смазанные жиром.

— Иван! — окликаю я кучера. — Ведь ты только что из города!

— Одно дело работа, другое — развлечение. Правда же, лошадушка? — Иван со всего размаху хлопает скотину по боку.

Кони высовывают глаз из торбы и смотрят на кучера. Почему не дают спокойно поесть?

Они срывают злость, прихлопывая хвостами мух.

Разогретые ноги приплясывают на месте. Сгибаются и разгибаются колени, скребут пол копыта. Только что они галопом мчались по городу, вихрем, с одной улицы на другую. А здесь, в конюшне, при каждом движении за ними волочатся длинные цепи, закрепленные на потолочной балке.

— Фр-р-р! — фыркают кони, зарывшись в овес.

Им отвечает из хлева корова.

Тут уж я не выдерживаю и бегу к ней. Конюшня хотя бы открыта — лошади могут дышать свежим воздухом. А корова заперта, как воровка в тюрьме.

Отличная рыжая корова, такая красавица, а ее словно стыдятся. Хлев, темный, нечищеный, приткнулся в самом дальнем конце двора, рядом с помойкой. Стены тоненькие, малейший ветерок продувает насквозь. Сквозь щели заливается дождь, вместо окна широкая прорезь в двери. Через нее я и гляжу на корову.

Она безвольно, грузно лежит брюхом на грязной подстилке, облепленная тучей мух. Неподвижная туша, похожая на кучу мусора.

Неужели ей и вправду лень шевельнуться?

Назойливое жужжанье она все же слышит. Иногда длинный, тонкий, заскорузлый от грязи хвост поднимается и хлещет мух. Живой кажется только голова. Нет-нет вздернется и опустится ухо. Корова явно вслушивается в каждый звук со двора. И, погруженная в безучастную тоску, целый день эти звуки степенно пережевывает.

С морды свисает слюна. Из влажных глаз вниз к ноздрям катятся крупные слезы.

Я не могу вынести ее взгляда. Он тяжким камнем давит мне сердце, будто это я виновата, что она сидит взаперти.

— Му-у... Му-у... — мычу я в темноту.

— Му-у... Му-у... — тягучим басом отвечает она и смотрит на меня с тихой радостью: хоть кто-то о ней вспомнил.

Но она знает, что не я выпущу ее на свободу, не я открою дверцу. И потому печально опускает голову и лежит, как лежала, дожидаясь дойки.

Учуяв же пар и плеск кипятка, отрывает от пола вислый живот, вымя, поднимается на ноги и ковыляет к двери.

Там, шумно дыша, застывает снова — ждет. И жадно слушает. Слышит, как Саша сыплет в лохань крупно порезанную свеклу с длинной ботвой, вареную кар-

тошку и морковь. Как заливает все это кипятком и долго размешивает, чтобы остудить. Корова вываливает язык. Бодает рогами дверь.

Едва Саша открывает хлев, корова напористо и бодро вырывается наружу. Топают копыта, колышутся бока. Засохшая грязь разлетается во все стороны.

Она ни на кого не смотрит. Идет через весь двор, глядя в землю, будто на всех обиженная. Проходя мимо запряженных лошадей, пихает их в отместку за то, что их холят, а ее нет.

В месиво она зарывается по самую шею, лакает-хлюпает воду, жует гущу. С морды течет и капает. Щеки ходят ходуном, брюхо наливается, как бурдюк. Наконец, так и не насытившись, она вылизывает громадным языком пустую лохань.

Саша подходит к ней и щупает живот.

От прикосновения теплой руки корова добреет и изготавливается к дойке.

— Постой, Башенька, не уходи, — говорит мне Саша. — Попей теплого молочка.

Как будто не знает, что я не могу видеть и слышать, как она тянет коровьи соски, как свищут тугие струйки и пенится молоко в ведре. Мне кажется, что парное молоко отдает пóтом.

— Не могу, некогда! Сейчас придет ребе. У меня урок.

— Хлебни хоть капельку.

— Завтра...

Я со смехом бегу прочь.

БАНЯ

Для меня суббота начинается с конца четверга.

Поздно вечером мама решительно выходит из магазина, вырываясь из суеты будней.

— Башенька, где ты? — кричит она. — Саша, мы идем в баню, белье готово? Поживее, мне некогда!

Служанка быстро заворачивает белье и перетягивает такой толстой бечевкой, что трещит коричневая бумага. Надевает на меня пальто, обувает галоши, туго завязывает башлык. Мне трудно дышать, наворачиваются слезы.

— Не реви, дурочка! — Саша вытирает мне мокрые глаза. — На дворе мороз, сохрани Бог, простудишься!

Мы с мамой выскальзываем с парадного хода, как будто суббота уже наступила и магазин закрыт. Идти через магазин, неся под мышкой тюк белья, пусть даже в оберточной бумаге, маме было бы неловко.

Там и правда полно народу, еще задержит кто-нибудь.

А мы спешим. Мама дотянула до последней минуты. Сани уже ждут. Извозчик, каждую неделю один и тот же, стоит напротив дома — знает, что по четвергам примерно в этот час мама отправляется в баню.

На улице морозно, нас сразу облепляет холодная снежная пелена. В санях можно укрыться, и по тому, как мама обхватывает меня рукой под потертым одеялом — чтоб не вывалилась! — я понимаю: она уже забыла про суматоху магазина, откуда только вынырнула.

Вместе с санками она летит в свежесть и даль и, не дожидаясь субботы, вся уже трепещет молитвами, которыми Бог повелел встречать ее приход.

Ехать недолго, тем более напрямки. Мы катим в темноте, понизу, вдоль речушки Витьбы. Еврейские бани тут рядом.

Кругом тишина, санки рассекают звенящий воздух. Видно, как на другом, высоком, берегу, подрагивая, мигают огоньки. Это светится Падлó, маленькая рыночная площадь.

Рынок мне хорошо знаком. Я знаю там и торговцев, и вжавшиеся в землю лавочки, особенно молочные. Не помолясь, страшно спускаться по ступенькам — мокро и скользко. И всегда холодно, как в могиле.

На серых стенах проступают капли воды. Тусклая закопченная лампа теряется под самым потолком. Свет почти не доходит до желтых брусков масла и таза со сметаной, не говоря уж о похожих на детские головки шариках твердого гомельского сыра.

Ясно видны только большие весы, троном возвышающиеся посреди подвала. Цепи болтаются, как две длинные черные косы, медные чаши торжественно принимают жалкие порции съестного, будто сама Фемида вершит суд.

Торговки расхаживают по подвалу закутанные, с лоснящимися рукавами. Проворные пальцы, торчащие из митенок, отрезают куски масла, наливают молоко в крынки, комочками-снежками накладывают творог.

И все время вопят, будто их кто-то лупит сзади. Может, так теплее.

Клубы пара нависают облаками, нет-нет да громыхнет где-нибудь ругательство. И пошли огненными язычками с прилавка на прилавок разгораться брань и ссора:

— Чума ей в глотку! Это у меня-то порченый товар?

— Провалиться мне, если вру! Ах ты!..

Торговки переходят на визг. Будто черные мыши сцепились в норе. Полыхают проклятья, и раскаляются угли в уличных жаровнях, около которых сидят обмотанные большущими платками сгорбленные тетки с корзинками жареных бобов.

Торговки ругаются так истово и со́чно, что в полутемном подвале становится веселее. Их крики догоняют и провожают везущие нас в баню сани.

Петардой донеслось особенно забористое словечко. И тут же снег прибил его к земле, а мы доехали.

— Даст Бог, заедешь за нами часика через два, — говорит мама кучеру, хотя тот и сам все знает — за столько-то лет!

В деревянных сенях путь преграждает закутанная в сто одежек кассирша. Сидит, как куль, и не шевелится, виден один нос да кончики пальцев. Рядом с ней на столе рулон билетов, мороженые яблоко и груша и бутылка с сизоватым от льда квасом на донышке.

Словно отогреваясь от нашего дыхания, она медленно разлепляет и раздвигает в знобкой улыбке смерзшиеся губы.

— Целый день сидеть — окоченеешь, — говорит она, потихоньку оживая. — Дует страшно. Пока дождешься хоть одну живую душу — кровь застынет.

Мама сочувственно улыбается в ответ и покупает для меня яблочко или грушу.

Мы толкаем низкую дверь в предбанник. Звук откинутой щеколды пробуждает от дремы двух или трех женщин в платках, накинутых на голое тело.

Как потревоженные мухи, они срываются с лавок, бросаются к нам и тараторят:

— Здравствуй, Алточка! Добрый вечер! Так поздно! Как поживаете, Алта? Детки здоровы? А ты как, Башенька? — Со всех сторон меня принимаются тискать. — Да ты, право слово, растешь, как на дрожжах!

Банщицы страшно рады — не зря они тут кисли. Платки черными крыльями спадают на пол. Я жмурюсь от телесной белизны.

От женщин исходит свет и чистота.

В предбаннике влажно, банный жар мешается с уличным холодом. Я еле узнаю́ банщиц, хоть вижу их каждый четверг. Мне кажется, что ни неделя, они становятся все старее и уродливее.

Младшая обхватывает меня костлявыми руками, от нее еще пахнет отсыревшим платком.

— Холодно, да? Платье уже расстегнула? А сменное у тебя с собой? Тогда бросим это в сундук. Ну-ка, подними ногу! Давай-давай!

Она пришпоривает меня, будто лошадь.

Не успеваю я и глазом моргнуть, как шнурки на моих ботинках расшнурованы сверху донизу, а сами ботинки вместе с чулками комом летят к черному сундуку, на котором я сижу. Крышка со мною вместе приподнимается и снова захлопывается.

Я даже не смогла заглянуть: что там, в этом сундуке, в глотающей одежду черной пасти...

Из ослепших — покрытых морозными узорами и занесенных снегом — окон дует.

Я дрожу. Банщица завернула меня в простыню.

— Потерпи еще немножко. Сейчас жарко станет. Все, пошли!

И, как козу, тащит меня, обомлевшую.

— Башенька, смотри, не дай Бог, не упади! Ступай осторожно, тут скользко!

С порога у меня перехватывает дух, иду в полуобморочном состоянии.

Густой пар застилает глаза. Над самой дверью подвешена на крючке малюсенькая жестяная лампа. Стекло на ней — меньше некуда, но и оно велико для такой крошки, огонек мигает каждый раз, как отворяется дверь.

Несколько шагов — и я застываю на месте. Страшно пошевельнуться — залитый водой пол уходит из-под ног. Струйки бегут по ногам, стекают с пола и со стен. Весь домик потеет от жары.

Банщица приносит шайки, окатывает скользкую лавку, чтобы я могла сесть. Ей некогда со мной разговаривать, тощие ягодицы ее блестят и ходят ходуном.

Течет и пенится горячая вода. Обжигающий пар поднимается от наших шаек.



Я обмякаю на разогретой лавке и послушно опускаю ноги в шайку с теплой водой.

Банщица подходит вплотную. Прямо у меня перед глазами болтаются, как пустые бурдюки, ее груди, а вздутый барабаном живот упирается мне в нос. Я зажата между шайками и этим животом. Не только повернуться, но и подумать об этом не могу.

Шершавые пальцы хватают мои длинные волосы. Одним движением банщица вздергивает их и принимается тереть большим куском мыла. Мыло скользит вверх и вниз, как будто она утюжит у меня на голове белье.

Волосы залепляют лицо, кружится голова. Но плакать некогда! Глотая слезы, стираю едкие пузыри мыла, которые лезут в глаза и кусаются. Мыло заползает в уши и в рот. Вслепую зачерпываю холодную воду из ведра.

Наконец волосы прополоскали, и я прихожу в себя. Лоб приятно щекочут длинные чистые капли. Можно вздохнуть, распрямиться, открыть глаза.

Снова скрипит дверь, и я вижу на пороге маму — она раздетая, большая и белая-белая.

Горячий пар тут же обволакивает ее. Две банщицы поддерживают ее под руки. Животы и груди обеих в капельках пота. С заправленных за уши волос сочатся тонкие струйки.

Мама смущенно стоит у входа.

Банщицы бросаются набирать шайки, открывают краны на всю мощь, окатывают и для мамы лавку кипятком.

Мама тихо опускается на лавку, занимает ее целиком. Меня столько терли и теребили, что трудно поднять голову и посмотреть на маму. А она стесняется меня и опускает глаза только оттого, что я вижу ее волосы. Ее собственные, густые и тонкие волосы вместо обычного завитого парика. Столько лет они не дышат, придавленные тяжелым париком, что совсем зачахли... меня пронзает острая тоска, будто это из меня ушли все силы. Мне все равно, пусть моют дальше.

Банщица хватает мое тело и душу тоже хватает. Распластывает меня, как кусок теста, вниз животом и снова трет, и мнет, и щиплет — можно подумать, хочет сделать из меня халу.

И наконец влепляет такой шлепок по попе, что я подскакиваю.

— Ну как, Башенька? Хорошо, а? — Банщица обрела дар речи. — Глянь, какая красненькая стала. Ущипнуть — одно удовольствие!

Скорее бы от нее избавиться. И вдруг я захожусь от страха: на меня обрушивается поток воды. Накрывает с головой. Вода подхватывает меня, чуть не смывает с лавки. Это банщица выплеснула с размаху целую шайку. Распаренная, задыхающаяся, я таю, как белый воск.

— Уф! — Банщица вздыхает и вытирает нос мокрой рукой. — Ну вот — чистенькая, блестящая, прямо бриллиантовая! На здоровье!

Она смотрит на меня стеклянистыми, вылинявшими от воды глазами и заворачивает в горячую простынку.

Наверное, ей и самой хотелось бы наконец обсохнуть. Она обхватывает меня обеими руками так бережно, как будто это не я, а белые субботние свечи, над которыми произносят благословение.

Издали я наблюдаю, как банщицы занимаются мамой. Ее, конечно, тоже намылили, растерли, окатили бодрящей теплой водичкой. Но на этом дело не кончилось.

После обливания старшая банщица уселась у маминых ног на низенькой скамеечке, а рядом, на тумбочку, поставила медный подсвечник и зажгла фитилек на кончике свечи. Когда же пламя разгорелось, принялась жаловаться маме на свою несчастную жизнь. Кажется, под тяжестью забот ее спина и голова склонились к маминым ногам.

— Да смилуется над нами Господь и да избавит нас от всех бед! — Она поднимает глаза к потолку.

— Аминь, — отзывается мама.

И, словно чтобы забыться, банщица принимается обрабатывать мамины ногти.

Прежде чем обрезать ноготь, она бормочет молитву, и каждый раз свечной язычок вспыхивает в ответ. С каждым благословением светлеет ее душа.

Мама, опустив глаза, смотрит, что делает банщица, и внимательно слушает, что она говорит.

Две женщины позади горящей свечи выхвачены из полумрака ореолом света. Два склоненных друг к другу, сияющих белизной, словно очищенных для жертвоприношения лица.

Обработав ногти у мамы на ногах, старая банщица поднимает голову и тихо произносит:

— Теперь — омовение. Идем в микву, Алта.

Мама выслушивает эти слова, будто великий секрет, не дыша. Обе медленно поднимаются на ноги, выпрямляют спины, глубоко вздыхают и переводят дух. Можно подумать, готовятся переступить порог Святого святых. И наконец две белые тени углубляются во мглу.

Мне всегда было страшно туда ходить. Потому что идти надо было через парилку, где распростертые на длинных лежанках люди терпят страшные муки. Их хлещут дымящимися вениками, капли кипятка брызжут с листьев им на спину. Женщины натужно дышат, будто жарятся на раскаленных углях. Жар обжигает мне рот, сжимает сердце.

«Наверное, это ад для великих грешниц», — думаю я, проскакивая следом за мамой в микву.

И попадаю в темное, как тюремная камера, помещение.

Старая банщица стоит на лесенке. Одной рукой она держит зажженную свечу, с другой свисает белая простыня.

Мама — мне так страшно за нее — спокойно сходит по четырем скользким ступенькам и по шею погружается в воду.

Старуха возносит хвалу Всевышнему, а мама собирается с духом. Наконец с решительным видом закры-

вает глаза, зажимает рукой ноздри и опускается под воду с головой, ныряет в вечность.

— Ко-о-о-шер! — голосом пророка выкрикивает банщица.

Я вздрагиваю, как от громового раската. И с трепетом жду — сейчас неминуемо с черного потолка ударит молния и убьет нас на месте. Или, может, из стен хлынет потоп и утопит нас в бассейне для омовений.

— Ко-о-о-шер! — снова восклицает банщица.

Вдруг кажется, что вода разверзлась. Показывается мамина голова. Она отряхивается, будто восстала со дна морского.

Трижды голосит банщица, и трижды погружается в черную воду мама.

Она уже устала. С мокрых волос, с ушей течет. Но она улыбается. Тело ее исходит восторгом.

Выходит она омытой, очищенной — впору засветится.

Банщица костлявыми длинными руками высоко поднимает простынку. Мама набрасывает ее на себя, словно надевает пару белоснежных крыльев, и улыбается мне, как светлый ангел.

Я жду ее, разгоряченная, но уже одетая, и жую свое мороженое яблоко, давно раскисшее в тепле.

Мама вдруг начинает торопиться, внезапно вспомнив, что сегодня будний день и магазин еще открыт.

Вся святость и банная истома слетает с нее. Она спешит скорее одеться. Одна банщица протягивает ей платье, другая подает ботинки, и обе тараторят про свои самые последние беды. Как будто боятся, что с маминым уходом до следующего четверга останутся с не до конца излитой душой.

Дрожащими руками они заворачивают наше белье, а потом упаковывают, как тюк, и меня.

Я еле дышу и не могу повернуться. А мама раздает женщинам чаевые и снова выслушивает многословные благословения, которыми они нас провожают:



— На здоровье, Алтенька! Бог даст, до следующего четверга! Доброго пути! Будь здорова, Башенька! Всего хорошего!

Последнее пожелание они выкрикивают особенно громко, а затем живо, как по команде, накрываются платками.

Наружная дверь распахивается словно сама собой. На миг мы застываем на пороге. Холодина!

С черного неба падает снег. Все блестит: звезды, снежинки...

Что это: день или ночь? Перед глазами белая стужа.

Наш кучер с лошадью успели врасти с большую снежную гору. Может, замерзли? Но нет, кучер улыбается. Мокрые усы разъезжаются. С густых бровей сыплются снежные комочки.

Заждавшаяся лошадь ржет.

— Счастливого пути! — слышится из банного заведения.

Сани трогаются. Кучер стегает худую конягу.

Назад через прихожую мама бежит еще быстрее, чем когда мы уезжали, бросает сверток с бельем. Ее подстегивает запах дома, магазина.

— Бог весть, что тут без меня творится!

С виноватым видом она ополаскивает раскрасневшееся лицо — и скорее за прилавок, занять свое место.

Баня, тепло — как жаль, что все так быстро кончилось!

ШАБАТ

Пятница — день особый, с самого утра. К завтраку на широком подоконнике выставлены, кроме обычных лепешек, пирожки, печенье и пирамида цибульников.

Горячего в пятницу не готовят. Вместо этого каждому дают в руку цибульник — большой, похожий на разинутое печное жерло с раскаленными углями, щедро начиненный жареным луком пирожок. Не перекидывая с ладошки на ладошку, не удержишь — обожжешься.

Откусишь — и больше не лезет. Тесто застревает в горле, пока не запьешь молоком.

— Ничего-ничего, доедай! — заставляет меня Саша. — До вечера проголодаешься...

В канун субботы в доме весь день кипит работа. С раннего утра начинают рубить лук. На кухне будто мельница крутится. Гудит плита. Шая работает как заведенная. Лепит плетеные халы, ощипывает цыплят.

Мелкий пух оседает на ее переднике, облаком вьется вокруг головы, будто вспархивают из-под рук птенчики. И снова она шинкует в миске целую горку чищеного лука, пока не превращает его в кашицу. Из глаз катятся слезы. И все в доме, кажется, пропахли луком. Кухонные запахи, один резче другого, накатывают волнами.

На дне таза бьется здоровенная рыбина. Раздувает жабры и с трудом втягивает капли воды. Из последних сил хлопает хвостом. Наконец, расплескав всю воду и судорожно дернувшись, стихает с открытым ртом. Взгляд притягивают острые плавники.

Кажется, тут не одна рыба, а множество — целый невод опростали на пол, — и все норовят ухватить и укусить нас за ноги.



Кухарка подступает к распростертой рыбе, как палач. Блестят мокрые чешуйки. Шая берет рыбину за скользкий хвост. Шмякает на влажную доску. Вспарывает ножом толстое брюхо.

Выползают сгустки крови. Рыбина мигом сдувается. Шая безжалостно рассекает ее на куски. Сдирает шкуру и снимает с костей мякоть. А потом рыба заново наполняется рубленым луком и размоченным хлебом. Нафаршированные и сбрызнутые водой куски выглядят почти как живая плоть. Чуть не сами собой они прыгают в медный котелок и долго томятся на огне, пока не станут охристо-красными. Пряный аромат щекочет ноздри — это первое предвестие Шабата.

Никто не сидит на месте. Братья с ребе торопятся в баню. Саша носится по столовой, роется в посудных шкафах, шпыняет замешкавшегося братишку:

— Хватит наливаться чаем! Мне надо начистить самовар. Ты что, забыл — наступает Шабат!

— Ну и что? Стакан чаю выпить не дает! Новый пророк объявился!

Саша служит в доме столько лет, что приучилась строго соблюдать правила кошерности и к Шабату относится с таким же благоговением, как к своему воскресенью.

Ни слова не говоря, она поворачивается спиной к братишке, хватает длинный поднос с самоваром и подставленной под кран миской, вырывает из рук мальчика сахарницу и ложку. Нагруженная, как осел, тащит все это на кухню — чистить и драить до блеска.

Навстречу ей, тяжело переступая грузными ногами, топает Шая. Обеими руками она держит огромную доску, как будто отодрала кусок пола! На посыпанной мукой поверхности красуются две или три золотистые халы. Рядом разложены хлебцы попроще с поджаристыми змейками вдоль верхней корочки.

На самом краю доски еле держится маленькая халочка, сплетенная специально для меня из остатков те-

3 – 2694

ста. Всё только что из печки, лоснится румяными, как раскрасневшиеся на солнце щечки, боками.

Кухарка оглядывает их с гордостью. Жаль из рук выпускать.

— Слава Богу, хлеб удался!

Она так и сияет улыбкой.

Шая осторожно стряхивает хлебцы на застеленный полотенцем подоконник, сверху накрывает их другим полотенцем, будто бережет от дурного глаза...

Они пышут жаром, упревают и понемногу остывают.

Откуда ни возьмись появляется папа. Садится за стол, достает из кармана перочинный ножик — ножик? у папы? вот это да! — и разворачивает кусок шелковистой бумаги.

Положив руки на стол, он принимается стричь ногти. Срезает медленно, аккуратными полумесяцами. Слышно, как обрезки падают на бумагу, папа заворачивает их и, бормоча молитву, бросает в печку. Потом, постояв минутку и поглядев, как горит маленький сверток, снова уходит в магазин.

В кухонную дверь просовывается еврейка-нищенка:

— Подай хлебушка, Шая!

Она одета в лохмотья. Один драный платок на голове, другой на плечах. Личико все в морщинах, как юбка в сборку. Из-под закрывающего низкий лоб платка выбиваются пыльно-серые патлы. И только глаза блестят сквозь это серое облако, точно догорающие угли под слоем пепла.

Нищенка топчется на пороге, заслоняет свет. Она знает, что опоздала, боится кухарки и тихонько вздыхает.

— О! Проснулась! Еще одну Бог послал! Да разве на всех напасешься? И что это сегодня стряслось? Новолуние, что ли? Со всего города попрошайки сбегаются!

Нищенка стоит, виновато понурившись.

— Раньше прийти не могла? Скоро уж свечи благословлять! Ну на, держи! Все равно до исхода субботы зачерствеет...

И Шая, ворча, сует нищенке за пазуху половину хлеба.

— Знаете, — доверительно говорю я бедняге, — там у нас перед входом в магазин раздают милостыню.

Та бросает на меня выразительный взгляд — наверняка она уже там побывала, не зря же каждую пятницу является — и молча выходит из кухни.

Саша тут же хватается за ведро, как будто после нищенки обязательно надо вымыть пол.

Тащит его первым делом в столовую, скидывает старые тапки и босиком выходит на середину комнаты. Быстро осматривается — направо, налево, — подтыкает юбки, встряхивает мокрую тряпку и давай шуровать по всему полу. Вода выплескивается из ведра, течет с тряпки, забрызгивает белые Сашины ноги.

— Саша, постой! Ты тут целую реку устроила! Дай я по твоей спине переберусь, как по мосту!

— Башка, с ума сошла! Слезай сейчас же! Весь пол запачкаешь! Слышишь? Или такую шлепку у меня получишь... Ай! Что ты делаешь! Не щекочись! Да она еще царапается, как кошка!

Саша рывком разгибается, и я растягиваюсь на мокром полу.

— Ага! Попалась! Помоги-ка мне лучше раздвинуть стол. Уже темнеет, видишь?

Мы раздвигаем большой стол и укладываем вставные доски. Стол становится таким длинным, что я, сколько ни растягиваю руки, не могу дотянуться от конца до конца. С хрустом расправляется блестящая белая скатерть и накрывает всю поверхность. В один миг скрываются ножки. Края скатерти опускаются, как шлейфы, и ниспадают складками.

— Башутка, что ты там замешкалась? — торопит меня Саша. — На! Развесь полотенца — каждое на свой гвоздь.

— Вот еще салфетки. Что с ними делать?

— Одну положи на папину халу.

Я подхожу к папиному месту и, как фату на невесту, набрасываю салфетку на субботний хлеб.

На другом, мамином, конце стола уже стоит массивный серебряный пятиствольный подсвечник. Еще две ветви прибавлены по бокам до положенного числа. В семи розетках держатся длинные белые свечи. Мамина менора, конечно, затмевает мой маленький подсвечник, подарок папы. Рельефная серебряная ножка украшена тонкой, как паутина, сквозной резьбой. Сверху — стеклянная чашечка, куда скоро капля за каплей будет стекать воск.

Стол, похожий на занесенный снегом замок, словно чего-то ждет. Вдруг бахрома на скатерти зашевелилась. Донесся какой-то шум. Слышно, как упала металлическая штора в витрине магазина. Проскрежетало ржавое железо. Слава Богу — закрывают! Доносятся голоса спешащих поскорее уйти служащих.

— Ладно, брось! — говорит мама кассирше, которая живет на другом конце города и дольше всех задерживается на работе. — На трамвай опоздаешь!

Вот наконец и папа.

Я встречаю его как дорогого гостя.

— Не знаешь, Башка, где раздобыть чистый воротничок и пару манжет?

— Вон они, на туалетном столике.

Над столиком зеркало, папа быстро отворачивается, но все-таки успевает наткнуться на свое отражение*.

— Да что такое! Петли так туго накрахмалены, что пуговицу не проденешь...

Папа отдувается — ему тесно в новом воротничке.

— Хочешь, я спрошу у Саши другой?

— Нет времени. Уже пора в синагогу.

Саша вносит самовар, зажигает лампу. Начищенный до блеска самовар бурлит и кипит — прямо паровоз! Вспыхивает лампа под абажуром. Тепло и свет раз-

---

* В субботу правоверным евреям запрещено смотреться в зеркало.

лились по комнате... Папа сел за стол и спокойно прихлебывает сладкий чай с вареньем.

Последней отрывается от магазина мама. Проверяет перед уходом, все ли заперто.

Так и слышу ее меленькие шаги. Вот она закрыла железную дверь. Вот шуршит платье. Изящные ботинки, легко ступая, приближаются к столовой. На пороге мама на миг застывает, будто ослепленная видом белоснежного стола и серебряных подсвечников. Но медлить некогда!

Она споласкивает водой лицо и руки, поправляет свой любимый кипенно-белый кружевной воротничок и, преобразившись, другим человеком подходит к свечам. Чиркает спичкой и зажигает их одну за другой. Семь свечей оживают, разгораются и ярко освещают мамино лицо. Она завороженно опускает глаза. Медленно, три раза подряд обхватывает огни кольцом рук, будто заключает свое сердце в эту оправу. И все будничные дела и заботы тают вместе со свечным воском.

Мама произносит благословение над субботними свечами. Молитвенный шепот струится из-под приложенных к лицу ладоней и еще сильнее разжигает язычки пламени. Мамины руки над свечами светятся, как скрижали Завета над священным ковчегом.

Я подхожу к маме и заглядываю ей в лицо. Мне самой хочется попасть под благодать ее рук. Хочется увидеть ее глаза. Но они прикрыты растопыренными пальцами.

От маминой меноры я зажигаю свою маленькую свечку. Так же поднимаю руки и посылаю ей сквозь изгородь пальцев обрывки перехваченных на лету молитв. Чуть запылав, свечечка начинает капать. Я обнимаю ее ладонями, чтобы унять слезы.

В мамином шепоте то и дело проскальзывают имена. Она называет папу, детей, своего отца, мать... Вот и мое имя падает в свечной костер. Что-то обжигает мне горло.

— Господи, благослови их! — Мама наконец опускает руки.


Chagall

И я выдыхаю в ладони:

— Аминь!

— Шабат шолом! — громко возвещает мама.

Открывшееся лицо ее засияло новой чистотой, словно вобрало в себя свет субботних свечей.

— Шабат шолом! — отвечает с другого конца стола папа и встает, чтобы идти в синагогу.

— Шабат шолом! — кричит Шая с порога кухни. Она тоже достала с этажерки пару медных подсвечников и вставила в них две короткие свечки. Старый стол покрыт белой скатеркой — обычной кухонной суеты как не бывало. Два белых столбика на белой глади льна смирили ее.

Вся утварь расставлена и развешана по местам. Даже плита накрыта черным железным листом. Ни горшков на печке, ни кучи дров на полу. Влажный пар не замутняет белизну стен. Все вылизано, вымыто — Шабат!

Шая сидит за столом и не знает, куда девать праздные руки. Ей становится горько. Хочется тоже хоть ненадолго почувствовать себя хозяйкой.

— Саша, выйди на минутку! — Она указывает русской служанке глазами на дверь и, оставшись одна, зажигает свечи.

Она выросла и много лет прожила среди чужих людей и вдруг вспомнила, что и у нее были отец, мать, родной дом...

— Благословен Ты, Господь Бог наш! Ты не пожелал дать мне семью, о Боже... За грехи мои, не иначе... — Шая роняет слезу. Глаза ее наливаются влагой, как лунки свечей. — Но, хвала Господу, я живу у хороших людей, в благочестивом доме. Да и сама как-никак еврейка... Где-то был же у меня молитвенник. Куда я его засунула? Эх, никогда-то не помолишься, день и ночь якшаешься с этой дурехой, как еще в ослицу не превратилась!

Вот он, молитвенник, нашелся. Шая листает его и громким голосом читает благословение над свечами.

Все ушли в синагогу. Дома остались только мы с мамой. Белый стол с подсвечниками сияет для нас одних. Кажется, само небо глядит через окно на огоньки и греется. Потрескивает лампа с висячим абажуром, мама сидит под ней и тихо молится. Слова молитв монотонно роятся. Иногда вдруг вздохнет какая-нибудь из свечей. А моя свечечка совсем догорает.

Почти уткнувшись в стенку, я читаю хвалебные гимны.

А стенка дышит, дышит, как живая. Хочется разрастись в ее величину. И страшно коснуться ее, даже раскрытым молитвенником.

Наконец в прихожей слышны голоса. Вернулись из синагоги братья. Толкаются в дверях, орут наперебой:

— Ну как тебе чтец? Мчался как на пожар!

— А ты хоть Шмоне эсре* прочитал?

— Я? Я сидел рядом с дядей Бере... А он так брызгается слюной!

— Фу, Израиль, невежа! Лучше помоги мне вытащить руку из рукава, подкладка вывернулась — прямо турецкий полумесяц!

— Давай же! Шевелись! Ишь скроил рожу!

Мальчишки кидают друг в друга пальто.

Мендель мечтательно вздыхает:

— Вот бы меня вызвали завтра читать Тору...

— И ты бы трясся как осиновый лист... — подкалывает его Абрашка.

— Тихо! — осаживает их вошедший следом ребе. — Вам бы только насмешничать, ничего святого!.. Разбойники! Хоть бы «Шабат шолом» сказали!

Ребе отчитывает их тихим, ровным голосом, притушив в честь субботы свою обычную гневливость.

Почему это мои братцы всегда приходят из синагоги такими взбудораженными? Туда их чуть ли не гнать приходится: «Уже поздно! Пора в синагогу!» Возвраща-

---

* Шмоне эсре — «Восемнадцать благословений» — одна из двух главных молитв иудейского богослужения.

ются же веселее некуда. А уж тем для разговоров хватает на целую неделю. Что там такое происходит, в синагоге? И что так долго делает там папа? Он каждый раз приходит самым последним. Наверное, ему мешают молящиеся во весь голос евреи, и он принимается возносить славословия Богу, когда все расходятся. Даже в пятницу вечером задерживается один допоздна. Кругом тишина. Только редкие мухи кружат вокруг светильников и жужжат.

Папа, стоя на своем месте, лицом на восток, раскачивается из стороны в сторону, как колеблемое ветром дерево за окном.

Отрешившись от мира, с закрытыми глазами, он молится, тихонько и нараспев. Пропетые стихи парят и трепещут вокруг него. Издали поглядывает шамес*, маленький, тщедушный, совсем крохотный рядом с толстенными фолиантами на столике.

Шамес уже давно завершил свои молитвы. Он всегда кончает первым, чтобы почтенным людям не приходилось его дожидаться. И теперь сидит, молчит, как стена, и ждет папу. А папа все раскачивается. Шамес в своем углу — тоже. Папа вздыхает. Шамес — тоже. Заслышав мягкие папины шаги, встает. Папа отходит от стены, шамес отрывается от скамейки, радуясь, что папа наконец закончил свои «Восемнадцать благословений» и можно отдохнуть.

— Шабат шолом! — приветствует его еще не спустившийся на землю папа, брызгая слюной во все стороны. Шамес помогает ему надеть пальто.

— Реб Шмуль-Ноах! — шепчет шамес. — Во дворе перед синагогой остались два солдата из еврейских семей. Бедняжки! Им некуда податься...

— Что ты говоришь? — вскидывается папа. — Поди скажи им, что я прошу их не уходить, пусть идут со мной. Еврейское дитя, в Шабат, без трапезы! Боже милостивый!

---

* Шамес — синагогальный служка.

И папа спешит домой: нехорошо, что он так задержался.

— Шабат шолом! Алта, — говорит он маме, показывая на солдат, которые остаются робко стоять в дверях, — я привел двоих славных парнишек, из приличных семей. Зови их за стол.

Братья притихли и смотрят на гостей. Абрашка не выдерживает и бросается к ним. Он ослеплен блеском военных пуговиц и не может совладать с собой. Ему непременно надо все-все потрогать.

— Можно мне примерить ваш ремень? А где ваша винтовка?

Мальчишки тянут солдат на свой конец стола. Папа омывает руки. Трижды обливает каждую водой из тяжелого медного кувшина, а затем медленно вытирает по одному пальцу. То же самое делают братья. Каждый старается, чтобы последняя капля воды досталась ему. Полотенце выдирают друг у друга из рук.

Загрохотали стулья — мальчишки шумно рассаживаются.

— Тише! — прикрикивает папа. — Что за возня в субботний вечер? Как не стыдно перед гостями! Прекратите!.. — Он указывает на полную до краев стопку. — Благословение над вином!

Все встают. За столом тишина. Кухарка Шая застывает на пороге. Папа медлит, словно собираясь с духом. Серебряная с черneными цветочками стопка-ведрышко подрагивает в его руке. Вино выплескивается на пальцы, капает и расплывается пятном на белой скатерти. Папа берет стопку покрепче, сжимая всей пятерней. Медленно раскачиваясь из стороны в сторону, он начинает благословение. Глаза его закрыты, кажется, прежде чем выговорить слова, он вдыхает их вместе с ароматом вина. Широкий лоб его собирается складками. Крепнущий от перелива к переливу голос словно пропитывается вином, вино же от пения сгущается до гранатового цвета. Протяжный речитатив усыпляет.



— Аминь! — восклицает наконец папа, подносит стопку к губам и, не поднимая век, отпивает глоток.

— Аминь! — вторим мы громким хором.

— Аминь! — отзывается Шая и снова бежит на кухню.

Мама, молча проглотив несколько капель, шепчет:

— Благодарим за то, что даровано нам в добром здравии встретить Шабат!.. Благословен Ты, Господь Бог наш!.. Башенька, на, пригубь! — Она с улыбкой дает мне тоже приложиться к стопке, и вино обжигает мне рот.

Сижу я, как обычно, между папой и мамой и с двух сторон ощущаю на лице тепло их дыхания. Папина борода иногда касается моего плеча. Капелька вина дрожит у него на усах, как будто ритуальный напиток отметил его губы капелькой крови.

— Хотите прочитать киддуш?* — предлагает папа старшему из солдат, и винная капелька слетает на меня.

— Спасибо, нет! — Гость краснеет и смущенно покашливает.

— Что ж! Благословим хлеба!

Папа произносит славословия над халами и разламывает их.

Со всех сторон к нему тянутся руки.

Вдруг все взоры обращаются к входящей в столовую Саше. Остро пахнет луком и перцем. Покрасневшая, очутившись в центре внимания, девушка бережно подносит маме длинное блюдо с фаршированной рыбой. Оно покачивается у нее в руках, как лодка. Куски рыбы тесно уложены, прилеплены друг к другу, так что их трудно брать: один налезает на другой. Все они наполовину утоплены в застывшем желе.

— Мамочка, мне вон тот кругленький кусочек! Тот, что с краешку!

---

* Киддуш — «освящение», молитва над вином или хлебом.

Мама делит рыбу и раскладывает по тарелкам. Рука ее порхает без устали. Все погружаются в еду, жуют, причмокивают. Растут горки обсосанных рыбьих косточек. А мама все отделяет и подкладывает новые куски.

Папа первым вытирает губы и спрашивает солдат:

— Откуда вы? Кто ваши родители? Чем они занимаются?

Солдаты, старательно, склонив затылки, выбиравшие косточки из своих порций, вздрогнули от неожиданности, словно их поймали на месте преступления, и что-то замычали с полными ртами.

Их тут же атаковали братцы:

— А скажите, что вам приказывают делать в полку? Офицеры на вас не кричат? Не дерутся? А где вы спите? А стрелять из ружья умеете?

Бедные солдатики, на которых напали со всех сторон, растерянно отставляют тарелки. Кому первому отвечать? Или лучше поскорее доесть, чтобы не заставлять себя ждать?

— Дети, дайте людям спокойно поесть! Что вы к ним пристали? Так мы не закончим обед до завтра!

Вносят дымящуюся супницу. Прозрачный бульон отсвечивает золотыми бляшками, морщится шафранной рябью, в нем плавают белые рисинки. Две беленькие вареные курицы, совсем как живые, возлежат на блюде.

— Ну, этот мальчик себя не обидит! А ты, детка? — Мама поворачивается ко мне. — На-ка тебе ножку и вот еще морковка, ты же любишь цимес, правда?

Ярко-красная морковка улыбается мне с блюда.

— Кто хочет крылышко?

Куриные крылышки трепещут под мамиными руками, будто птица вот-вот взлетит. Мама продолжает разделывать и еле успевает раздавать куски.

— Кому шейку? Второе крылышко?

Все уже сомлели. У нас закрываются глаза. Скатерть вся в пятнах.

Трапеза заканчивается при свечах.

В субботу после обеда весь дом засыпает. Только кухарка Шая на ногах. Всю неделю она ждала Шабата, а когда этот день наконец наступал, только и думала, когда же он наконец кончится, чтобы она могла пересмотреть все свои платья, разложить украшения, выбрать что получше, приодеться и пойти гулять... и гулять, гулять сколько влезет...

Но стоит ей открыть свой сундук, как она забывает обо всем на свете. Ощупывает, перетряхивает, перебирает вещи, как прожитые годы...

— Видишь? Это мне подарили на прошлую Пасху... шляпка моей тогдашней хозяйки, той, что...

— Хватит тебе болтать! Все давно гуляют! — поддевает ее горничная.

— Но в чем я пойду? Нечего надеть!

Наконец — готово. Кухарка расфуфырена, как на свадьбу: в пышном наряде она стала в три раза шире и еле держится на ногах. Новые туфли немилосердно жмут. Шая приосанилась, представив себе, что на нее уже смотрит вся улица.

— Ну как, Саша? Кто скажет, что я простая прислуга? — Она оглядывает себя, вертится перед небольшим дешевым зеркалом. — Гляди, это же настоящий шелк!

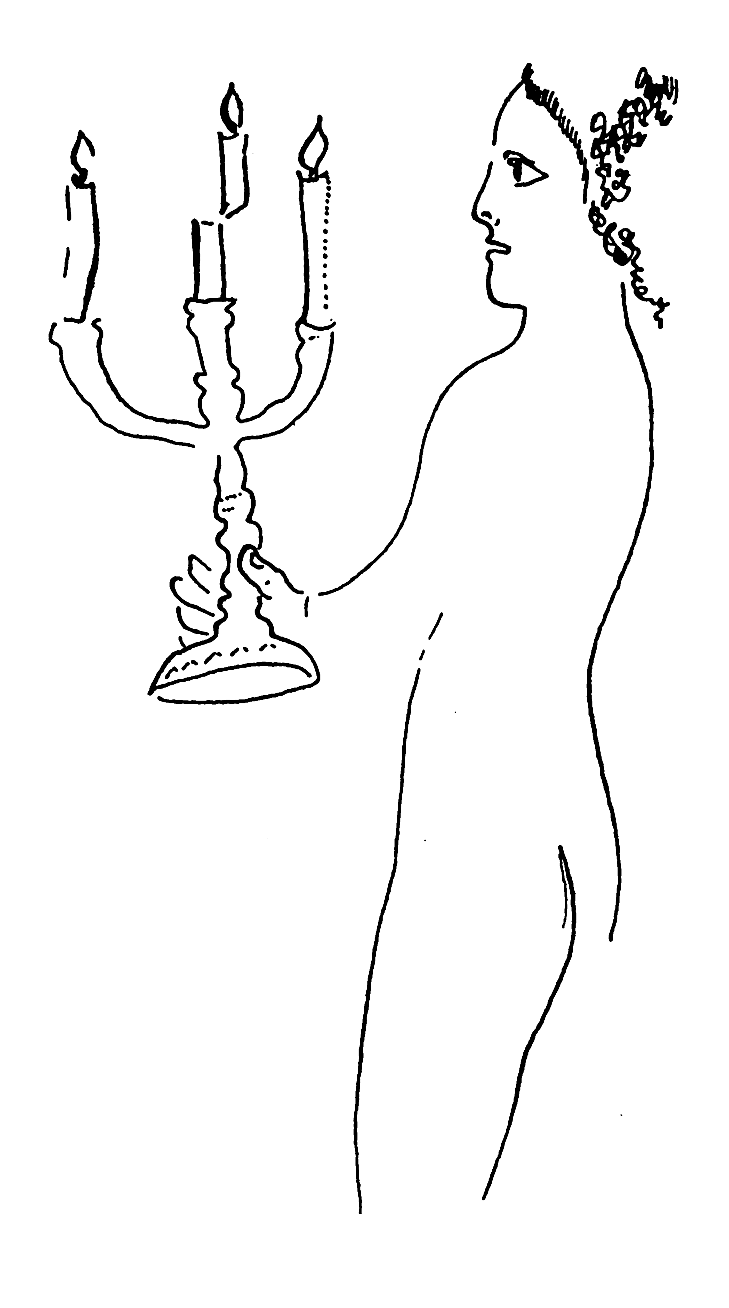
Вот она поправила последнюю складку на платье, нацепила шляпу с цветочками и гордой поступью пошла к двери: там, за порогом, другой мир.

Теперь все взоры устремятся только на нее. Все будут оглядываться на ее платье и шляпу, и, как знать, может быть, именно в эту субботу она наконец встретит своего суженого...

Томно покачиваясь на ходу, она повелительным тоном бросает горничной:

— Саша, подай хозяевам чаю, как встанут!

Возвращается Шая спустя час или два, изнурившись больше, чем за целую неделю на кухне. В доме уже полно народу: все собрались на исход субботы. Гости нараспев цитируют друг другу слова раввина, толкуют их кто во что горазд:



— Как говорится в этом стихе? По-моему...

Дело доходит чуть не до ссоры. Но тут на стол подают холодную рыбу, и споры прекращаются.

Понемногу смеркается.

Папа выглядывает в окно: не взошла ли вместе с молодым месяцем первая звезда? Он даже выходит во двор.

В торжественном лунном свете мой папа, такой большой, вдруг становится маленьким.

Я проскальзываю за ним следом:

— Будешь зажигать свечу на хавдалу*, папа, да?

Мы возвращаемся в дом. Я несу толстую витую свечу, оплывшую воском, точно каплями трудового пота. Она горит широким, густым пламенем. Папа гасит ее, погружая в бокал с вином, вино льется через край на скатерть.

— Доброй недели!

— Доброй недели! — отзывается мама, а про себя думает: «Хоть бы она и правда была доброй, новая неделя!»

И тень будничных забот ложится на ее лицо.

---

* Хавдала — церемония завершения священного дня с возжиганием особой свечи.

НАСТАВНИК

Через двор легкой тенью скользит старенький ребе, наш учитель.

При виде его у меня екает сердце.

Маленький, сухонький, он жмется к стенкам, будто боится кого-нибудь задеть. Выцветшее зеленовато-черное пальтецо еле прикрывает его узкие плечи. Жалко свисает облезлая козлиная бородка.

— Ну что, Башенька? Выучила алфавит? Поди позови Абрашку. Сегодня мы постараемся хорошо заниматься, да?

— Абрашка! Абрашка! Ребе пришел! — Я бегу в дом.

Но брат уж конечно и сам видел ребе. И шепчет мне из укромного местечка, куда всегда запирается, когда приходит время урока:

— Поди пока что дай ему чаю с вареньем.

— Но ты придешь? — шепчу я в дверную щелку. — Не могу же я все время сидеть с ним одна.

— Иди-иди, я скоро приду. Скажи, что у меня болит живот!

Ребе подходит к столу.

Вздыхает, сморкается, протирает очки и берет понюшку табака. А взбодрившись, раскрывает и принимается листать молитвенник, который у него всегда с собой.

— Ну-с... Где же вы, детки? — Он поднимает голову, не отрывая пальца от страницы.

— Я здесь, ребе... Вот... хотите чаю?.. — Я ставлю рядом с молитвенником стакан горячего чая.

Пар от него затуманивает стекла очков ребе. Вишневый дух щекочет ноздри.



Ребе отхлебывает глоточек, обжигается. Но не отставляет стакан, пока не допивает до конца.

— Налить вам еще чаю, ребе? — И, не дожидаясь ответа, я хватаю пустой стакан и бегу на кухню.

— А где Абрамеле? Он дома?

Старый учитель велит мне перестать таскать чай.

— Да, ребе, сейчас я его позову. Он сказал, что скоро придет.

— Абрашка! — колочу я в дверь. — Учитель ждет. Выходи!

— А ты ему чаю давала? С вареньем?

— Три стакана! Его уже тошнит от этого варенья! Я боюсь... выходи сейчас же!

— Я что, виноват? Не могу я выйти. У меня и в правду живот разболелся!

Врет Абрашка, знаю я его. Ничего у него не болит. Просто тянет время.

Я плетусь назад, к учителю. Он сидит смущенный, перед пустым стаканом.

— Еще стаканчик, ребе? В самовар как раз, я видела, подложили горячих углей. — И, прежде чем ребе успевает ответить, беру его стакан.

Ставить полный стакан на стол мне стыдно. Стыдно смотреть ребе в глаза. От горячего чая его разморило. Начинают моргать глаза.

Мне вдруг становится страшно. Может, ребе дурно от жара? Он сидит как ватный, закрыв глаза и уронив голову.

Смотрю на него и... не узнаю. Он стал совсем-совсем дряхлым. Его хилое туловище скрыто столом, видны только высохшее лицо и бороденка.

Я только теперь замечаю, какой у него изможденный вид, какая тоненькая шея. Он желтее пожелтевших страниц так и оставшегося лежать раскрытым на столе молитвенника. Усы и кончики пальцев тоже желтые — от табака.

Он и правда такой старый? Может, это его убогое пальто пахнет старостью?

«Что, если, — думаю я, — ребе не сможет сам добраться до дому? Может, надо сказать его родным, чтобы пришли за ним? А кто знает, где он живет? Есть ли у него дети? Интересно, они тоже такие замухрышки?»

Да никого у него нет... у меня сжимается сердце. Ребе один на свете, как валун посреди поля.

Хорошо, что он уснул и не видит, как я краснею. Мне кажется, он уснул не от выпитого сладкого чая, а от огорчения. Мы не хотим с ним заниматься. А он такой кроткий... он хочет, чтобы мы по меньшей мере выучили алфавит и, по его выражению, «одолели хоть строчку из Библии».

Но почему же он боится и слово нам сказать? Уж лучше бы кричал! Ведь дети ему не «хозяева»!

А мы, дураки, жалеем ребе, только когда он спит!

Мне хочется сказать ему, что с сегодняшнего дня, клянусь, я буду прилежно учиться и не буду больше упаивать его чаем. Но тише! Я, кажется, шепчу слишком громко. Еще разбужу его...

И я сижу не шевелясь.

Ой! Ведь Абрашка может выйти из своего убежища и разбудить ребе! Пусть бедный старик хотя бы у нас отдохнет от трудов! Дома он, наверное, по ночам изучает Тору и совсем не высыпается.

Из открытого окна вдруг доносится приторный запах горячего шоколада. Пахнет так сильно, что я с опаской смотрю на ребе: не проснется ли?

Ароматное облачко кружит над головой. Щекочет ноздри, дразнит язык. Вкуснота!

Ужасно жалко, что именно сейчас меня нет во дворе. В кондитерской «Жан-Альберт», прямо под нами, варят шоколад. Им поливают свежевыпеченные пирожные.

Если бы я попалась на глаза кондитерам, они бы меня позвали и дали бы облизать большую деревянную ложку, которой мешают шоколад. Сам старик хозяин, такой страшный, когда встречаешь его на улице, в этой

жаркой пекарне слаще своих пирожных. Его белый фартук заляпан кремами, которыми он украшает торты. Он улыбается во весь рот, показывая щербатые, почерневшие от сладкого зубы.

Вот он подносит ко рту длинный изогнутый рожок. Густой крем вылезает из другого конца — и на торт усаживается плотная красная розочка или ложится зеленый листик.

Дует в другой рожок — и на самой верхушке вырастает белый ангелок.

Лопаточкой кондитер поправляет ему крылышки, ровно обмазывает торт со всех сторон. Вниз падают сахарные крошки.

Старик знает, что я смотрю на него, как на волшебника.

— Что, красиво, а? Хочешь остатков?

Конечно, хочу. И он насыпает мне полные горсти слипшихся крошек...

Я раскрываю ладонь... пусто! Передо мной по-прежнему сидит и спит ребе.

И когда только он выспится? Я прозеваю остатки! Будет уже поздно, в пекарне погасят свет — незачем и идти.

Сбегать, что ли, на минутку?

А если ребе проснется?

Вдруг слышится какой-то шелест. Что это? Ребе посапывает носом? Высовываюсь в окно. Вот это да: сверху, из квартиры фотографа, сыплется дождь из мятых белых квадратиков.

Они порхают, кружатся, опускаются на ступеньки, будто стайка белых голубей разлетелась по двору. Я вытягиваю руки — поймать бы хоть штучку. Это фотограф выбрасывает старые карточки. Выцветшие, пожелтевшие, пятнистые. Там выколот глаз, там измяты щеки — еле различишь человеческое лицо.

Одна карточка падает мне в руки. О, какое счастье, что я ее поймала! На простынке лежит голенький мла-

денец. Хоть он и пухленький, как поросенок, но все равно разбил бы голову, если б упал на землю.

«Поиграй со мной... ну-ка улыбнись...» Кажется, малыш и правда смеется.

Вот еще одна, много-много людей. Как это у фотографа не дрогнула рука выкинуть их всех сразу!

Целое семейство на одной карточке. Дедушка с бабушкой, еще одна бабушка, дядя с тетей, отец, мать, сын, дочери, внучата, кто по одиночке, кто парами... стульев на всех не хватило. Некоторые остались стоять в последнем ряду с недовольным видом.

Дети расположились на полу.

Смотрю и смотрю на них, не могу оторваться. Попрошу-ка маму, почему бы и нам не сняться вот так, всем вместе?

— Фотограф живет в нашем дворе, и мы бы смотрели на себя, на свою фотографию у него в витрине, прямо напротив нашего магазина!

Мама бросает сердитый взгляд:

— Ты в своем уме? Или совсем спятила? Больше ничего не придумала? Фотографироваться, как кухарка с солдатом!

С чего это мама раскричалась? Вот ведь дедушку однажды сфотографировали. Правда, обманом. Он спокойно стоял за прилавком, и ему велели не двигаться — сказали, что нужно обмерить магазин. Так почему бы нашему дворовому фотографу не зайти как-нибудь сделать обмеры, а заодно всех нас не щелкнуть?..

— Башенька! — это наконец вылез Абрашка. — Ребе уже ушел?

Я испуганно машу руками:

— Чш-шш! Не кричи, ребе спит!

Но ребе проснулся от его крика. Слава Богу, после сна он выглядит пободрее.

Очнувшись и увидев, что оба ученика на месте, он берется за книгу, как будто и не думал дремать.

— Ну-с, дети, на чем мы остановились? Повторяйте за мной: алеф, бет...

— Алеф, бет, гимель... — послушно повторяю я и радуюсь, что ребе не сердится.

— Далет, хе, вав!.. — перекрикивает меня Абрашка.

Первый раз мы повторяем весь алфавит, от начала до конца. Ребе сияет.

— Вы не устали, детки? Поработали неплохо! Может, на сегодня хватит?

И, снова облачившись в старое пальтецо, ребе тихонько уходит.

НОВЫЙ ГОД

Наступают Дни покаяния*. Весь дом наполняется шумом. У каждого праздника свой вкус, своя атмосфера.

В Новый год, Рош ха-Шана, все легкое, благостное, умытое, как после дождя.

После мрачных Дней покаяния наступает прозрачный, солнечный день и распахивается навстречу новому году.

Молитвенная неделя покаяния полна смятения. Папа встает посреди ночи, будит братьев, все они молча одеваются и выскальзывают из дому, как воры.

Что им понадобилось там, в темени и холоде? Когда в постели так тепло! А вдруг они больше не вернутся? Нам с мамой останется только плакать и плакать. Я чуть не плачу заранее и еще плотнее закутываюсь в одеяло.

Утром за чаем папа сидит утомленный, с бледным лицом. Но предпраздничная суета прогоняет усталость.

Магазин закрывается рано. Все готовятся идти в синагогу. Готовятся так долго и тщательно, будто идут в первый раз.

Каждый надевает что-нибудь новое: кто светлую шляпу, кто галстук, кто костюм с иголочки... Мама тоже наряжается в белую шелковую блузку и летит в синагогу с обновленной душой.

---

*Десять Дней покаяния начинаются праздником Рош ха-Шана (Новый год) и завершаются Днем искупления (Иом-Киппур).



Кто-нибудь из старших сыновей загибает в ее пухлом молитвеннике нужные страницы. В этих местах стоит сделанная много лет назад еще дедушкиной рукой надпись: «Тут!»

Мама узнает страницы, над которыми она плакала год назад. Веки ее дрожат. Она спешит в синагогу поплакать заново.

Кипа благочестивых книг ждет ее. Она заворачивает их в бумажный лист и берет с собой. Разве она не должна просить доброго года для всей семьи? А за отцовскими книгами и талесом днем зайдет шамес.

Я остаюсь одна. Опустел дом, и во мне пустота. Прожитый год остался заброшенным где-то за окном. Год наступающий должен быть ясным и светлым.

Скорее бы миновала эта ночь.

На другое утро и я иду в синагогу. Я тоже вся в нарядных обновках. Солнце сияет, воздух прозрачный и живящий. Новые туфли поскрипывают. Спешу со всех ног. Наверное, в синагогу Новый год уже пришел. И там уже звучит шофар, бараний рог. У меня звенит в ушах. Кажется, само небо опустилось и спешит со мной в храм. Бегу бегом на женскую половину и толкаю дверь. Меня окатывает волна жара, как из печки. В спертом воздухе нечем дышать. Народу тьма. Высокие пюпитры завалены книгами. Старые женщины сидят, устало поникнув на стульях. Молоденькие девушки возвышаются над старушками, словно едут на них верхом. Дети путаются под ногами.

Я хочу к маме. Но она сидит далеко впереди, у окна, около мужской половины. Я все же пытаюсь пробраться, и тут же ближайшая женщина поворачивает ко мне заплаканное лицо, окидывает сердитым взглядом и злобно фыркает.

Наконец меня выпихивают вперед, и я вылетаю прямо на перегородку.

Мама кивает мне. Она рада, что я здесь, рядом. Но где же шофар? Где Новый год?

Ковчег* закрыт, завеса перед ним задернута, и два невозмутимых вышитых льва молча стерегут его. Люди же заняты чем-то посторонним.

Может, я пришла слишком рано или слишком поздно?

И тут из-под одного талеса вскинулась рука, сжимающая рог. Рог застыл в воздухе. Издал негромкий звук. Все встрепенулись. Разом смолкли. Все ждут. Рог прозвучал еще раз — сипло, придушенно.

Все переглядываются. А рог все хрипит. Шепот пробегает по синагоге: «И это называется шофар? Никакой силы. Пусть кто-нибудь другой трубит!..»

Вдруг, словно отступили злые силы, затыкавшие рог, протяжный чистый звук облетает всю синагогу, каждый угол. Все ожили, вздохнули, одобрительно закивали.

А звук все растет и чуть не сотрясает стены. Доплескивает и до моей перегородки. Поднимается до потолка, разгоняет густой воздух, заполняет мне уши и рот.

Даже живот начинает болеть.

Да когда же выдохнется этот рог? Что надо от нас этому Новому году?

Припоминаю все свои грехи — Бог знает, что со мною будет, — все, накопившиеся за год. И еле дожидаюсь вечера, чтобы отправиться вместе с мамой на ташлих** вытряхнуть грехи в реку.

По всей дороге много женщин и мужчин. Все идут вниз по узкой улочке, к реке. И все одеты в черное, как будто, сохрани Боже, на похороны собрались.

---

* Ковчег — ниша в восточной стене синагоги, где хранятся свитки Торы.

** Перед заходом солнца в первый день Рош ха-Шана евреи отправляются на берег любого водоема и вытряхивают над водой карманы или углы одежды с молитвенными словами: «Ты ввергнешь в пучину морскую все наши грехи». Ташлих — от слова «лехашлих», бросать, прогонять.

Прохладно. С другой, высокой, стороны реки, из большого городского сада дует ветер и срывает листья с деревьев. Они кружат в воздухе, как разноцветные, красные и желтые, бабочки, переворачиваются и оседают на землю. Может, так же уносятся и наши грехи?

Листья шелестят под ногами, прилипают к ботинкам. Вместе с ними не так страшно идти на ташлих.

— Что ты все тащишься? Оставь листья в покое. — Мама тянет меня за руку.

Вот мы и дошли. Улица словно разъехалась. Прямо под ноги ползет холодный глубокий поток. Мужчины собираются на берегу кучками, каждая становится все больше и плотнее. Вытягиваются головы, раскачиваются и резко ныряют вниз бороды, будто люди хотят заглянуть на самое дно.

Вдруг все одновременно выворачивают карманы: из складок сыплются крошки и мелкий мусор. Громко читается короткая молитва, и крошки вместе с грехами летят в воду.

А мне как стряхнуть грехи?

У меня нет крошек в карманах, нет даже карманов.

Стою рядом с мамой и дрожу на холодном, раздувающем подол ветру. Мама подсказывает мне слова ритуальной молитвы, со словами вылетают и падают прямо изо рта в реку грехи. Кажется, река от наших грехов вздулась и почернела.

Домой я возвращаюсь очищенная. Мама тут же садится за псалмы, чтобы урвать напоследок еще кусочек дня и попросить у Господа еще что-нибудь.

Полутемную комнату наполняет бормотанье. День затуманивается, как мамины очки. Мама плачет и качает головой.

А мне что делать?

За густыми строчками псалмов мне мерещатся тени наших предков, мужчин и женщин. Они шевелятся, вытягиваются цепочкой, окружают. Страшно обернуться. Вдруг кто-то стоит за моей спиной и сейчас меня схватит!



— Мама! — Я больше не могу и хватаю ее за рукав.

Мама поднимает голову, вытирает нос платком и перестает плакать. Целует и закрывает молитвенник.

— Башенька, я снова иду в синагогу. Мы скоро вернемся. А ты, детка, пока накрой на стол.

— Для благословения над плодами, да?

Как только мама уходит, я открываю настежь дверцы буфета, достаю большие бумажные пакеты с фруктами и высыпаю их на стол.

Получается целый сад. Вываливаются толстые зеленые дыни. Горками оседают гроздья светлого и темного винограда. Волчками крутятся сочные груши. Сладкие яблоки золотятся, словно налитые медом. Сизые сливы раскатываются по всей скатерти. Что взять для молитвы над новыми плодами? Ведь мы ели все это целый год!

Ага, из другого пакета выглядывает маленькая елочка — там лежит ананас! Вот он, новый плод, чужеземный.

— Саша, ты не знаешь, где растут ананасы?

Саша воздевает руки:

— Да кто их знает! Мало у меня других забот!

Никто не знает, откуда взялся ананас. В своей чешуйчатой кожуре он напоминает диковинную рыбу. А жесткий хвост похож на раскрытый веер.

Толкаю его в упругое брюшко, и он опрокидывается. Но так просто этот фрукт не ткнешь — осанка у него прямо-таки царственная. Расчищаю для него место в самой середине стола.

Саша безжалостно нарезает его. Ананас стонет под острым ножом, как живой. Пенистый сок льется мне на пальцы. Облизываю их — горьковато.

И это вкус Нового года?

Господи, пока родители не вернулись из синагоги, услышь одно пожелание! Папа и мама в храме целый день молят Тебя о добром годе. Папа все время думает о Тебе, мама на каждом шагу поминает Твое имя! Ты знаешь, как они заняты, как измотались. Господи, Ты

все можешь! Сделай так, чтобы год у нас был хороший, сладкий!

Беру сахар и быстро-быстро подслащаю ананасную горечь.

— С праздником! С праздником!

Первыми врываются, перекрикивая друг друга, братья. За ними входят папа с мамой, бледные и осунувшиеся:

— Да будете вы записаны в Книгу жизни! *

У меня подпрыгивает сердце.

Не сам ли Бог ответил их устами?

---

* По древнему преданию, в дни Рош ха-Шана Бог записывает в Книгу жизни судьбу каждого человека на наступающий год. Евреи приветствуют друг друга в канун Нового года словами: «Да будете вы записаны на год счастливый!»

ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ

К ночи накануне Дня искупления меняется сам воздух — густеет и давит.

Все лавки давно закрылись. Черные ставни заслонили окна, кажется, на веки вечные. Небо тоже черное, как будто сам Всевышний — да не обрушит Он на нас такую кару! — его оставил. Страшно выйти на улицу. А ну как Господь захочет наказать тебя и ты упадешь и сломаешь ногу?

И вдруг — я вздрагиваю — откуда-то издалека раздается смех.

Неверные ничего не боятся. Смеяться в День искупления!

У меня в ушах еще стоит крик белого петуха, которого папа принес в жертву.

Вчера поздно вечером во двор прошмыгнул тощий мрачный резник. Из-под полы его пальто поблескивал нож. Он стал загонять белого петуха, а тот давай носиться по всему двору с истошными криками. За ним всполошились остальные.

Кухарка схватила одного петуха за лапу, но он вырвался. Полетели пух и перья.

Двор зазвенел пронзительным кукареканьем, будто сотня колокольчиков звала на пожар.

Но мало-помалу петухи выдохлись и успокоились.

Две белые курочки, моя и мамина, в страхе забились в какую-то дыру и только постанывали и тихонько кудахтали.

Кухарка схватила обеих разом и положила к ногам резника. По полу веранды потекла кровь. Не успела я опомниться, как уже все петухи и курочки лежали

мертвыми. С тонких шеек скатывались капельки крови. Кровью перепачкались белые перья. Их оставили остывать в холодном полумраке.

Помню, как трепетала у меня в руках моя курочка, когда я поднимала ее и кружила над головой. И сама я дрожала, читая молитву. Я подкидывала ее, слегка ударяя пальцами в упругий животик. А она, квохнув, била крыльями и пыталась взлететь, словно белый серафим.

Оторвав глаза от молитвенника, я косилась на птицу. Она надрывалась все громче, словно просила пощады.

И я уже не слышала слов молитвы, которые мне шептали. Меня охватил страх — как бы курица не наделала мне на голову...

Меня окликает мама. Издали вижу, как блестят ее глаза и спокойно двигаются руки. Она будто раскрыла кому-то объятия. Мама просила меня подержать фитили для больших свечей, которые зажгут в синагоге.

Вот первый фитиль.

— За моего дорогого супруга Шмуля-Ноаха. Да будет он в добром здравии и доживет до ста двадцати лет!

Мама натягивает фитиль, благословляет его, орошает слезами и натирает большим куском воска, будто хочет пропитать благодеяниями.

— Держи крепче конец, Башенька. За моего дорогого сына Исаака. Да будет он в добром здравии и счастливо доживет до ста двадцати лет...

Она достает второй фитиль и с силой вощит его тоже.

— За мою старшую дочь Анну...

Имена следуют друг за другом, фитили, пожелтевшие от воска и слез, обрастают плотью. Я еле удерживаю их за свободные кончики. Изо всех сил стараюсь, чтобы не выскользнули.

Мама долго молится за всех детей и родственников. Я почти не слышу, что она бормочет. С каждым именем падает крупная слеза и смешивается с воском. Вот еще одна толстая свеча готова.

5 – 2694

— За моего покойного отца Баруха-Аарона, да пребудет душа его в саду Эдемском! Отец, моли Бога о нас, обо мне и моем супруге и моих детях. Пусть пошлет нам здоровье и счастье.

Мама рыдает и уже не видит фитилей, они дрожат у нее в руках.

— Да будут нам дарованы долгие годы!.. За мою покойную мать Айгу, да молится она о нас! Мама, не оставь свою единственную дочь Алту! — умоляет она, склонившись над фитилем.

Наверное, ей хочется подольше остаться со своей матерью. Она не выпускает фитиль и бережно проводит по нему палочкой воска.

— Да сохранит нас Господь на долгие годы!.. За моего покойного сыночка Беньямина! — И снова слезы.

Тут и я не выдерживаю и начинаю плакать о годовалом братике, которого никогда не видела.

Мама смотрит на меня сквозь слезы, шумно вздыхает и утирает нос. Свечи получаются все толще.

Покойные родственники, близкие и дальние, являются как на званый вечер. Над каждым мама проливает слезинку, каждому желает спасения. Я уже не разбираю имен. Будто брожу по чужому кладбищу. Передо мной только надгробия, только натянутые фитили. Меня берет страх: сколько покойников лежат здесь, вплетенных в мамины фитили!

А мы, живые, тоже сгорим, как души усопших?

Наконец — какая радость! — служитель забирает свечи и уносит их в синагогу.

Я устала и иду спать.

На другое утро нас расталкивают чуть свет, дают немного подкрепиться перед постом и велят еще раз произнести благословение.

Мы выискиваем, какое бы доброе дело совершить. Братья просят друг у друга прощения.

— Абрашка! Ты на меня не сердишься? — бросаюсь и я к брату. Ведь я не всегда делала то, что он хотел.

Мама пошла к соседу по двору, с которым она поссорилась, и просит прощения у него.

Братья переодеваются, чтобы идти в синагогу. Они почти не разговаривают и даже не толкаются, их словно гложет тревога.

Они дожидаются, когда мама закончит благословение над свечами, и подходят сначала к отцу, потом к ней пожелать счастья в новом году.

Родители возлагают руки на их склоненные головы и благословляют. Даже старшие братья смиренно, как малые дети, подходят под благословение. Я самая младшая и подхожу последней.

Папа, опустив веки, прикасается к моей голове, и я заливаюсь слезами. Еле слышу слова молитвы, которые он выговаривает чуть охрипшим голосом.

Мне кажется, что я горю на огне самой большой из маминых свечей. И выхожу очищенной из-под жаркого кольца отцовских рук, сияющих, впитавших столько слез и молитв, добрых белых рук.

Скорее нырнуть под нежные мамины ладони.

Рядом с ней спокойнее. Ее слезы мне понятнее. Я слушаю ее простые, идущие от сердца молитвы. Не хочется отрываться от ее рук, и правда, как только смолкает горячий шепот над моей головой, мне становится холодно.

Пора в синагогу!

Папа подходит к маме и подставляет ей руку:

— С праздником!

— С праздником! — отвечает она, потупив глаза.

Дома остаюсь я одна. Благоговейно, жарко горят свечи. Усаживаюсь рядом с ними читать покаянные молитвы.

Во мне еще звучит папин голос. С каждым новым «грешен» я ударяю себя в грудь.

Страшно — наверняка у меня больше грехов, чем перечислено в молитвеннике.

Голова пылает.

Буквы вытягиваются, встают.

И вот уже перед моими глазами мерцает Иерусалим. Я стараюсь удержать его, крепко, обеими руками сжимаю тяжелую книгу.

Взываю к Господу и сижу прижавшись к стенке до тех пор, пока не кончаются все мои просьбы.

Пришли из синагоги дети. Дом пустой, пустой стол, только сияет щемящей белизной скатерть под коптящими свечами. Мы не знаем куда себя деть и наконец идем спать.

Когда на другое утро я просыпаюсь, все давно ушли в синагогу. Опять я осталась одна.

Перебираю в уме все, что я должна сделать, умываюсь, чуть смочив в воде кончики пальцев, и, даже не почистив зубы, снова сажусь за молитвы.

Заходят школьные подружки-нееврейки, чтобы рассказать мне, что объясняли сегодня на уроках, но я не сдвинусь с места, пока не кончу молиться.

Теперь бегом к дедушке. Он старый, больной и тоже сидит дома один. Бобруйский раввин (дедушка — его ученик) велел ему не поститься. Он должен каждый час выпивать ложку молока, вот я и иду дать ему эту каплю.

Дедушка молится. На меня он даже не смотрит и только тихо всхлипывает. Ложечка трясется у меня в руке, молоко течет по пальцам.

Дедушкины слезы капают в ложку, смешиваются с молоком. Чуть омочив блеклые губы, он рыдает еще сильнее. С сокрушенным сердцем я иду домой.

— Башутка, поди съешь чего-нибудь! У тебя уж, верно, живот подвело от голода! — Саша уговаривает меня перекусить с ней на кухне холодным цыпленком.

Я злюсь на себя за то, что не пощусь целый день. Каждый год умоляю маму, чтобы она мне это позволила. Не хочу я есть, после того как видела дедушкины слезы, видела, каким бледным и истощенным приходит папа. Он зашел из синагоги чуточку отдохнуть. Белые губы, белый кафтан, белые туфли, вид — сохрани Боже! — как у покойника. Мне кажется, это душа его ста-



ла чистой-чистой и просвечивает сквозь одежду. И я принимаюсь за молитву с новой силой.

Мне бы хоть немножечко папиного благочестия!

Мама не выходит из синагоги весь день. Перед Мусафом* я иду ее проведать. Кантор не поет. На мужской половине свободно. Многие пошли домой отдохнуть, другие сидят на скамьях, углубившись в молитвенник.

Во дворе синагоги играют мальчишки, один жует яблоко, другой медовый коржик.

На балконе, у женщин, все иначе, повсюду приглушенный плач. Во всех углах кто-нибудь стонет и горюет.

Со всех сторон раздается:

— Боже вечный и всемогущий!

Мама плачет молча. Сквозь запотевшие очки почти не видно букв в молитвеннике.

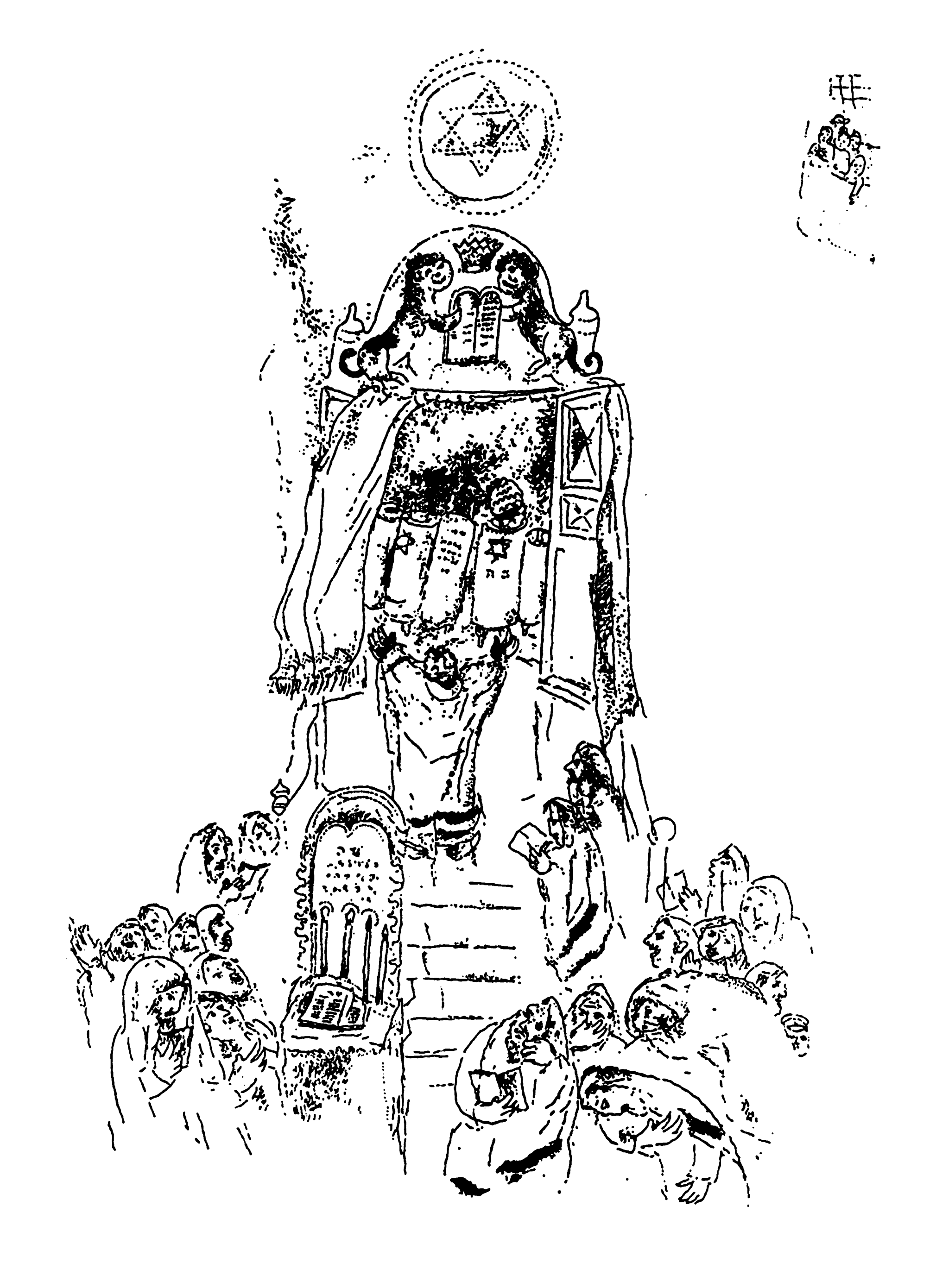
Я стою поодаль и жду. Наконец мама вздыхает, поднимает заплаканное лицо и кивает мне — будто говорит, что с ней все хорошо, хотя по щекам снова текут слезы. Подхожу поближе. Мне неловко: кругом столько взрослых женщин, и все плачут.

На счастье, появляется кантор в белом кафтане и белой ермолке. Где-то в рядах длинных свечей две наши. Вот они — горят вместе с другими по обе стороны ковчега.

Синагога вдруг оживляется. Наполняется людьми, звуками, теплыми волнами. Все толпятся вокруг священника, раздвигается тяжелая завеса. Мгновенная тишина — не застыл ли сам воздух? Слышен только шелест молитвенных покрывал. Мужчины устремляются к ковчегу. Оттуда бережно, как оживших сказочных принцесс, выносят сияющие свитки Торы. На их чехлах из белого или гранатового бархата блистают шитые золотом или серебром звезды Давида.

---

* Мусаф — одна из праздничных служб.



Короткие серебряные рукоятки с чеканкой или перламутровой инкрустацией украшены колокольчиками и коронами.

От свитков разливается свет. Все тянутся к ним. Мужчины обращают к ним лица: увидеть хоть краем глаза, послать издали поцелуй... а они, прекрасные, божественные свитки, возвышаются над головами, над вытянутыми руками и медленно плывут через всю синагогу.

У меня нет сил устоять за барьером женской галереи. Так и хочется спрыгнуть, упасть посреди священных свитков Торы или хотя бы приблизиться к ним, к их трепетному свету, хотя бы коснуться их, припасть губами к лучистому ореолу... Но свитки уже уносят в ковчег. Закрывается бархатная завеса. И снова перед глазами темно.

Чтобы заглушить грусть, все принимаются громко молиться.

Я не отрываясь гляжу на мужскую половину: там стоит молитвенный гул, белыми крыльями взлетают концы талесов.

Только кое-где мелькнет то нос, то глаз. Над склоненными головами волнами колышутся черные полоски талесов.

Вот одно покрывало испустило и приглушило вздох. В синагоге темнеет. Талесы кланяются, колышутся, приподнимаются, поворачиваются во все стороны. Они шепчут, молят, взывают.

Вдруг у меня подкашиваются ноги. Все талесы дрогнули и, как тяжелые мешки, рухнули на пол. Там и тут выглядывает белый шелковый носок. Голоса словно исходят из-под земли. Покрывала раскачиваются, словно под ними плот с пробоиной, который вот-вот поглотит бурное море.

Кантора почти не слышно, его заглушают хриплые голоса. Призывают, умоляют — да разверзнутся своды! Воздетые руки, дрожащие свечи. Сейчас, сейчас... сейчас раздвинутся стены и пропустят пророка Илию.

Мужчины рыдают как дети. Я больше не могу, я заливаюсь слезами и прихожу в себя, только когда вижу блеснувший из-под опущенного талеса живой заплаканный глаз и слышу пробегающий по рядам шепот:

— С праздником! С праздником!

Я бегу домой. Скоро все придут из синагоги. Надо накрыть на стол.

— Саша! Быстрей! Быстрей! Неси самовар!

Достаю из буфета большую жестяную коробку и выкладываю на стол все, что в ней есть: печенье, пряники, пирожки, пирожные, самые разные сладости. Тут и стакан чая некуда примостить.

Саша зажигает лампу и вносит пыхтящий, блестящий самовар. Похоже, он радуется, что о нем наконец-то вспомнили.

Доносятся голоса. Один за другим вбегают голодные как волки мальчишки.

За ними входит осунувшаяся мама и, ласково улыбаясь, говорит всем:

— С праздником!

— С праздником! — выскакивает ей навстречу с робкой улыбкой кухарка.

Нет только папы. Он, как всегда, приходит из синагоги последним.

Все жадно набрасываются на угощение и чай. Только успевай наливать стаканы.

Мы спасены. Нас больше не терзает голод. Пошли нам, Господи, счастливый год.

Да будет так!

Аминь!

ПРАЗДНИК КУЩЕЙ

С утра после Дня искупления мы ждем Божьего посланника. После стольких слез и молитв он, право, должен бы появиться.

Во двор въезжает крестьянин с тележкой еловых лап и опрокидывает ее. Ворох колючих веток вываливается на землю.

У нас во дворе становится как в лесу. Пахнет хвоей, смолой. Свежо, будто после дождя. Ветки лежат, словно большие распластанные птицы, от них исходит аромат... или это пение?

Если встать на эту кучу, она затрещит и прогнется. А если хорошенько покачать, и вовсе рухнет.

— Ты что по веткам топчешься? — с криком подбегают братья. — Это тебе не сено! Это для шалаша, Суккот же наступает!

Они тащат ветки у меня из-под ног. Каждая приподнимается с трудом, дрожа всеми своими иголками.

Я помогаю им перетащить ветки туда, где строится шалаш — сукка́. Он еще не готов. Стоят только стены из кое-как скрепленных, кое-как сколоченных жердей. Крыши нет, внутрь заглядывает небо. Братья залезают на лесенку, становятся на стулья, подают друг другу ветки и встряхивают их, как соломинки.

Ветки ложатся веером. Скоро сукка покроется зеленой шапкой. Сооружение высится посреди двора. Выглядит оно заманчиво, словно домик в лесной чаще.

Сквозь толщу темно-зеленых веток ни одной звезды небесной не увидишь*.

---

* По обычаю, кровля сукки должна быть сложена так, чтобы сквозь ветки просвечивали звезды.



Внутри прохладно и сумрачно. Лишь через щели в стенах проскальзывают солнечные зайчики. И те пробиваются с трудом, мигают, дрожат.

В середине шалаша устанавливают длинный стол и скамейки, там, где их ножки вкопаны в земляной пол, под ногами рыхло и вязко.

Мы не вылезаем из шалаша. Здесь как на даче. Валяйся себе на скамейках, играй в прятки, лови пляшущих зайчиков и, задрав голову, разглядывай еловый навес, как звездное небо. Иной раз — брр! — упадет с хвои холодная капля.

Когда шалаш совсем закончен, мы поем, чтобы дать всем знать — наступает праздник!

Домашние высовываются из окон:

— Глядите-ка! Шалаш уже готов!

— Дети! Из синагоги принесли пальму!

Дом тоже стал другим, везде пахнет зеленью, свежая листва устилает пол. Но где же пальма?

Вот она, в углу на пустом подоконнике, стоит, прислонившись к стеклу.

Верхушка пригнулась, будто высматривает через оконный переплет: не видно ли хоть клочка родного неба? Плотно сжаты длинные узкие листья. Я подхожу поближе, но дотронуться боюсь — кончики острые, как маленькие шпаги.

— Ну можно я чуть-чуть потрясу, — упрашиваю я братьев.

— Раньше папы?

— Только посмотрю, живая или нет!

Ветвь задрожала у меня под руками. И я сама дрожу мелкой дрожью. Словно ветерок пробежал по листьям. Мне кажется, что я на земле Израиля и пальма шумит у меня над головой. Интересно, как эта ветка попала сюда к нам?

— Как ты думаешь, Абрашка? — пристаю я. — Она прямо из Палестины, а? Как по-твоему? Это целое дерево или только ветка? А кто ее привез?

— Сегодня не Пасха, чтобы задавать столько вопросов. — Абрашка ничего не знает, но хочет вывернуться. — Знаешь, по-моему, пальма сама вырвалась из земли. Захотела посмотреть, что творится на белом свете. Вот она покинула родные края и однажды ночью... — брат таинственно понижает голос, — однажды ночью... выросла у нас на окне.

Я бы рада поверить, но досадно, что Абрашка всегда прав.

— Да ведь ее только что принесли из синагоги! Может, ее уложили в солому и запаковали в большой ящик. Я видела на вокзале, так перевозят товары.

— Как бы не так! Чтобы пальма ехала с какими-то товарами? Услышал бы раввин, он бы тебе задал! Да ты посмотри, какая она зеленая, свежая! В ящике она бы задохнулась.

Я снова трогаю ветвь. Тонкие гладкие листья отзываются на прикосновение, как струны арфы.

— Погоди, пальма, погоди! Скоро придет папа, возьмет тебя, помолится, тебе станет тепло, и ты почувствуешь себя как дома.

А где этрог, цитрус?

Желтый, огромный, пузатый, красуется в серебряной подставке на мягкой салфетке, важный, как фараон на троне.

И чудесно пахнет. А он откуда?

Наконец пришел папа со старшими братьями.

— Что ж, пойдемте молиться с пальмовыми ветвями!

Папа смотрит на ветви, на цитрус. Берет плод и кладет его около зеленой ветки. Плод и ветка приникают друг к другу. Они из одной страны.

Опустив глаза, со словами молитвы, папа, словно принимая присягу, приподнимает и опускает пальмовую ветвь, прижимает ее к груди, отстраняет, встряхивает. Ветвь наклоняется, трясется. Верхушка раскачивается. Длинные листья сами ложатся на молитвенно сложенные руки.

А как только папа останавливается, пальма снова сжимает еще трепещущие листья.

— Теперь ты. — Папа протягивает ветвь старшему сыну.

Она переходит из рук в руки. Все шесть братьев по очереди берут ее, взмахивают, фехтуют ею как шпагой и, наконец, ломают. Потрепанную ветвь снова кладут на подоконник.

Шалаш целый день стоит и дожидается, когда в нем соберутся на трапезу.

За день он успел пропитаться еловым духом, просушить стены и сырой пол. Вечером папа и братья надевают пальто, как будто идут на улицу, и отправляются ужинать в шалаше.

Мы, женщины: мама, кухарка и я, — в него не входим. Даже отцовское благословение над вином слушаем, стоя на пороге.

Кушанья в шалаш подают одно за другим через небольшое окошко в стене. Братья могут считать, что тарелки спускаются к ним с неба.

Небось они и думать забыли о нас, оставшихся дома.

В доме холодно и пусто. Двери и окна как мертвые. Мы сидим за столом и едим без всякого удовольствия.

— Мама, почему нас оставили тут, с прислугой? Разве мы служанки? Какой же это праздник, мама? Почему они едят там одни?

— Э-э, малышка, они мужчины. — Мама невесело жует кусок холодного мяса.

Вдруг на кухне поднимается суматоха. Служанки бегают из дома во двор и обратно.

— Хозяйка, дождь начинается!

— Отнеси им все блюда, чтобы они могли помолиться там после еды!

Я даже рада, что посреди ужина пошел дождь. Ведь у нас с мамой был такой скучный праздник!

Гремит гром. Я выглядываю в окно. Шалаш еще не развалился? Настоящий потоп!



В минуту намок и расползся лапник. Вода затекает по веткам внутрь шалаша, струится по стенам, льется на стол. Служанки снуют с посудой туда-сюда. Дождь бьет по крышкам, будто хочет их сбросить.

Сквозь шум ливня слышно, как папа произносит благословение. Высокие голоса братьев сливаются со стуком капель. Скоро они, подняв воротники пальто, один за другим перебегают в дом.

Мы смотрим друг на друга, как будто давно не виделись.

Не из другого ли мира врываются они в дом?

Так проходит еще несколько дней. А потом шалаш, доска за доской, разбирают. Стены оседают. Кровля проваливается, и ветки рассыпаются. Весь двор усыпан иголками.

Шалаш исчезает, будто его никогда и не было.

Пальмовую ветвь убирают с окна.

— Посмотри, какая она стала! — веселятся братья. — Похожа на высохшего беззубого старичка.

— Ну хоть сплетите мне что-нибудь из нее, — прошу я. — Игрушку, корзинку, что угодно!

Аарон берется за дело. Пальцы у него длинные, ловкие. Они отрывают листик за листиком, каждый взлетает со свистом и складывается пополам. Проворные пальцы так и мелькают: прорезают, продевают. Тоненькие полоски закручиваются или сплетаются. Готово! Корзиночка, корытце, стол и стул. От ветви остался голый стебелек.

Ну а про цитрус вообще забыли. В конце концов кухарка бросила его в кастрюльку с кипятком — ошпарила живьем. И из такого пузатого плода получилось всего лишь блюдце мармелада.

Праздник кончился — хоть плачь!

Скорее бы Симхат-Тора, веселый праздник Торы!

И пусть весь город приходит в гости!

ПРАЗДНИК ТОРЫ

Раз в год нам, детям, позволяется вдоволь повеселиться в синагоге. К вечеру нам уже не сидится на месте, мы носимся и прыгаем до изнеможения.

Синагога набита битком. Мальчишек столько, что некуда ступить. В шествии со свитками участвуют даже девочки, и все дети путаются под ногами.

Светильники пылают обновленным светом. Двери ковчега открыты, из них торжественно выносят свитки Торы в нарядных чехлах.

Наша синагога становится великим Храмом. Мужчины со свитками в руках танцуют, притопывают ногами, и мы танцуем вместе с ними.

По-дикарски бегаем вокруг бимы*, влезаем по ступенькам с одной стороны, спрыгиваем с другой. Деревянные ступеньки стонут и скрипят у нас под ногами.

Остановиться на минутку, прикоснуться к полированным резным перилам, погладить их или хоть просто перевести дух никакой возможности. Все дети оглушительно трещат в трещотки и размахивают бумажными флажками, которые со свистом прорезают воздух и рвутся.

Шамес забился в угол и смотрит испуганно — как бы не обрушились стены. Уже ходят ходуном пюпитры, съезжают с них книги.

— Дети, потише! — умоляет он нас. — Уймитесь, довольно! Разнесете всю синагогу!

Но мы не можем остановиться. У нас идет кругом голова, гудят ноги.

---

* Бимá — возвышение в центре синагоги для чтения Торы.

Домой плетусь еле-еле, отстав от братьев, с рваным флажком в руке.

На другой день в доме с утра начинается праздничное оживление. Ждут гостей, готовят закуски.

В синагогу все идут чуть ли не бегом. Службу стараются закончить как можно скорее. И, не успев договорить последние молитвы, мужчины собираются в группки и вполголоса совещаются:

— Ну, решили? К кому первому идем на киддуш?

— Ш-ш-ш!

— Реб Шмуль-Ноах зовет всех к себе, — шепчет кто-то.

— О! Там будет что выпить! Что скажете, реб Гершель?

— Это вы меня спрашиваете? Ну так я вам скажу — пойдемте сперва к реб Шмулю-Ноаху! — отвечает тощий красноносый старик.

Вся синагога высыпает на мостовую.

— Что вы тянетесь? Давайте поживее! У нас еще много заходов!

— Сегодня евреи пьют!

Православные горожане улыбаются. Даже церковь будто отодвигается, уступая дорогу веселой толпе.

Вся община заваливается к нам. В доме яблоку негде упасть.

— С праздником! С праздником! С праздником, сударыня!

Женщины отступают в сторонку. Лавина устремляется к столам.

— Ну-ка, чем тут угощают?

Гости потирают руки, разбирают стулья, оценивающе оглядывают блюда.

Накрытый как на свадьбу стол ломится от закусок.

Нарезанные ломтиками пироги, медовое печенье, пряники, маринованная селедка, печеночный паштет, яйца с гусиным жиром, холодец из телячьих ножек, жареное коровье вымя. А бутылки с вином и ликерами выстроены, точно солдаты на смотру.

— Что вы толкаетесь? Дайте место другим!

Вокруг стола настоящая давка.

— Вечно вы лезете первым! Кажется, вас тут Тору читать не вызывают! — возмущаются одни.

— Да его к выпивке тянет! Пропустите! — смеются другие.

— Тихо! А вот и сам реб Шмуль-Ноах! Ваше здоровье, реб Шмуль-Ноах! Будьте здоровы, господа!

Папа, как всегда, приходит из синагоги последним.

В длинном праздничном пальто, в цилиндре, он кажется шире и выше.

— Будьте здоровы! Будьте здоровы! С праздником!

Папа снимает громоздкую шляпу и остается в ермолке.

— Благословение над вином уже прочитали?

— Как же без вас, реб Шмуль-Ноах?

Несколько человек разом встают, чтобы читать киддуш.

— ...сотворивший плод виноградный...*

Гости смакуют вино и ликеры. Отведывают каждого блюда.

— За ваше здоровье, хозяйка! Селедочка у вас — это, я понимаю, селедка!

— А телячий холодец — просто чудо!

Мама сияет от удовольствия.

Неожиданно встает шамес и тоном распорядителя спрашивает:

— Кто прочитает молитву над пожертвованиями?

Поднимается почтенный старик, покашливает, оглаживает длинную седую бороду, поправляет усы, как будто они мешают ему открыть рот, и, завороженно раскачиваясь, начинает:

— Благословен Ты...

Шамес обходит всех и громко, нараспев, словно оглашает список свадебных подарков, называет имя каждого жертвователя и обещанную сумму.

---

*Последние слова благословения над вином: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградный».

— Ну вот, все равно что холодный компресс ко лбу приложил! Где тут можно еще выпить? Передай-ка мне вон ту бутылку! Нечего ее загораживать!

Пустые бутылки катятся на пол, откупориваются новые, как будто пир начинается сначала.

Вино разливают по рюмкам и стопкам, расплескивают на скатерть. Вдруг длиннобородый старик стучит по столу:

— Тихо!

Он закрывает глаза и вздыхает так глубоко, словно собирается исторгнуть из груди кусок сердца. Вздох обегает столы, подхваченный всеми собравшимися. А потом медленно, поднимаясь со вздохом со дна души, начинает звучать хасидская песнь.

Сначала тихо. Старик качает головой, морщит лоб. Подрагивают усы и губы. Все взгляды, все мысли прикованы к нему. На бледных лицах легкий румянец, глаза полузакрыты. Один за другим к поющему подстраиваются новые голоса, а мелодия забирает все выше и выше.

Пение разбухает, разрастается, разгорается, как пламя. Люди плывут в нем. Они раскачиваются, закрыв глаза, похлопывают в такт по столу, словно желая и его заставить вступить в хор, оторваться от земли.

Вопль ужаса сливается со скорбным причитанием, стоном, мольбой. Песнь полнится непролитыми слезами. До хруста сжимаются пальцы, взмывают руки. Кто-то изо всех сил вцепился себе в бороду, как будто удерживает готовое разорваться сердце.

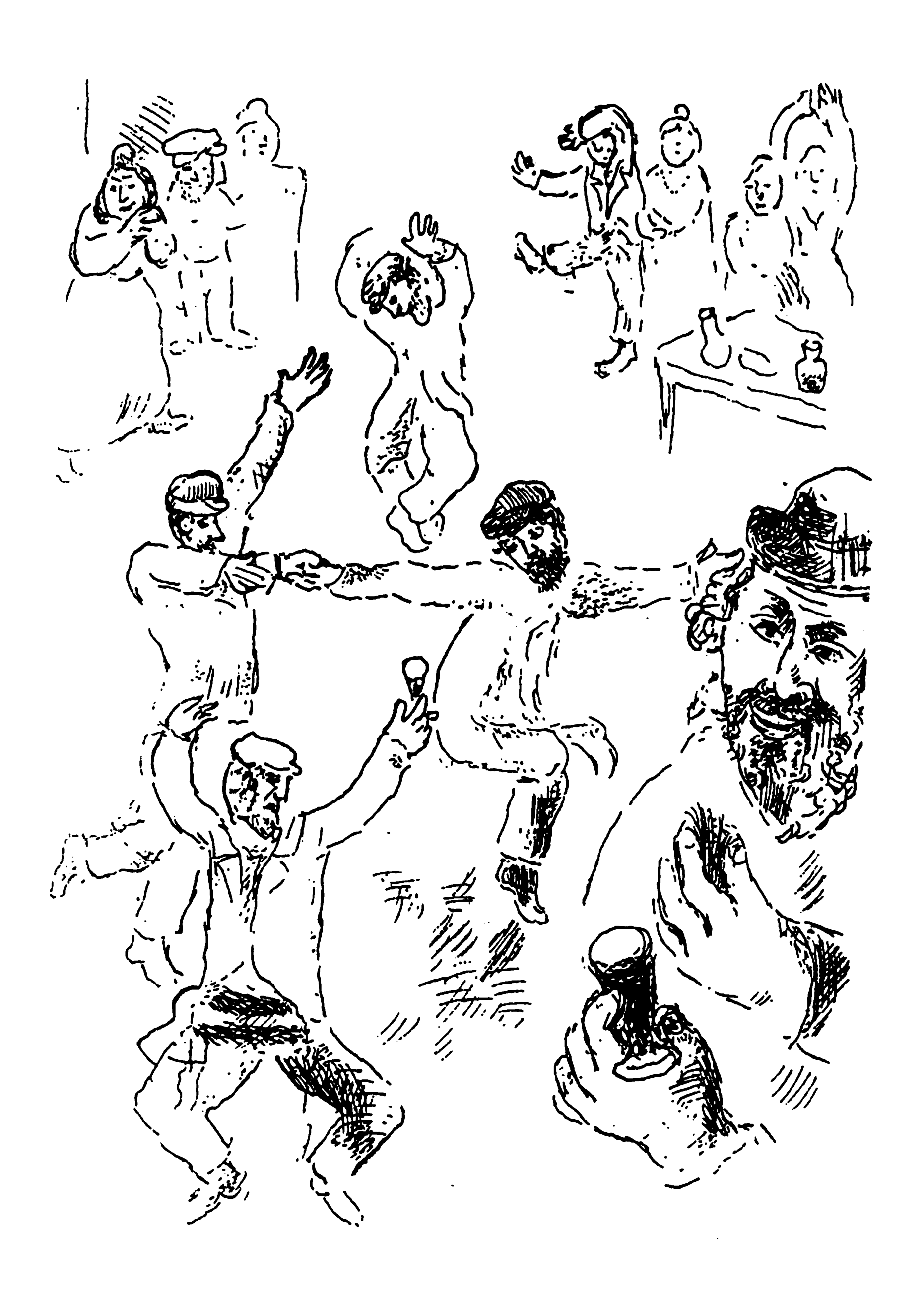
И вдруг плач обрывается.

Седовласый старик вскидывает голову, точно в этот самый миг Всевышний просиял для него на небесах:

— Друзья! Есть же на свете милостивый Бог! Что вы печалитесь? Ведь сегодня Симхат-Тора! Раввин велел нам плясать и веселиться!

И сразу же тут чья-то рука, там чья-то нога отлетают от тела и взлетают в воздух.

Стол отодвигают к стене, стулья растаскивают в стороны. Грохот такой, что задрожали стены. Скатерть



съехала вниз, и на пол посыпались стопки, куски пирогов. Мужчины пускаются в пляс. Притопывают на месте, трясут фалдами, становятся в круг.

Широко раскинув руки, закидывают их на плечи соседей. Руки сплетаются, плечи смыкаются плотно-плотно. Вцепились так, будто боятся попáдать и разбиться вдребезги по одиночке. Не глядя друг на друга, не помня себя.

Скачут и скачут скрипучие сапоги.

Танцоры изнемогают.

Вот новая спина вклинивается в круг, еще кто-то со свежими силами бросается в пляску, как в костер.

И весь хоровод оживает. Не осталось ни одного сидящего. Даже стол пританцовывает и норовит подобраться поближе к буйной компании.

— Реб Шмуль-Ноах! Хозяин! А вы что же? Давайте с нами!

И мой папа, всегда такой солидный и спокойный, вступает в круг.

Цепочка мужчин размыкается и подхватывает его с двух сторон. Я смотрю на него из своего уголка. Выискиваю его среди танцующих. Вот он — чуть набок голова, прикрытые глаза, длинная борода по ветру. Кружится, кружится, как во сне, того и гляди, растает от удовольствия.

Папа пляшет!..

Как же мне устоять на месте!

— Мама, можно мне тоже?

Женщины стоят вдоль стенки и радуются. Хоть раз в году их мужья повеселятся!

— Мама, ну позволь! Я тоже хочу плясать! Вместе с папой в кругу!

— Да что ты, детка! Тебя затопчут! Сама же видишь...

Тощий длинный человек с воплем врывается в дом. Кувыркается через голову и приземляется на ноги. Ужом пробирается сквозь толпу и влетает на кухню.

— Народ, расступись! Дорогу!

— Ой, горе мне! — взвизгивает кухарка. — Да это реб Лейзер! Что вам понадобилось на кухне?

Она узнала нашего соседа по двору. Однако тощий ее не слушает, будто она не к нему обращается.

Схватив длинный ухват, он вытаскивает из печи большой глиняный горшок. В нем «кулай» — темное варево. Горшок опрокидывается и выливается на соседа. Черный, как негр, он бежит назад, в столовую, и вызывает бурю веселья.

У захмелевших гостей заплетаются и подгибаются ноги. Наконец они без сил валятся на стулья.

Минуту полулежат, как в обмороке, закинув голову.

А потом кто-то, спохватившись, кричит:

— Нам еще к реб Менделю идти!

Все вскакивают, словно их стегнули кнутом, и на полусогнутых выходят на улицу. С ними уходит и папа.

Возвращается он с первой звездой, пошатываясь, крепко выпивши.

Ему стыдно зайти в дом. Дойдя до кровати, он падает как подкошенный.

И нам всем за него неловко.



ПЕРВЫЙ СНЕГ

После Дней покаяния тянутся нудные, глухие будни. Пресные, пасмурные, серые и короткие. На улице без конца идет дождь, идет и идет, будто забыл, что пора и честь знать. Знай себе лупит да брызжет в оконные стекла. Блестящие капли скатываются слезинками — окна плачут.

В доме темно даже днем. Ведь день тускнеет, не успев заняться.

Большие часы тикают еле-еле, медленно ворочают стрелками, тянут время, хрипло бьют.

Не знаешь куда деваться от скуки. В шуме дождя слышится какой-то стон.

— Шая! — ною я на кухне. — Кто-то скребется в дверь, открой!

— Отстань ты! Никого там нет! Кому охота выходить в такой ливень!

— Разве ты не слышишь? Колотят в дверь!

— Ничего удивительного — ветер с дождем хлещет уж который день!

— Да нет же! Это люди — кто-то топает ногами во дворе!

— Ну что мне с тобой делать? Гляди, дурочка, никого там нет... ой, что это? — Шая застывает перед окном, раскрыв рот.

С темного крыльца злобно сверкают два глаза — волк, что ли? Две кудлатые бородищи врываются в дверь.

— Разбойники! — Я тяну Шаю за рукав.

— Кого там принесло на нашу голову? — сердится Шая с перепугу.

— Капуста! Капусту свежую привезли! — Бороды встряхиваются и обдают нас тяжелым духом.

Два здоровых, промокших насквозь мужика волокут огромные мешки. С обоих льет ручьем. В сапогах чавкает вода.

В дверях они застряли и растерянно чешут в затылках, вдруг оказавшись на сухом полу.

— Ну что раскорячился! Не видишь двери? — Оба топчутся на месте и толкаются. — Тьфу ты! Дурья башка!

Мешки тяжеленные, словно набитые камнями. Мужики отдуваются, от них валит пар, прихожую как дымом заволокло.

— Сюда, сюда! Осторожней! А грязи-то нанесли! — кричит на них кухарка. — Извозили все, как свиньи! Не ходите дальше в своих сапожищах! Бросайте вот в этот мешок прямо оттуда. — Шая загородила дорогу мужикам. — Нашли время! Не могли приехать, когда сухо? Всю грязь из деревни собрали! А я только пол помыла на кухне! Дай посмотрю, какая там у вас капуста. Небось вся погнила!..

Из мешков выкатываются кочаны, круглые, белые, да какие плотные и чистые! На каждом будто белый кружевной чепчик. Как это они не вымазались в грязном мешке?

Кочаны летят один за другим. Каждый переворачивается вниз головой, падает на предыдущий, и все укладываются впритык, щека к щеке.

Вырастает целая капустная гора. Крепкий свежий дух разливается по кухне, будто тут раскинулось капустное поле.

Кухня повеселела, и мы тоже.

Шая, не откладывая, взялась за дело. Засучила рукава, притащила ведра и бочонки.

— Дети, не прыгайте по капусте! Саша, принеси из погреба стол да вымой его! — распоряжается она.

Вот встал длинный узкий стол. Появился железный секач. Страшновато глядеть: будто на мирной кухне расположился палач. Мы бросаем на стол кочан, и он тут же попадает под нож. Миг — и кочан изрублен в лапшу. На очереди следующий. Два взмаха ножа — и четвертинки капусты летят, как перышки, в приготовленные ведра.

Нашинкованная капуста пускает сок, в нем плавают горошинки перца. Сок пенится, льется через край.

Наконец заполнены все бочонки и ведра, капустную белизну расцвечивают морковные кружочки. Капусту накрывают деревяшкой, сверху кладут камень — гнет.

Я провожаю каждый бочонок до самого погреба. Здесь, где все пропахло плесенью, наша капуста, такая белая, свежая и крепкая, будет размокать и киснуть. Ну а пока мы, дети, накидываемся на сладкие кочерыжки и грызем их за милую душу.

И уж конечно мы не пропустим день, когда будут солить огурцы.

— Шая, дашь нам по огурчику? А мы тебе поможем их обтирать...

— Ишь, унюхали!.. Знаю я вас!

Шая требует, чтобы ни на одном огурце не осталось ни пятнышка. Мы натираем и начищаем их, как ботинки, пока не заблестит зеленая кожица.

Нет сил смотреть, как потом эти глянцевые огурчики укладывают в кадушку и заваливают стеблями укропа и другими пряностями. Они лежат там, будто в водяной могиле.

Каждый из нас высматривает самый лучший и блестящий огурчик и выхватывает из кадушки. Огурец хрустит на зубах, как орех.

— Ах вы уроды! — кричит Шая. — Вам что было сказано?! Этак вы у меня все огурцы потаскаете!

— У, ведьма! — кричим мы с полным ртом в ответ. — Тебе бы все заморить да заквасить в этом дурацком рассоле. А свеженький огурец — не смей, забудешь, какой он и на вкус!

Отругиваясь, мы выбегаем из кухни.

Дождь льет без продыху, кажется, мы и сами уже отсырели.

Но однажды утром просыпаюсь, и — о чудо! — комната полна света! Дождя нет. Светло во всем доме! Окна сияют, на стеклах ни слезинки. Яркие лучи протянулись с неба.

— Снег! Снег выпал!

Нас не оторвать от окон.

Двор... нет, это не наш двор! Вчера он был мрачный и серый, а сегодня весь побелел. Снег лежит на нем искристым покрывалом. Наверное, шел всю ночь.

На крышах и балконах пухлые снежные подушки, около дверей белые горки. На ступеньках расстелен пышный снежный ковер. И всё валятся серебристые хлопья, будто средь бела дня сыплются с неба звезды.

Эта нетронутая чистота ласкает глаз. Или, может, у меня выросли два новых, белых глаза?

Вдруг вспорхнула стайка воробьев, и с веток, как замерзшие птахи, полетели снежные комья.

— Пошли! Давай — кто первый ступит на снег? — Абрашка прижал нос к стеклу. — Гляди! Между рамами тоже нападало.

Между двойными оконными рамами лежит и поблескивает, как настоящий снег, серебряными ниточками белый валик из ваты. А сверху на ватной дорожке несколько красных и розовых бумажных цветочков лежат со смущенным видом, удивляясь, как это они тут выросли.

Братишка дышит на стекло и рисует пальцем страшную рожу с волосами торчком. Мы хохочем. А цветочки дрожат.

Этот озорник Абрашка всегда рад напугать кого угодно, пусть хоть бумажный цветочек.

— А ну, отойдите от окна, паршивцы! Не хватало еще разбить стекло в такой-то холод!

Нас отгоняют.

Но нам все кажется, что белый снег падает прямо у нас за спиной.

ХАНУКАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

— Дети, где вы? Мендель! Абрамеле! Башенька! Куда вы подевались?! — кричит мама из магазина. — Где вас носит целыми днями? Идите сюда! Папа ждет с ханукальными свечами!

Где мы можем быть! Греемся у печки. Уже вечер. Темнеет. Мы ждем, когда наконец закроется магазин.

Мама с виноватым видом выходит из магазина. «Как-никак сегодня праздник... а я все кручусь, — написано у нее на лице. — Хоть бы успеть собрать детей и зажечь ханукальный огонь!»

Мы все вместе идем в классную комнату, где нас ждет папа.

В этой довольно большой комнате всего одно окно. Папа стоит около него, загораживая спиной стекло и не впуская внутрь слабенький сумеречный свет. Мы утопаем в темноте и ждем, пока вспыхнет хоть искра огня.

Папа склонился над ханукальным светильником*. Папина тень шевелится на темной стене, как будто там мечется еще один отец. Когда голова его чуть отклоняется, тускло поблескивает серебряный светильник. Словно проглядывает сквозь облака бледный месяц.

Светильник миниатюрный, точно игрушечный, но на его тонкой серебряной стенке отчеканена целая картина.

---

* В каждый из восьми дней праздника Хануки на специальном восьмисвечнике или в ламповом светильнике зажигается очередной огонь.

В центре два льва с буйными гривами и разинутыми пастями держат в передних лапах скрижали Завета.

На скрижалях ничего не написано, но от них исходит сияние — они проникнуты божественным светом.

Львов окружают цветущие, как в раю, растения. Густые кущи, виноградные грозди, разные упавшие с древа плоды. На ветвях его таращат глаза две птицы. И даже ползет длинная змея.

По бокам, как бдительные стражи, два серебряных кувшинчика, тоже маленькие, но пузатенькие, — чтобы в раю не было недостатка в масле.

А чтобы львам и птицам было хорошо видно, под ними тянется канавка, разделенная на восемь ячеек, — бери и зажигай.

Белые папины руки переходят от одной ячейки к другой. В самой первой он вытягивает фитилек и капает масла из кувшинчика. Фитилек впитывает масло, становится белым и мягким, похожим на крохотную свечку.

Папа произносит молитву и зажигает фитилек. Один-единственный огонек. К семи другим ячейкам папа не прикасается. Пустые и холодные, они кажутся лишними.

Совсем не праздничный этот одинокий огонек. Сердце щемит, будто — Господи, помилуй! — зажгли поминальную свечу.

Язычок пламени такой слабенький, дохнёшь — погаснет.

Никакого отсвета на полу, даже маленький рай освещается не полностью. Только одному льву достается немножко тепла, другой и знать не знает, что рядом огонь.

Все ушли: родители и братья. А я подхожу поближе. Мне хочется поправить фитилек, вытянуть побольше: может, пламя станет ярче?

Но его не ухватишь. Я только обжигаю пальцы.

Огонек дрожит, меркнет, мигает, дергается.

Сейчас погаснет... он борется, пытается воспрянуть, хотя бы ради того, чтобы лизнуть разок виноградную ягодку на серебряной стенке или согреть лапу чеканного льва.

Вдруг из пламени падают одна за другой крупные капли масла. Они заполняют ячейку, и язычок, и без того чахлый, вот-вот потухнет совсем. Фитилек начинает коптить, копоть оседает на оконной раме.

Темное пятнышко садится и на стекло, поверх следов от прошлой Хануки.

Когда зажигают большую лампу под потолком, ее яркий свет заглушает последнюю память о праздничном огне.

Почему мамины субботние свечи такие большие и высокие? А папа, такой большой, произносит ханукальные молитвы над таким маленьким огоньком?





ПЯТАЯ СВЕЧА

Огонек за огоньком, и вот уже пять свечей зажжены в ханукальном подсвечнике. Все пять горят разом. Какой свет в глаза!

Веера лучей смыкаются, с каждой новой свечой, прибавляющейся справа в ряду, серебряный рай озаряется больше и больше, теперь он уже весь освещен и обогрет. В столовой собрались дети, от мала до велика. Висячая лампа горит по-праздничному, во всю мочь. Из кухни несутся запахи, один другого вкуснее.

Застывает заливной судак в лужице бульона. Кружочки тушеного вместе с рыбой лука вмурованы в желе, как в лед.

Еще пузырятся с пылу хрусткие темные шкварки.

Не переставая кипит расплавленный жир в стоящем на огне горшке.

В кухне адская жара. У кухарки Шаи пламенеют щеки. Стоя перед раскаленной плитой, она колдует над сковородками. Эту разогревает, ту смазывает промасленной бумагой, наливает тесто, снимает блин.

Пышные, горячие, с блестящими капельками масла, блины подскакивают над огнем, похожие на новорожденного младенца, которому повитуха дала шлепка.

Мы смотрим на кухарку, словно она волшебница.

— Шая! Дай мне вон тот пышный блинок, а? — клянчит Абрашка, вытянув голову с наливными — как только не лопнут! — щеками.

— Да у тебя живот заболит! Глотаешь и глотаешь блины — сколько можно! Просто спасу нет от этого паршивца!

Шая ворчит, но это не мешает ей проворно печь и складывать пышущие жаром блины в горки.

И вот мы радостно хихикаем и облизываем пальцы. Блины утопают в масле. Шкварки ждут.

С чего начать?

Но вдруг на столе появляется коробка с деревянными фишками-бочонками. Лото!

Нам раздают картонные карточки с рядами цифр в клеточках: 2, 9, 7, 3 — случайный набор. Игра кончается, когда кому-нибудь повезет первым закрыть все клеточки бочонками с такими же числами.

Каждый раз, когда число совпадает, игрок вздрагивает, будто ему привалило счастье.

— Одиннадцать! Четыре! Семь!

— У меня четыре! Давай сюда!

— У кого семерка? Ни у кого нет?

Покрутив бочонок в пальцах, брат запускает его на середину стола.

Семерка катится к зажженной лампе, похожей на одноногого черта.

От цифр и фишек рябит в глазах.

— Эх ты, разиня! — визжит, выглядывая у меня из-за плеча, Абрашка. — Вот же у тебя семерка! А ты молчишь! Все тебе надо под самый нос совать!

— Я выигрываю?

— Балда! Думаешь, так быстро и выиграешь?

— Ну что с ней делать! Ишь, замечталась! Сейчас уснет!

— Да она блинов объелась, смотри — глаза заплыли!

— Вот еще, просто она не знает, как пишется семерка!

— Ага!

Тут я не выдерживаю:

— Учитель говорит, что я занимаюсь лучше тебя! И семерку отлично знаю, это счастливое число.

— Что ж ты свое счастье прозевала!

— Гляди! Она вся дрожит!

Замирая от страха, я уставилась на следующий бочонок. И заскакала на месте:

— Выиграла! Смотрите, я выиграла! Вам назло!



Братья поворачиваются ко мне и глядят на мою карточку. Я и сама не верю такому чуду: все номера закрыты бочонками.

— Дуракам везет, — усмехается Абрашка.

Мне завидуют. Даже добряк Мендель в досаде бьет по столу уже ненужными карточками, так, будто хотел ударить мне по пальцам:

— Еще бы один номер! Всего один — и я бы выиграл!

— Э-э! Ты выиграешь в другой раз! А для нее эти несколько копеек — целое состояние!

Радость испорчена. Выигранные монетки жгут мне руки.

— Чего там, давайте лучше посмотрим, как бегает волчок! — Абрашка запускает на столе жестяной волчок*.

Волчок коснулся единственной ножкой блестящей клеенки и бешено закружился.

---

* На Хануку дети запускают волчок с четырьмя гранями, на каждой из которых написана ивритская буква «нун», «гимель», «хе» и «шин», первые буквы слов «Нес гадоль хая шам» — «Чудо великое было там».

Мы смотрим на него как завороженные. Куда девался маленький наконечник? Где четыре буквы? Все грани сгладились в настольном вихре. «Гимель» и «нун» промелькнули на какой-то миг и исчезли.

Но вот волчок выдыхается, вихрь стихает, маленькая ножка вращается все медленнее, вырисовываются жестяные грани, проступают резные буквы. «Гимель», «шин», «хе» и «нун», словно возвращаясь издалека, кивают нам головками.

— Спорим на что хочешь. Выпадет «гимель»!

— Раз ты говоришь, так и будет!

Все уставились на «гимель», хотят удержать эту букву глазами, выхватить на ходу. Ну-ну... еще чуть-чуть — кажется, она и выпадет... «Гимель» — знак удачи. Но бегущий следом «шин», дурной знак, коварно ставит подножку, «гимель» валится на бок, и волчок замирает посреди стола с буквой «шин» на верхней грани.

— Хочешь еще раз поспорить?

— Да нет, все честно... ладно, сегодня праздник. Давайте теперь в карты!

Все с новым пылом набрасываются на карты, и пестрые картинки выпархивают из колоды.

Дама, стройная, с гладким алебастровым лицом, сохраняет строгость. Король расплылся по всей карте, будто желая дородностью придать себе веса.

Молодых валетов легко отличить по лихо подкрученным усикам.

А на этой карте теснятся два короля, точнее, две половинки. Каждый норовит спихнуть другого к краю.

У каждой карты своя цена, считать очки — целая наука.

— Сыграем в двадцать одно?

Братья разгорячились. Один тасует карты: перемешивает раз, еще раз, пускает карты по одной, будто проветривает. Дует и плюет на пальцы, перебрасывает колоду с руки на руку. И наконец кричит:

— Сними!

Я снимаю слой карт и перекладываю под низ колоды.

— Теперь прихлопни!

— Хватит тебе командовать! Уже перемешано! Новые, что ли, хочешь вымесить? Это небось не блины!

— Одна... две... вот... это тебе... это тебе... Одна, две, три...

Брат мечет карты на поле боя.

Мы, затаив дыхание, следим за его пухлыми пальцами. Сидим как на иголках и не решаемся взглянуть, что нам выпало.

Каждый уверен, что лучшая карта у соседа, а свои, безжалостно сминая, прячет в ладони. Как будто победа зависит от того, чтобы никто не подглядел твои карты.

Труднее всего не трогать карты на столе, не переворачивать их и запоминать, какие уже отыграны.

Они ложатся рядком или откладываются в сторону, вверх рубашкой, а мы смотрим и ждем чуда. Вот бы выиграть!

Углядишь у соседа короля — и сердце падает. Ну, все... Выиграет он!

— Не очень-то задавайся. Иногда мелкая карта стоит больше короля.

— Где это ты у меня видел королей?

— А ты думаешь, раз молчишь, так и карты онемели?

— Подумаешь, короли! На что они мне нужны! У меня есть карточка получше самой дамы!

— Врешь! А ну покажи!

Мы наваливаемся на хвастунишку Абрашку.

— Иди верь этому пустомеле! Ты что брыкаешься? Вон из-за тебя я уронил карту.

— Ну конечно, из-за меня! — Абрашка передразнивает брата. — Дурак! Они у тебя, дурака, сами на пол валятся, от страха.

— Нахал! Отдай мою карту или выходи из игры!

— Как же! Жди!

Абрашка скачет на одной ножке и ржет-заливается:

— А я вас обдурил! Вот она, дама-то! Что, съели?

Он первым увидел у соседа карту, ту самую, нужную.

— Отдай! Это моя! С ворами не играют! Так нельзя! Не считается!

— Откуда ты знаешь, как можно, а как нельзя? Тоже мне, мудрец нашелся!

— А ты жулик! Вечно все перевираешь!

Братья вцепляются друг в друга. На полу около стола настоящая свалка. Разлетаются карты, опрокидываются стулья. Тычки, тумаки, затрещины так и сыплются. Война не на шутку, кулаки вместо пулеметов.

— Все равно дама была не твоя!

— Как это?

Абрашка не унимается:

— Со стола или с пола — не важно, я взял карту, значит, она моя, а тебе шиш!

— Ах так? Вот тебе, собака! Теперь не отвертишься!

— Дети, тихо! Сколько вы будете там вопить! Спать не даете! Уже полночь!

Братья замирают и переглядываются — отцовский голос из спальни действует на них как холодный душ.

Я молча подбираю карты. И мне все кажется, что они тоже дерутся.

Выигранные копейки мешают заснуть.

Я сунула их под подушку, но они пролезают сквозь перья, шепчут, щекочут мне уши.

Притронуться к ним я боюсь, будто они краденые.

Еле дождавшись утра, отдаю их первому нищему, который постучался в дом.

ХАНУКАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Мама как-то сказала мне, что я родилась на Хануку, в день пятой свечи.

Но кто у нас в доме знает об этом?

Никому из братьев дела нет до дней рожденья:

— Родились, и ладно. Эка невидаль! Чего тебе надо? Еще раз родиться хочешь?

— Это еще что? — обрушился на меня отец. — Что вдруг за новый праздник объявился? До такого только нечестивая голова могла додуматься.

Что ж, оставалось радоваться Хануке и довольствоваться двумя десятикопеечными монетками, «ханукальными деньгами», которые мы, дети, получали от папы и от дедушки.

На эти деньги можно было нанять сани и покататься. А нас было хлебом не корми — дай покататься на настоящей лошади. Вот почему эти две серебряные монетки звенели и пели, как бубенцы в санной упряжке, что везет нас по городу.

Дедушкина монетка особенно блестела, можно подумать, он ее к Хануке специально начищал.

К дедову дому мы с Абрашкой и бежим в первый праздничный день с утра пораньше.

Если дедушка еще спит, мы его будим, уж не забыл ли он, что на дворе Ханука?

А где живет наш дедушка? Как уж так вышло, не знаю, но живет он не на еврейской улице. Она называется Офицерская. Правда, там неподалеку расположено сразу несколько синагог.

Улица состоит из белых домиков. Белоснежная улица. И самая спокойная в городе. Ни одной лавки, тиши-

на. Уснуть можно. Не дай Бог тут громко рассмеяться. Тут же из-за цветочных горшков, которыми уставлены окна, вынырнут головы старушек в пестрых чепцах:

— Эй вы, негодники! Перестаньте хохотать!

Как будто у них во всех этих домиках лежат больные старички!

Домики такие приземистые, что в них только лежать и можно. А если приходил человек большого роста? Наверное, ему приходилось сгибаться в три погибели.

Может быть, поэтому бабушка с дедушкой год от года становятся все меньше.

Некоторые домики совсем осели. Кажется, старички, которые там живут, вросли в землю, и непонятно, стоят ли цветы на подоконниках или растут прямо на улице.

Изнутри, уж точно, ничего не видно и не слышно.

Крыши домов укрыты толстым белым одеялом. Двери наглухо задраены. Ветер швыряет в окна снег, забивает им щели, но старые тюлевые занавески не шелохнутся. Дым из труб шатается над крышами, как пьяный. Намаявшись в духоте, ветер, прежде чем вырваться наружу, тычется и мечется туда-сюда.

Будто белый пар валит от заснеженных домов.

— Эй, зевака, проснись! На что ты там загляделась?! — кричит Абрашка и швыряет в меня снежками с другой стороны улицы.

— Замолчи, дурак, а то люди сбегутся!

— В такой мороз? Как бы не так! На что спорим?

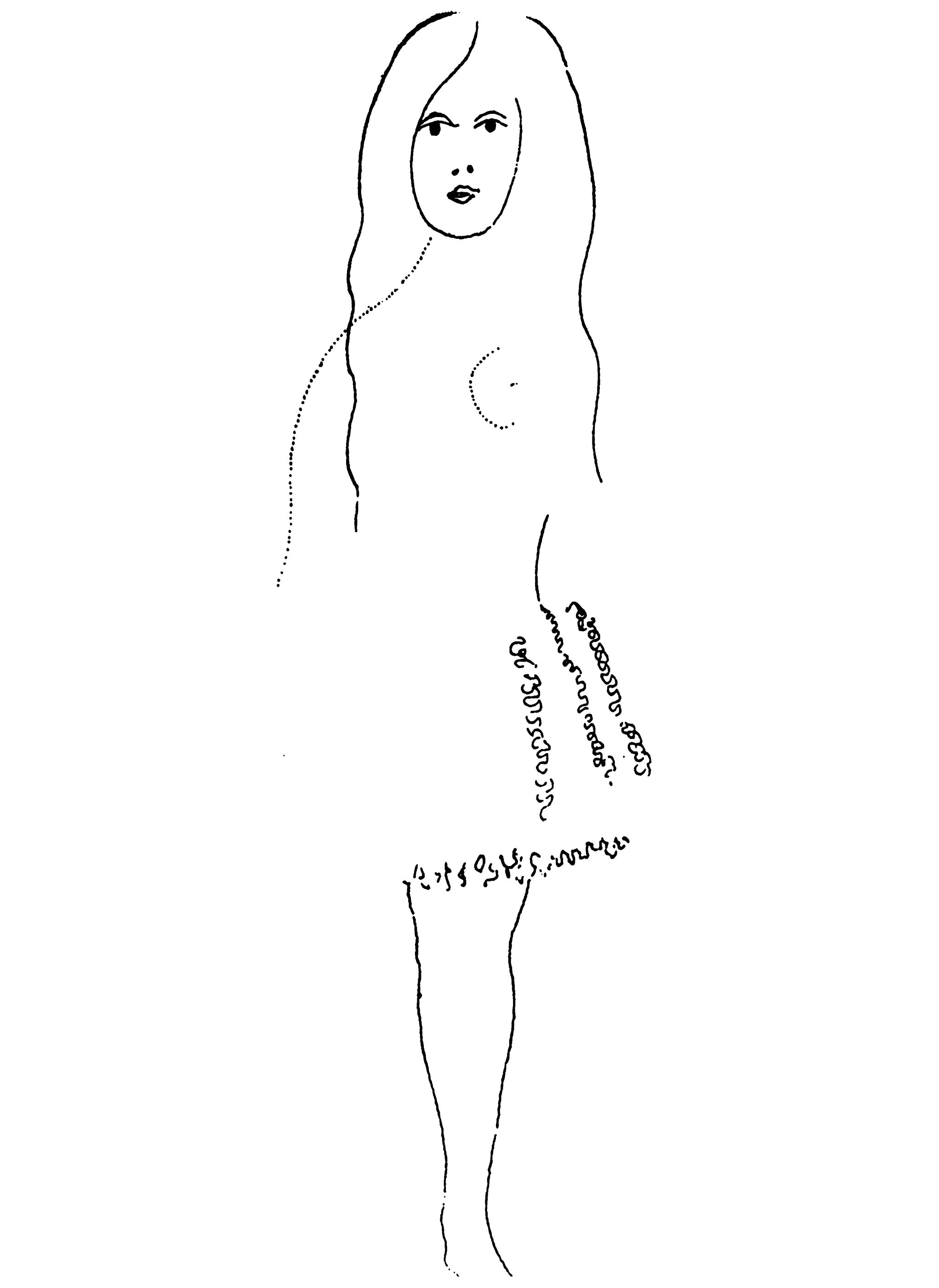
За забором — толстое белое дерево. На нем несколько слоев снега, как десяток подушек на бабушкиной кровати. Ветви еле выдерживают тяжесть.

Абрашка влезает на забор, перепрыгивает на дерево и трясет его. Снежные комья камнями валятся вниз.

Оголенная ветка затрещала и обломилась.

— Балда! Мало тебе снега на улице? Зачем еще с дерева понадобилось стряхивать? Чем оно тебе мешает?

— Тебе-то что? Дерево не мое и не твое. Или оно тебе родня?



Мне страшно хотелось забраться в какой-нибудь из этих домиков. Может, там за дверью окажется добрая старушка и спрячет меня в подоле своей юбки от Абрашки?

Дедушкин дом — в самом конце улицы. Домик как домик, такой же, как все. Те же цветы в горшках, те же резные ставни, разлинованные полосками забившегося в щели снега, тот же дымок над крышей.

Но нам он казался белее и теплее других.

Едва добежав до двери, Абрашка тянет за шнурок звонка. Хриплая трель раздается в доме, и снова все тихо.

— Вот как? Детки уже здесь. Я еще только на базар иду, а они уж явились за своими ханукальными деньгами! — Нам открывает старая бабушкина кухарка Фрида с платком на плечах. — Брр! Холоду напустите! Заходите! На улице, видать, мороз. Надеть, что ли, второй платок, а, Башенька?

Фрида топает ногами, так что даже веснушки на лице подпрыгивают. Зимой они похожи на засохшие брызги грязи, которые забыли смыть. Вечно она суетится, вечно торопится. Говорит, что уходит на базар, а сама собралась поесть горяченького. Вон у нее на кухне что-то шипит-жарится.

— Фрида, дашь картошечки?

— Откуда ты знаешь, что я жарю картошку?

— Дедушка еще спит?

— Как же, спит! Когда ему спать? Все Тору изучает!.. А это еще что такое: кошка в корзинку влезла!

Кошка проснулась от крика, сверкнула прищуренными глазами, увидела снег у нас на ногах. Задрала хвост, расправила усы, скользнула к нам и лижет белый комочек. Снег тает у нее под носом, кошка чихает.

— Эх ты, кошачья голова! — Абрашка тянет кошку за хвост. — Сбегай лучше к бабушке, скажи, что мы пришли!

— Оставь в покое кошку. Она у нас ленивица. Я скорее сама прибегу...

Это появляется бабушка. Она вошла тихо-тихо — кажется, ее мягкая улыбка скрадывает звук шагов.

— Детки, вы, в такой мороз? Вот это да! Башенька, снимай скорее платок! Иди греться к печке, но смотри не обожгись. Только что закрыли заслонки.

Бедная бабушка суетится вокруг нас.

— Хочешь горячего молока? Чем же вас угостить в такую рань?

Не знает, за что взяться. То ли помогать нам раздеваться, то ли кормить? Белокожее лицо, седые волосы ее так и светятся. Цветочки на чепце цветут как среди лета. Сама гладкая, пышная, теплая, что натопленная кафельная печка.

В доме не повернуться. Он забит вещами, будто бабушке, вечно боящейся простудиться, внушает страх любое пустое пространство.

— Бабушка, сегодня праздник! Ханука! — виснет на ней Абрашка.

— Да что ты говоришь! Тише, тише! Ханука — это еще не значит, что надо опрокидывать бабушку на пол! Господи, как же ты вырос!

Абрашка спохватывается: бабушка еле устояла на своих коротеньких ножках, не хватало еще, чтобы она рассердилась!

— Но все-таки ты хороший мальчик, Абрамеле! — Бабушка улыбается. — Не полениться прийти так рано утром, чтобы принести это счастливое известие! А я-то собиралась спросить у дедушки... без тебя, негодника, я бы и не знала! Ну, иди ко мне! И сначала поцелуй мезузу* на дверях, как тебя ребе учил.

— А я, бабушка, а я? Я тоже хочу!

— А ты, пигалица, не суйся! Ты девчонка!

Абрашка гонит меня вместе с кошкой, которая вертится под ногами.

---

* Мезуза — небольшой свиток пергамента со словами молитв, вложенный в деревянный или металлический футляр, который прикрепляют к дверному косяку.

Везет ему! Он мальчик, ему все можно. Небось даже котом лучше быть, чем девчонкой-недомерком, которую всегда шпыняют.

— Не дразни малышку!

Бабушка, будто о чем-то вспомнив, хватается за голову:

— Башенька, не простудилась бы ты! Ну-ка, идем!

— Чай с малиной, бабушка, да? — спрашиваю я и бегу за ней.

Я точно знаю: раз бабушка заговорила о простуде, значит, сейчас достанет из чулана, где хранятся запасы варенья, горшок малинового.

— Вот, Башенька, возьми это с собой. Скажешь маме, чтобы давала тебе на ночь стакан горячего чая с этим вареньем. Это, скажи, лекарство от всего. А при простуде — самое лучшее средство.

— А где дедушка? Что-то его не видно.

— Проходите, вон он, около печки.

В полуоткрытую дверь столовой видна белая блестящая стена — это кафельная печь, — и на ее фоне черной тенью раскачивается дед.

А мы-то думали, он еще спит! Спать? Да, по-моему, с тех пор как мы его видели на прошлой неделе, накануне субботы, он вообще ни разу не прилег — так и простоял тут, у печки.

На нем все тот же черный кургузый пиджачок. Один и тот же зимой и летом. Щуплое тельце совсем ссохлось. Одной рукой дед гладит бороду, другой, раскачиваясь, перебирает цицит*. Наверное, размышляет над каким-нибудь местом из Торы, мысленно поворачивая его так и этак.

Нас он не видит. И не может ясно видеть: очки его вздеты на лоб, кустистые брови свисают на глаза. Снежной пеной лежит на груди борода, белизна поднимается к вискам, покрывает скулы. На очень тонкой коже проступают красные жилки, вздувшиеся от печного жара.

---

* Цицит — нити, прикрепленные с четырех сторон к одежде правоверного иудея.

Мы боимся подойти. Дедова тень колышется на белом кафеле. Кажется, он далеко-далеко от нас, одной ногой в другом мире.

— Смотри-ка, Башенька. — Брат тянет меня за рукав. — Вон на столе гривенник!

Дедушка, дорогой! Он и об этом позаботился! А я была уверена, что он думает только о божественном.

Однако дедушка не поворачивает головы от окна. Яркое солнце отражается в его глазах, они словно впитали весь свет небесный. Ханукальная лампа укреплена на окне, старинная, темного серебра лампа, с пустыми ячейками.

Но под дедушкиным взглядом все восемь чашечек вспыхивают, точно с одной спички.

— Дедушка!

Мы не можем больше утерпеть, но замолкаем после первого же слова, испугавшись своих голосов.

— А? Что такое? — Дедушка очнулся от глубокого забытья. — Айга! Поди посмотри, кажется, кто-то пришел!

— Это детки Алты — Абрамеле и маленькая Башенька! — отзывается бабушка.

Тогда дед поворачивает величавую белую голову, глядит на нас и улыбается. От улыбки по лицу разбегаются морщинки, оно делается совсем другим, расплывается, как горячий воск.

— А я-то думал... — Дед стряхивает очки на нос и рассматривает брата сквозь стекла. — Я-то думал, Абрамеле Божьей милостью на будущий год пройдет посвящение, а он... он думает только о ханукальных деньгах! Что, Абрамеле, не так? — Дедушка треплет Абрашку по щеке. — А ну, подойди. Я тебя поспрашиваю. Скажи-ка... — Пауза. — Что ты прошел из Пятикнижия? Вот уж пять лет как учишься у ребе...

Блестящий гривенник кружит Абрашке голову, притягивает его как магнит. Вот она, монетка, так близко, только руку протяни, смерть как хочется взять ее и разглядеть. Что там, на другой стороне? Как обычно, орел?

Дед что-то говорит, но Абрашка не слышит. У него чешутся руки перевернуть гривенник. Стол полированный, скользкий, монета может закрутиться волчком. Слетит со стола и закатится в какую-нибудь щель — ищи ее потом...

От страха круглые Абрашкины глаза вылезают из орбит. Надо, думает он, поскорее схватить монету. Пока дед не начал его спрашивать и выслушивать стих за стихом, недавно вызубренные и уже полузабытые.

А вдруг ему вздумается взять с полки Моисеево Пятикнижие... И читать нараспев, как ребе в школе. Так весь день пройдет. Стемнеет! Где тогда найдешь извозчика? Где возьмешь лошадь? Кто это будет дожидаться?

Все мальчишки гуляют, катаются в санях... а он...

У Абрашки сжимается сердце. Заснет он тут и свалится к дедовым ногам около печки. Жар бросается ему в лицо, точно не дрова горят в печи, а он сам. На беднягу жалко смотреть. Пальцы дрожат, лицо пылает. В глазах пляшут отблески огня, будто пожирающего заветный гривенник.

— Десять копеек серебром! — бормочет и бормочет он.

Если и папа даст ему столько же, он, Абрашка, объедет весь город. Ни один извозчик ему не откажет. Стоит показать хоть краешек серебряной монеты Ивану-кучеру, тот глаза вылупит. Небось расшевелится, увалень. Начнет убеждать Абрашку, что у него и сани, и лошадь самые лучшие. Еще бы — они ему достались от помещика!

— Вон на сиденье мех постелен. Не смотри, что на вытертую козлиную шкуру похож. В него барские дети ножки укутывали.

А конь! Иван восхищенно присвистывает. Запрячь его по всем правилам, так он орлом полетит! Шутка ли — на нем сама помещица выезжала!

— А бубенчики видал? Звону, что от целой колокольни! Да ты сядь — пусть лошадка тронется...

Иванов бас так и гудит у Абрашки в ушах.

Наконец он не выдерживает: подскакивает к столу и сгребает монетку.

— Постой-постой! Успеется! Что за спешка! Ты бы лучше так же прытко выучил свою речь на бар-мицву!*

Абрашка поднимает голову. Кто это сказал? Точно, что не Иван! Дедова ладонь легла на проворные пальцы внука.

— Ладно, Барух, отдай им эти десять копеек! Капля радости для детишек! Видишь же, как им не терпится. Мальчишка на месте устоять не может, да и сестричка Бог знает где витает!

Наконец мы выбегаем от дедушки, получив свой гривенник.

На улице брат дает себе волю. Как это снег у него под ногами не тает! Он размахивает руками, трясет варежкой с монетой.

В голове одна забота: остались ли еще сани? И лошадь?

У меня соскочила галоша, и я останавливаюсь.

— Только свяжись с девчонкой! Копуша! — кричит на меня Абрашка, вместо того чтобы помочь. — Скоро ты там? Сначала дед тянул, теперь ты со своими галошами! За это время все сани разберут!

— Я что, виновата? Галоши новые, сваливаются... А дедушка на тебя рассердился: он хотел тебя проверить, а ты...

— Чего-чего? Не морочь мне голову! Скажи лучше, кого наймем: Ивана или Берла кривобокого, того, что на одну ногу хромает?

— Это же незаметно! Он сидит, а у лошади ноги в порядке.

— А может, у него и лошадь хромает. Может, он ей ногу перешиб. С него станется!

— Эй, барчук! Абрамеле! Барышня! — Извозчики заметили нас.

---

* Бар-мицва — ритуал посвящения мальчика, достигшего тринадцати лет.

Они нас знают. Всегда тут стоят, в конце улицы. Застоялись, от холода хлопают и дуют в ладоши.

— Ханукальные денежки получили? И сколько вам дали? Покажи-ка! Ну так залезайте! Лезь живей, девчурка!

Извозчики отталкивают друг друга. Старик, что вызвался первым, выдыхает на морозе клубы густого пара, будто хочет согреться. Когда он говорит, заиндевевшая бородка топориком вздергивается и опускается, отрубая каждое слово.

— Поехали лучше со мной! На что тебе этот старый хрыч! Сам развалина, и кобыла не лучше!

— Как бы не так! Она десяток таких, как твоя, обгонит! Чтоб ты сдох!

Пока они переругивались, Иван соскочил с облучка своих саней, проехался на ногах по скользкому снегу и очутился прямо перед нами.

Закутанный, как куль, он слегка переваливается и распахивает перед нами, как когда-то перед своими господами, вытертую овчинную полость... готово дело... мы сидим.

Другие извозчики досадливо сплевывают:

— Что с ним, чертом, сделаешь!

Иван всего-то раз взмахнул кнутом, но лошадь сразу встрепенулась и задрала хвост, как кошка, которую облили холодной водой.

— Но-о! Старая кляча! Пошла! — дерет глотку Иван и аж привстает на облучке.

Зазвенели и звенят без умолку бубенчики.

Иван горячит лошаденку то криком, то кнутом, обжигая ее замерзший круп. Пар валит у нее из ноздрей, она словно хочет вырваться от возницы. Он натягивает вожжи. Хвост обхаживает лошадиные бока не хуже кнута, круп трется о деревянные оглобли — кажется, вот-вот слезет шкура.

Куда лошадь, туда и сани. Тут сугроб, там ухаб. Летим как на крыльях. Некогда дух перевести.

— Но! Чумовая! Но! Хоп! — надсаживается Иван.

Свистит, прищелкивает языком, гикает, подпрыгивает, дергается, как бешеный. Снег с его спины летит нам в лицо. Ледяной вихрь кружится сзади и по сторонам.

Снежные брызги разлетаются от лошадиной морды, клубится пар. Снег падает на спину и на голову. Лошадь вошла в раж, трясет гривой, заливаются бубенцы.

Нас словно подхватило и несет бурным течением. Справа и слева вскачь мчится город, мелькает одна улица, разворачивается другая. В переулках из-под полозьев снег взметается белыми струями, будто муку из мешков вытряхивают. Где мы? Единым духом перемахнули городской сад. Только что были там, на высоком холме, среди деревьев, миг — и сад унесся прочь, как снежинка. А куда девался собор? Кто бы мог сдвинуть его с места? Но и он оторвался от земли и пронесся мимо. Только с белых стен сорвалось снежное облачко. Да еле успел блеснуть и вонзиться в небо крест.

У меня разгорелись щеки, их щиплет мороз.

Вытянув руки, хочу поймать улицы, дома. Но все пролетает мимо: окна, ставни, вывески, — все подхватывает ветер, заметает снег.

Кажется, мы уже далеко за городом, я мерзну и больше ничего не вижу. Снег залепил глаза и брови. Набился в волосы, они затвердели, хоть режь ножом! В снегу воротник.

Я топаю ногами. Овчина давно промокла. От нее еще холоднее. Ноги одеревенели — не поднять. Толкаю, трясу Абрашку. Но что с ним?

Свищет ветер, и я не слышу брата. Только что он брыкался, как жеребенок. А теперь? Почему у него изо рта не идет больше пар? Кровь бросается мне в лицо.

«Может, мы замерзли?»

Мама! Мама! Где мама? Тоже улетела на небо? И зовет оттуда: «Где вы? Куда вас занесло? На край света?»

Вдруг сани останавливаются как вкопанные, мы чуть не валимся кувырком.

— Ну, где ваши десять копеек?

Нас будит гулкий бас Ивана. Толстая, словно медвежья лапа, рукавица загораживает свет.

Иван вытряхивает гривенник из Абрашкиной варежки. Засунув кнут за пояс, он плюет на одну, потом на другую руку, подкидывает, будто проверяет вес, наконец, пробует на зуб.

— Настоящее серебро! Твердое, как железо!

— Где мы, Иван?

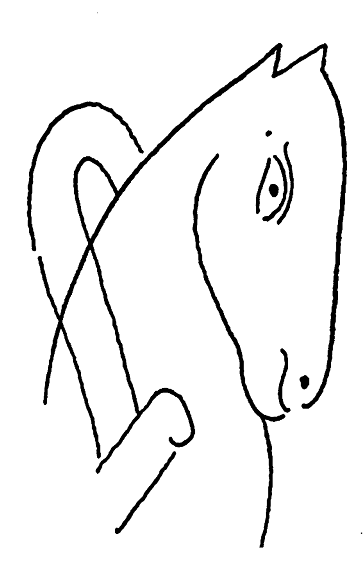
— Дома, барышня, домой приехали.

Я оборачиваюсь.

Правда. Сзади, как обычно, стоит церковь. Стены, крыша, крест — все вернулось с неба.

Само небо закрылось, согнало облака. Только одна звездочка заблудилась и поблескивает в вышине.

На холме опять вырос парк. Домики, лавочки, окошки — все на месте. Мы сползаем с сиденья. Где мы были? Иван оставил нас посреди широкой пустой улицы.



МАГАЗИН

Стоит толкнуть дверь, отделяющую жилье от магазина, как передо мной открывается другой мир.

Вся она обита железом. Вместо ручки торчит огромный ключ. Сразу за дверью — склад, где я всегда спотыкаюсь на пороге, а потом иду ощупью, держась за стенку. Под ногами шуршит оберточная бумага.

На полу лежат и ждут, пока их повесят на стену, упакованные часы. Они еще не ходят и лежат навзничь, немые, словно заживо погребенные. Спертый воздух темного помещения пропитан доносящимися из магазина голосами.

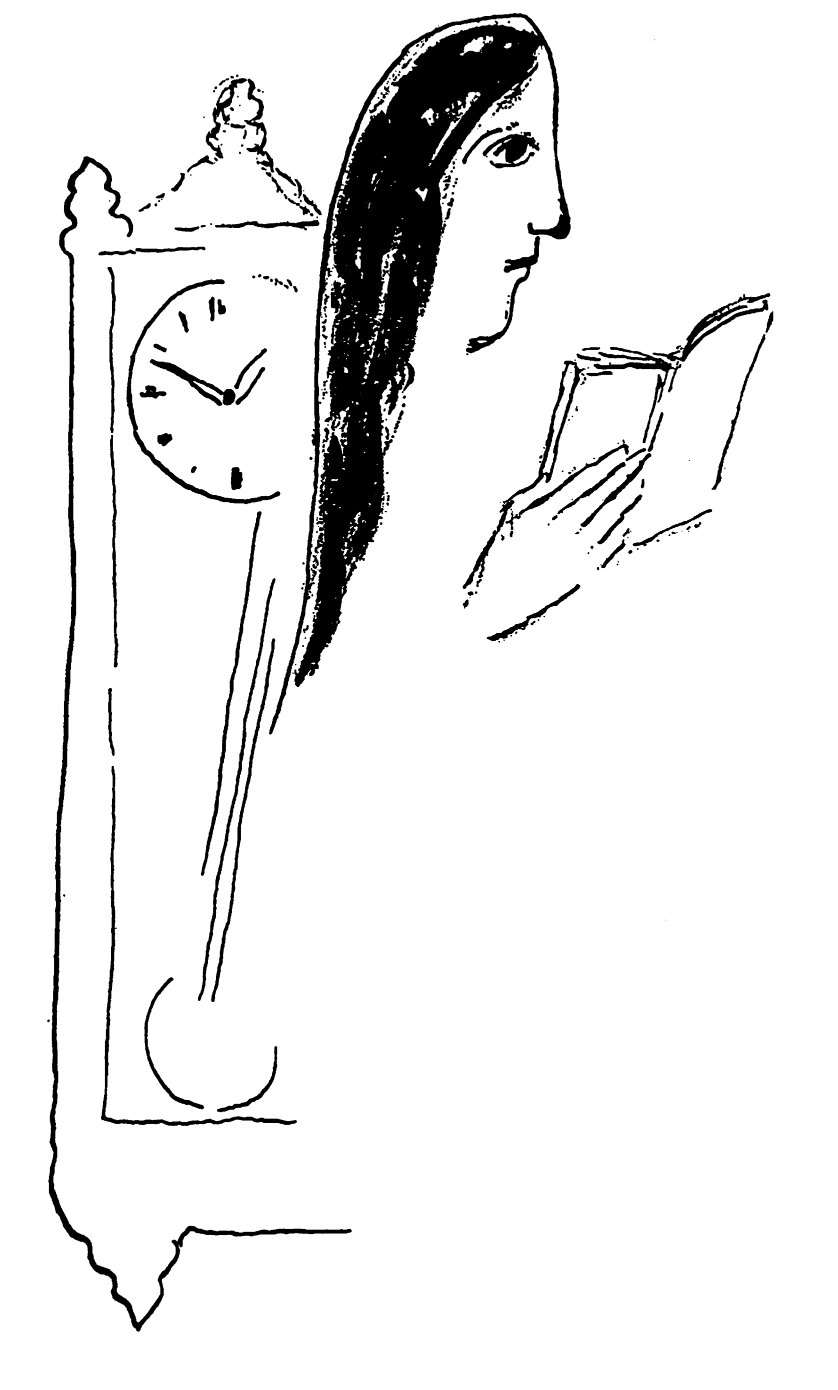
Голоса бьются за высокой деревянной перегородкой. Я стою за ней, как за решеткой, и прислушиваюсь. Ловлю один голос из всех — мамин, вот он, ура!

Но — внимание! — надо еще определить, ровный ли, спокойный у нее голос или, не дай Бог, сердитый. От этого зависит, можно или нельзя мне войти в магазин.

Бодрые высокие нотки — приглашение. Я откидываю портьеру. И попадаю в головокружительное стеклянно-зеркальное царство. Громко и вразнобой отплясывают маятники. Вокруг все сияет. Блестит, отражается в зеркалах, переливается в витринах золото и серебро. Ослепнуть можно!

Фырчат, будто испускают тяжкие вздохи, две большие газовые люстры под потолком. Струйки пламени дрожат в забранных сеткой рожках, которые еле сдерживают брызжущие искры.

По двум стенам важно высятся застекленные шкафы. Они пригнаны впритирку, упираются в самый потолок.



Легко открываются стеклянные дверцы. Все на виду, все можно разглядеть, чуть ли не потрогать.

На полках стоят рюмки, стопки, сахарницы, блюдца, витые корзиночки, чайники и молочники, подставки для ритуальных плодов; все сверкает, будто только что отполировано. Стоит сделать шаг — и все эти вещи двигаются за мной, как в зеркале.

Посреди магазина три словно выросшие из земли длинные стенки-стойки с ящиками. Они перегораживают зал. Витрины с золотыми украшениями похожи на волшебные сундуки с сокровищами. В них горят огнем кольца, серьги и браслеты с драгоценными камнями всех оттенков.

Темный пол не заметен в свете и блеске. У самых ног покупателей блистают серебряные сервизы. Так что мерцающие отблески дрожат на черных ботинках.

Третья стена остается темной даже днем. Она увешана часами и похожа на дремучий лес.

Тут настенные часы любой величины: массивные деревянные футляры с толстыми цепями и тяжелыми медными гирями и более изящные, с цепями потоньше и гирями полегче, но у всех в полом брюхе маятники на заостренных стержнях-кинжалах.

Среди больших часов теряются маленькие и совсем крохотные, у которых виден только белый лунный диск циферблата. Вся стена шумно дышит. Из каждого ящичка рвется наружу приглушенный стон, будто там, в темных недрах, ежеминутно кого-то душат.

И вдруг — я вздрагиваю — одни грузные часы оживают, сипят, как старик с одышкой. Опасливо смотрю, не рассыпался ли корпус?

Часы натужно бьют. Мое сердце отзывается на каждый удар. Уф, наконец-то секундная стрелка обгоняет минутную — можно передохнуть и жить спокойно до следующего раза, когда снова захрипит страшный старик.

Другие часы будто хлюпают носом или разражаются хриплыми дребезжащими смешками.

Ну а у самых маленьких голосок тонкий и хрупкий. Они вскрикивают, как проснувшиеся среди ночи перепуганные дети. Часы идут, вздыхают, болтают маятниками днем и ночью. Когда же они отдыхают?

Вот несколько часов с боем зазвенели одновременно. Нарочно, что ли?

Замирая, перехожу от одних к другим. И слышу какие-то, кажется, из-под земли идущие голоса. Это надрываются запрятанные в картонные коробки у самого пола будильники. Они-то, горластые сорванцы, и будят старых увальней.

Вдруг разливается нежная мелодия. Это музыкальная шкатулка. Я приоткрыла крышку, и песенка выпорхнула, как пташка из гнезда. Внутри копошится целый муравейник проволочек, пружинок и колесиков.

Я не отхожу от шкатулки — пусть видит, что ее кто-то слушает, и не перестает играть. Но колесики все равно останавливаются. Может, они споют еще? Таким теплом дохнуло из этого тесного мирка и обдало весь магазин!

Даже часы с боем затаили дыхание.

Каждый вечер перед сном кто-нибудь из братьев обходит магазин. Родители посылают его проверить, все ли в порядке, не забрались ли, Боже сохрани, воры. Мне так хочется пойти с ним! Посмотреть, спят ли все вещи?

Но вот со скрипом поворачивается ключ-великан, и я вздрагиваю. Нет, страшно входить, даже вместе с братом. А вдруг там спрятался ангел смерти со всеми злыми духами?

Однако внутри не совсем темно — зажженный ночник оставлен на всю ночь.

Стена с серебряными предметами тонет в дымке полумрака. Только иногда вдруг вспыхнет то ажурный цветок, то колечко. Или разольется ровный серебряный блеск, точно вышла луна из-за туч.



К стене с часами я подходить боюсь, они висят, навек распятые. Их вздохи — как из разверстых могил. А белые циферблаты с черными цифирьками мерцают, как угасшие глаза мертвецов. Я слышу их издали. Кажется, они меня зовут, шевелятся у меня за спиной. Скорее прочь от этой жути!

У нас в столовой тоже есть часы с боем. Они тоже подвесные, но утоплены в высоком резном шкафу. Так что не слышно его сердца, не видно растянутых конечностей! И время они отбивают бесстрастно и без лишних звуков...

СВАДЬБА

Когда наступает вечер, в доме всегда скучно. Все в магазине и придут только к ночи. Чай пили уже давно. Остывший самовар стоит бездыханный. Бурчит висячая лампа. Длинные тени протянулись по столу. В столовой целый день шумно. А теперь она похожа на темную яму, в которую я боюсь упасть.

Если же останусь, то злобная лампа схватит и утащит меня. Кричи — не кричи, кто услышит? Даже пустые стаканы не отзовутся. Мне страшно: я боюсь лампы и отражения в самоваре, боюсь смотреть в его медное брюхо. Мое лицо маячит там бледным пятном.

Хоть бы кто-нибудь вошел! Где же братья? Где их носит по темноте?

Бегают на улице. Там холод, ветер, но они приходят довольные и приносят кучу новостей.

Тогда я сажусь за стол, подпираю голову рукой и смотрю им в рот.

С братьями никогда не страшно, я завидую им: они могут ходить куда хотят. Мама не будет их ругать.

А я? Куда мне пойти? На кухню? Надоела мне эта кухня! Там за целый день все пропахло едой. И горит один тусклый огонек.

Нет, на кухню не пойду.

В магазин? Там, конечно, светлее и веселее. Но стоит сунуться туда, как сразу закричат:

— Что тебе надо? Иди в дом! Тут и без тебя дел хватает!

Я всегда мешаю. Приходится опустить занавеску и идти назад. В прихожей вдруг замечаю на стене что-то темное — свою шубу — и медлю. Может, выйти на улицу?

Скорее вниз, до крыльца всего несколько ступенек, а вверху за спиной извивается черной змеей высокая темная лестница.

Толкаю тяжелую входную дверь. Перед глазами раскидывается, как поднебесье, заснеженная дорога. Мороз щиплет ноздри. Мелкий снежок порхает легкими хлопьями.

Я упиваюсь свежим воздухом. На улице тишина — можно подумать, все голоса засыпало снегом.

Зябко дрожат язычки огня в окутанных белой пеленой фонарях. По одной стороне выстроились в ряд извозчики, похожие на снежные пригорки. Как только дышат уткнувшиеся в промокшие торбы лошади? Может, они уже неживые? Под ногами редких прохожих скрипит снег.

Я выхожу на середину улицы и бегу со всех ног. Вдалеке виден большой освещенный двор. И двухэтажный дом. За окнами длинная анфилада — парадные залы.

Здесь каждый вечер справляют свадьбу. Снаружи кажется, что весь дом состоит из одной-единственной огромной комнаты. Пара похожих на чудищ лепных колонн поддерживают балкон.

Наверняка там и сегодня свадьба. Интересно чья? Снег повалил гуще. Иногда с верхушки фонаря срывается и падает под ноги целый пласт.

Послышались шаги. Кто это идет? Оглядываюсь по сторонам. Какие-то люди выходят из решетчатых ворот.

Двое мужчин, как тушу, волокут на плечах огромный медный сифон. Они идут прямо на меня. В лицо мне ударяет струйка газированной воды. Я отскакиваю. Что делать: смеяться или плакать?

— Не трогайте меня! Я вам ничего не сделала!

— Вот смешная девчонка! Любит гулять на свадьбах и купаться в сельтерской воде! — гогочут те двое.

Туда-сюда снуют официанты, один тащит еще теплый духовитый пирог, другой — посудину, в которой плещутся соленые огурцы, третий — блюдо с печеньем.

Волокут столы: отдельно широкие доски, отдельно подставки.

— Что вы несете?

— А я знаю? Тут всего полно: булочки, фаршированная рыба — что угодно!

Посторонившись, даю им пройти. Навстречу широко распахиваются двери. По стенам расставлены стулья. В одном углу пальмы в кадках — зимний садик. Под сенью их зеленых листьев, как трон, возвышается кресло. На полу расстелен ковер. Почетное место пока пусто. Кто та новобрачная, что займет его сегодня? Их было много, и каждая млела от волнения и страха.

Любой другой стул можно взять и переставить, но этот роскошный трон со свалявшейся подушкой на сиденье ждет ее одну — подобную свету в ночи белоснежную невесту.

Едва она входит, кресло пробуждается, оживает. Лепные головки на спинке наклоняются к ней.

Если невеста вздыхает, кресло стонет. Если принимается плакать, обнимает ее своими ручками. Так что, какой бы ни была невеста: красавица или дурнушка, — здесь, в этих объятиях, прольет она слезы и облегчит душу.

Завтрашней новобрачной невдомек будут слезы сегодняшней. Она ничего не видит, идет к креслу, потупив глаза, садится. Над ней расправляют белую фату, и она замирает, как под распростертыми крыльями, готовая взлететь в иной мир.

Но где же невеста? Высокое кресло пустует. И все обходят его с какой-то опаской.

— Хоть бы скорее началось и удачно бы все прошло! А то замешкались сегодня!

— Да что вы говорите! Невеста такая прелесть! Благослови ее Боже!

— Аминь!

Перешептываются женщины, с трудом дыша в накрахмаленных платьях.

Что же она не идет?



Наверное, задержалась дома. Черные волосы уже расчесаны, заплетены в косы, уложены короной, и теперь ей надевают фату. Женские руки — белые молодые и старые с набухшими венами — витают над ее головой.

— Дайте шпильку! Есть у вас?

— Манечка, ты образованная! Ты лучше сумеешь приладить фату!

Какая она, невеста? Невеста — это, прежде всего, длинное белое платье, которое струится, точно жизнь на земле. И воздушный прозрачный шлейф. За ним, как за стеклом, она кажется далекой-далекой...

Может быть, сейчас она едет по темным улицам. Фата развевается над узкими санями и сливается с синеватым снегом. Рядом с нею старая мать. Держится за нее, будто не хочет выпускать из рук свое сокровище.

Разве она сама не была когда-то невестой, такой же белой и юной?

Катятся, катятся сани.

— Не холодно тебе, дочка? Смотри не простудись!

Я уже замерзаю. Вдруг внутри за окнами взметнулась волна, будто ветер раздул шелковое платье. Неужели я пропустила невесту?

Таращусь, как могу. Ах, это официанты расстилают белые скатерти. И они с шелестом опускаются на длинные столы, ниспадают складками до полу, закрывая темный паркет. Смеются, суетятся, бегают взад-вперед лакеи. Звенят вилки, ножи, тарелки.

— Фаршированная рыба! Дорогу! — выпевает субтильный человечек, сам юркий, как рыбка. На его блюде серебрится глянцевый хвост.

— А у меня печеночный паштет!

— Дайте местечко для телячьего холодца!

Вокруг меня толкутся слуги и гости — они уже собираются. Ступеньки беспрерывно скрипят под ногами. Женщины, проходя мимо, обдают запахом крепких духов. Я пробираюсь между ними. Бегом спускаюсь к порогу. Буду дожидаться невесту здесь. Чтобы увидеть, как она выходит из саней. Стою, затаившись в уголке.

Входят незнакомые люди и стряхивают на меня снег со своих шуб. Белые бороды снова чернеют.

У меня под ногами лужица растаявшего снега. Вот к подъезду с балконом приближаются сани.

— Невеста едет?

Из саней выскакивают две девочки с замерзшими красными носами. Скидывают теплые платки. Под ними голые руки и плечи. Блестят и переливаются розово-голубые платья.

Скорее всего, это сестры невесты.

— Роза, посмотри, как красиво! Сколько света! Я прямо ослепла!

— Ривка! Скорее сюда! А что там, наверху?

— Идите, девочки, идите в зал! Здесь, не дай Бог, еще простудитесь! — подталкивают их женщины постарше.

Вот кому действительно мало места. Тяжелые лисьи накидки широкими обручами обхватывают их открытые плечи. При движении мех ходит ходуном, жаркие хвостики задевают соседей.

На меня никто не обращает внимания. Я стою закутанная и глазею, как зевака.

Раздеться и остаться в обычном платье мне неловко. Жаль, что я не переоделась! Снизу мне видны ноги в белых чулках.

Хорошо этим пигалицам! Прыгают там — вон мелькают белые ляжки! От зависти у меня на глазах закипают слезы.

Ну почему я не родственница! Мое шелковое розовое платье вполне подошло бы. Саша заплела бы мне длинные косы и завязала цветастые банты. Я бы надела лакированные туфельки: встанешь на цыпочки — всколыхнется подол.

А когда мы появляемся где-нибудь вместе с братом Абрашкой, нас всегда просят станцевать.

— Будьте любезны, потеснитесь чуть-чуть! Пусть дети станцуют! Так приятно на них посмотреть!

Дамы расступаются и образуют вокруг зала круг из широких юбок.

Абрашка сжимает мою руку. Играют скрипки, наяривает пианино, брызжут светом люстры. Лиц вокруг я совсем не различаю. Только колышутся в ритм музыки — тоже участвуют в танце — женские бюсты.

Звучит мазурка. Абрашка притопывает ногой и кружит меня. Кажется, мы оторвались от пола и танцуем где-то за стенами зала. Но мазурка обрывается так же резко, как началась, и мы замираем на месте.

Нас наперебой обнимают.

— Сколько тебе лет, малышка? Да это Алтина младшенькая!

Нас гладят по плечам.

— Какие прелестные дети, не сглазить бы! Мальчик так славно танцует!..

Музыка наверху замолкла, будто навсегда. Меня пробирает холод. В лицо дует ледяной ветер. Я так и стою перед распахнутой дверью... Вот снежная гора вваливается в дом. Из нее выкарабкивается высокий мужчина.

— О, Башенька, что ты тут делаешь? Невеста еще не приехала? Пойдем наверх. Что ты тут стоишь на холоде? Да ты меня не узнаешь, а? Погоди, скоро я и тебя поведу под балдахин! — Он раскатисто смеется.

Вокруг него сразу закипает суета. Я смотрю, как ходит вверх-вниз его кадык. Конечно же я его узнала. Это распорядитель. Я-то стою и жду невесту просто так, а его наняли специально.

Его длинный нос привычно вдыхает свадебную атмосферу. Качается голова с ушами-опахалами. Вытянута в скрипичную струну шея.

И почему это все принимаются плакать, когда он радостно восклицает:

— Благословим новобрачную!

Голос его берет за душу. Он знает каждого в каждой семье. Всех тетушек, всех кузин до единой. Знает, есть ли у невесты отец и мать, что они за люди и чем зани-

маются. Каждого, словно дергая за веревочки, он вытягивает на середину зала. Выкликает по порядку всех, кто должен произнести благословение. Протяжно и гулко звучит под потолком имя, пока вызванная тетушка грузно шествует через весь зал. Дойдя лишь до середины, она вдруг покачивается, будто не может донести обильные благословения.

Когда распорядитель напрягает голос, сердца собравшихся сжимаются. Голос взвивается и вибрирует — всех охватывает страх. Тетушка приближается к невесте, как к жертве.

У родственников, стоящих вокруг невесты с зажженными свечами, начинают дрожать руки. Сама она сидит испуганной белой птицей. Тетя подходит ближе, воздевает руки, как над субботними свечами.

Невеста еще ниже опускает голову. Ослепнув от слез, ищет носовой платок. Душу ее распирают чувства, и она изливает их горькими слезами.

Тетушка сжалилась и не прикасается к ней. Благословляет ее, как звезду на небе. А распорядитель следит за ней и не мешкая выкликает другие имена. Со всех сторон сморкаются.

Невесту ободряют, обмахивают веерами. Поправляют на голове фату. Сдувают с висков вспотевшие и прилипшие к коже волоски.

Распорядитель увлекает меня наверх. Я жмусь к стенке. Но что это? Бегу к дверям. По лестнице поднимается белое облако, пробегает легкий ветерок. Взлетает в воздух смычок, и звучит нежная мелодия. Запыхавшись, вступают тарелки и барабан.

Идет, это она идет, воздушно-белоснежная невеста. С каждым шагом у нее заходится сердце. Музыканты играют без устали. Обступают ее наверху, внизу и с обеих сторон. Поцелуями устилают ее путь. На последней ступеньке она застывает. Идти дальше или нет?

Родня и гости отступают к стенам. Теперь невеста легко дойдет до трона, будь она даже слепая. Она не от-

рывает глаз от своих белых туфелек, скользящих лодочками по паркету.

Меня затерли чьи-то спины. Все толкаются, будто хотят подтолкнуть невесту к суженому.

С другого конца зала тянется цепочка одетых в черное мужчин. Впереди всех идет, пошатываясь, юноша. Дрожит даже его цилиндр. Он направляется к белейшей невесте. Похоже, он боится ее, а она — его.

У нас в руках ленты из цветной бумаги. Распорядитель начинает петь. Мужчины с женихом все ближе. Красный ковер весь-весь покрыли черные ботинки. Невеста ожидает стоя. А мы ее поддерживаем.

Жених тихонько поднимает белую вуаль. Он, кажется, не прочь схватить супругу и сбежать куда подальше.

Мы обсыпаем новобрачных конфетти.

Посреди зала раскинулся красный небосвод. Его поддерживают на древках. Невеста, облачко в фате, остается одна.

Почти без чувств ее ведут под балдахин...

ПОДАРКИ НА ПУРИМ

Белый снег, бледное солнце — раннее утро. Наступил Пурим, праздник Эсфири. Легкий мороз нарисовал на стеклах узоры: богатырей на белых конях.

Занимается ветерок. Сегодня праздник!

Мы с Абрашкой спешим ему навстречу. Нам уже дали положенные детям деньги. Звонкие монетки зажаты в кулаке.

Скорее на базар. Сегодня там людно, как в ярмарочные дни.

Старые колченогие столы покрыты скатертями в дырочку — похоже на крупитчатый снег. Вокруг толпятся, как в праздник Торы, женщины и дети. На столах — сияющее заколдованное царство. Тут расставлено великое множество сахарных фигурок. Лошадки, барашки, птицы, младенчики в колыбельках поблескивают красными и желтыми искорками, будто показывают, что в их застывших тельцах теплится жизнь.

В золотых скрипочках уснула недоигранная музыка. Гарцуют, привстав в седле, Мардохеи и Артаксерксы.

Зимнее солнышко порой достает и перебирает холодным лучом глянцевые складки этих сонных подарочных фигурок. Мы с Абрашкой снова и снова обходим все столы, будто хотим отогреть своим дыханием, расколдовать заледеневшие фигурки. Забрать бы их все!

— Дети, сколько можно! Выбирайте подарки и ступайте домой! — пробуждает нас голос окоченевшей торговки.

Как будто так легко выбрать! Мы вглядываемся в игрушки, — может, они сами скажут, какие из них хотят к нам?

Какие выбрать? Какие оставить? Взять лошадку побольше или поменьше? А то еще моя подружка Златка подумает, что я перед ней хвастаюсь — вот какая у меня большая!

— Ты что, Башка? — толкает меня брат. — Эту лошадь тронь — сломается!

Ставлю на место лошадку, ой, как бы она меня не укусила!

У меня стучат зубы, то ли от холода, то ли от того, что какой-то бесенок шепчет мне, что эти лошадки и скрипочки куда вкуснее всех, какие ни на есть, сладостей и что было бы здорово взять да съесть их живьем.

К нам подошел долговязый мальчик и предлагает:

— Хотите, я разнесу ваши подарки?

У него грустные круглые глаза, как у побитой собаки.

— Хорошо, пошли, пошли с нами!

И мальчик побежал впереди нас.

— Как тебя зовут?

— Пиня.

Странное имечко, какое-то птичье.

— Ты свистать умеешь?

Дома мы раскладываем наши шалахмонес* по двум тарелкам. Одна Абрашкина, другая моя.

В тепле сахарные фигурки оживают. Залоснились маленькие щечки. Я дую на них — вдруг растают! Вдруг рассыплются крошками! Мы без конца меняемся тарелками, переставляем, перебираем фигурки. Я все не могу выпустить из рук чудесную крохотную скрипочку.

Она так и ластится, так и жмется к моим пальцам, словно хочет, чтобы они сыграли на ней.

«Если я отошлю в подарок скрипочку, то уж конечно больше ее не увижу!» — думаю я, и сердце у меня сжимается.

---

* Подарки, которые принято посылать друзьям и близким в праздник Пурим.

Но Пиня уже слишком долго стоит, переминаясь с ноги на ногу, и ждет. Мы последний раз со вздохом смотрим на тарелки и завязываем их в особые платки.

— Вот видишь, Пиня? Это наши шалахмонес. Только, главное, не беги бегом! Лучше иди медленно, шагом! А то еще, не дай Боже, растянешься с тарелками в руках. Да не глазей по сторонам! Смотри, чтоб тебя не толкнули! Ну, что же ты стоишь, как сонная тетеря? — тормошим мы беднягу. — Стой, куда полетел! Не спеши! Держи крепче узлы!

Ох! Добром это не кончится. У Пини не ноги, а ходули. Уронит он наши подарки. И уж непременно по дороге что-нибудь отломится: ухо у лошадки или гриф у скрипочки!

Что подумают наши друзья? Что мы прислали им поломанные подарки?

— Эй, Пиня, где ты?

Пини уже нет.

Ну вот, думаю я, Пиня сейчас завернул в переулочек, где живет моя подружка Златка. Откидывается черная щеколда, и на пороге уже стоит Златка, будто поджидала у дверей.

— Обе мне? — спросит она, протягивая руки.

— Нет. Ваша вот эта! — Пиня наверняка перепутает тарелки. Златка схватит свою и понесет ее к себе в комнату, а Пиня останется стоять.

В кухне суетится Златкина мама. Поднимает ухватом огромный горшок и ставит его в печь. У Пини текут слюнки.

Жаркое с картошкой так вкусно пахнет, вот бы попробовать!

— Златка, что ты там возишься? Или уснула? Ох, эти дети! Чуть что — себя не помнят, телячий восторг! А ты, дуралей, что стоишь? — Златкина мать поворачивается и кричит теперь на Пиню. — Мог бы и сесть за те же деньги!

Златка — толстушка с короткими ногами и тяжелой косой до пояса. Шевелится она так медленно, что сил



нет смотреть. Хоть бы глазищами моргнула — и то не дождешься.

Мессия успеет прийти, пока она рассмотрит подарки.

Длинная коса болтается за спиной, подгоняет мысли.

А вдруг Златка вздумает оставить у себя тарелку?

Да что я! Как не стыдно! Златка, конечно, давно уж выдвинула ящик, где спрятаны ее собственные подарки, и сравнивает их с моими.

Чует мое сердце, сейчас она берет в руки мою драгоценную скрипочку!

Что же она положит взамен?

И куда запропастился этот мальчишка? Чего не идет?

— Как ты думаешь, Абрашка, Пиня уже дошел до твоего товарища?

Брат вечно дразнится. Думает, раз он старший, да еще и мальчик, ему можно смеяться и издеваться надо мной.

Ну и пусть себе смеется, пожалуйста! Я-то знаю: он тоже ждет не дождется Пиню и до смерти хочет взглянуть на свою тарелку. Какой подарок ему прислали?

Перед кем притворяется! А то я не вижу, что он сам то и дело глядит в окно!

— Что ты, Башка, Пиня вернется не раньше чем через час. Ты же знаешь, мой друг Мотька живет на другом берегу. Пока еще этот лунатик Пиня перейдет через мост! За это время можно выспаться. Да и как же не остановиться, не посмотреть на лед — вдруг он треснул?

Абрашка прав. Я огорченно всхлипываю:

— От этого Пини жди чего угодно. С него станется всю реку обойти! Глядишь, и к ужину не вернется!

— Балда! Я пошутил! А ты и поверила!

Абрашка вдруг толкает меня в бок и, как бешеный кот, скатывается вниз по лестнице на кухню. Пиня стучится в дверь.

— Что вы тут грохочете, шалопуты! — обрушивается на нас толстая кухарка. — Делать им нечего! Болтаются целый день, мешают работать! А ну, марш отсюда!

Мы уводим Пиню в комнаты и заглядываем сначала ему в глаза, потом — в тарелки. Уж он-то видел, какие фигурки взяли, а какие положили.

Так я и знала, моей скрипочки нет. Угадываю это по грустным Пининым глазам, прежде чем развязать платок с тарелкой.

Действительно, нет. И другой вместо нее тоже нет. А эта кукла мне совсем не нужна. У меня их и так уже две штуки — Абрашка отдал свою. С досады я кусаю губы.

Абрашка опять давай смеяться! И бестолочь Пиня с ним заодно! Видеть их больше не могу. Братцу-то хорошо, есть с чего веселиться! Мотька положил ему большую лошадку. И Абрашка радостно ржет.

Я же в слезах убегаю на кухню.

— Ну, что нос повесила? — встречает меня кухарка, занятая шинковкой лука. — Плохой подарок получила?

С каждым взмахом ножа Шая прищелкивает языком, в меня летят мелкие ошметки.

— Подумаешь, горе! Дай тебе Бог до ста двадцати лет дожить и не знать худшего! Дурочка, до свадьбы все забудешь!

От обидных слов или от лука, но слезы у меня текут уж совсем в три ручья.

— На-ка тебе! — Кухарка сует мне шипящую, с пылу с жару треугольную булочку с маком, гоменташ — «ухо Амана».

Руки у меня делаются горячие и влажные, будто их облизали.

— Ну вот, Башутка, и нечего плакать! — Шая утешает меня улыбкой. — Знаешь что? Погоди немножко, вот управлюсь с работой и сбегаю поменяю тебе куклу на скрипочку.

Милая моя Шая!

Я зарываюсь в складки ее широченной юбки и вытираю об нее слезы.

— Иди, иди, Башутка! Не мешай! Не крутись под ногами, пичужка!

В темном углу позади магазина натыкаюсь на что-то твердое.

Корзинка! Наверное, это мама приготовила подарки на Пурим для родни. Корзинка ломится от лакомств! Неужели маме не жалко все это отдавать?

Бутылки красного и белого вина, пузатые флакончики с ликерами, ящички с сигарами, сложенные штабелем, как бурые полешки, коробки шпрот и сардин. А в середине торчит сложенная новенькая скатерть, красная в цветочек.

Мама, как всегда, занята в магазине и, наверное, думать забыла про подарки.

Как же так? Ведь корзину скоро унесут! Может, она не думает даже и о том, что пришлют ей самой? А уж как тетя Рахиль обрадуется!

— Благословен Господь! Какая роскошь! И это все мне! О, Алта, ты меня балуешь! — Тетя вдыхает вкусные запахи и закрывает глаза от наслаждения. — А это что? — Она вдруг очнулась и ощупывает, разворачивает бережно, как святыню, поглаживает скатерть. — Вот спасибо тебе, Алтенька! Дай тебе Бог здоровья и счастья на многие годы! И как это ты угадала? Мне как раз нужна новая скатерть на Пасху — накрыть стол гостям!

Тете вдруг кажется, что на новую скатерть села пылинка. Она сдувает ее и аккуратно складывает обновку — как бы не запачкать до Пасхи.

По всем улицам, из дома в дом, курсируют подарки! Проворные старенькие разносчицы еле тащат тяжеленные корзины. Сколько их! И что там в каждой?

— Исаак дома? — спрашивает чей-то чужой голос.

На пороге кухни стоит маленькая старая женщина в большом платке. В руках она держит, как младенца, желтоватую сахарную лошадку.

— С праздником, Башенька! — улыбается она мне. — А где Исаак? Я принесла ему подарочек!

Она трясет лошадкой, показывает мне, какой большой и красивый этот ее подарок.

Лошадка и правда большая, пожалуй, покрупнее, чем она сама.

Странное существо! Как будто из сумасшедшего дома сбежала! Кто бы мог поверить, что эта старушонка выкормила моего брата Исаака, такого большого и статного?

Исаак давным-давно живет за границей, учится на врача, но старая сухонькая кормилица каждый год приносит ему подарок на Пурим. Приходит и спрашивает, где ее малыш.

Мама дает ей серебряную монету и втолковывает вполголоса, будто боится испугать, что Исаака нет дома и что она может забрать свою лошадку, которая, с Божьей помощью, еще пригодится ей на следующий год.

И действительно, лошадка год от года делается все старее и все желтее.

Однажды старушка все-таки застала Исаака. Но, увидев, что в кухню вошел взрослый молодой человек, она так перепугалась, что бросилась бежать, будто за ней кто-то гонится. И даже забыла отдать ему подарок.

Никто ее не удерживал. С тех пор она больше ни разу не приходила.

Мама раздает шалахмонес прислуге и служащим магазина. В руках у нее блестит то пара серег, то колечко.

Это для девушек. Каждый год на Пурим они получают золотые украшения, радуются и откладывают их на приданое, хотя замужества не предвидится.

Обычно спокойный и молчаливый счетовод вдруг делается разговорчивым. Кончики его усов подрагивают. Пальцы гладят новенькие серебряные часы.

Приказчик Шуня завороженно разворачивает белый шелковый шарф. Это для его молодой жены.

А Роза, молоденькая мамина помощница, шумно, на весь магазин, восторгается, вертится перед зеркалом, хвалится перед всеми своим красивым медальоном.

Кассирша получила в подарок деньги. Хоть через ее руки каждый день проходит их немало, самой еле хватает на жизнь.

Часовщику поднесли несколько бутылок вина. Часов у него в ящике и так предостаточно.

Все сияют, как на свадьбе.

— Закрывайте магазин! — перекрывает веселую суету папин голос. — Пора садиться за праздничный ужин!

КНИГА ЭСФИРИ*

Внезапно, после крепких морозов, зима теряет силу. Снег тает. Лед мутнеет. Ветры приносят издалека будоражащие запахи и прогоняют холод.

Вместе с весенним ветром несется вприпрыжку Пурим, праздник Эсфири, и стучит к нам в дверь.

В один прекрасный вечер на пороге кухни появляется худой изможденный еврей, этакий уставший в пути гонец. Кудлатые волосы, черная всклокоченная борода. Никакому ветру не продраться сквозь эти заросли.

Пейсы косичками свисают из-под шапки и сливаются с бородой. Густые щетинистые брови нависают над глубоко посаженными глазками.

Запыхавшийся гость остановился у входа.

Борода его ходит ходуном. Длинный крючковатый нос как вентилятор дует на усы и бороду.

— О! Реб Лейб! — всплескивает руками кухарка. — А у меня, вот беда, гоменташи еще не допеклись!

Она вытирает руки о засаленный фартук и сдергивает его, лицо ее принимает торжественное выражение.

Не какой-нибудь нищий побирушка явился к нам сегодня, а сам реб Лейб, чтец «Мегилла Эстер», Книги Эсфири.

Он приходит и читает нам ее каждый Пурим. Нам с мамой и кухаркой. Потому что магазин не закрывается и мама не может пойти слушать «Мегилла» в синагогу.

---

*В ветхозаветной Книге Есфирь (в светской традиции — Эсфири) рассказывается о том, как Аман, визирь царя Артаксеркса, замыслил уничтожить евреев Персии, а царица — еврейка Эсфирь и ее дядя Мардохей спасли их.



— Что же вы стоите в дверях, реб Лейб!

Шая счастлива, что ей выпало хоть пару слов сказать с таким ученым мужем и показать ему свою собственную благочестивость.

— Заходите! Хозяйка вас ждет. Благодарение Богу, вот и Пурим наступил! Да ниспошлет нам Всевышний каждый год по великому чуду! Да избавит Он нас от всех бед! — В голосе ее вдруг слышится рыдание.

Гость смущенно моргает.

Может, он опоздал? А Шая себя не помнит. В эту минуту ей кажется, что реб Лейб пришел к ней одной, прочитать ей длинный увлекательный рассказ.

— Присядьте, реб Лейб! — Она подставляет ему табуретку. — Целый день человек на ногах — легко ли!

У самой Шаи вечно отекают ноги, она только и мечтает, как бы посидеть.

Но гость не шевелится, будто она не к нему обращается. Даже и не смотрит на нее. Стоит, прикрыв глаза, и мерно жует кончик бороды. Тощие ноги полусогнуты и держат его, как костыли.

Целый год реб Лейб никому не попадается на глаза. Но накануне Пурима у него такой усталый вид, будто он с прошлого праздника до нынешнего не переставая странствовал по свету. То ли рассказывал всем о чуде праздника Эсфири, то ли искал новые чудеса, чтобы прибавить их к рассказу «Мегилла».

Он берет понюшку табака, покашливает, извлекает из кармана большой красный платок, вытирает рот и, аккуратно сложив, кладет обратно.

Заметив меня, подмигивает и говорит:

— Силы небесные! Как ты подросла, Башенька! У тебя есть трещотка? В этом году у тебя хватит сил одной заглушить имя Амана, да?

При каждом слове у него вздергиваются усы и видны желтоватые зубы, похожие на клавиши старого пианино.

Я бегу в магазин:

— Мама! Мама! Иди скорей! Реб Лейб пришел читать «Мегилла Эстер»!

— Правда? Значит, уже так поздно? — Мама тут же отрывается от кипучей торговли. — Ребятки! Приглядывайте за товаром. Я скоро вернусь. Анна, смотри не упусти ни одного покупателя, — наспех наказывает она служащим и выходит из зала.

Я за ней.

— Мама, не знаешь, где трещотка? Реб Лейб спрашивает. Я должна заглушать Амана!

— Не морочь голову! Каждый раз одно и то же! Раз нет трещотки, можешь просто топать ногами.

Завидев маму, гость изгибается ей навстречу:

— Здравствуйте! Здравствуйте, Алта!

— Здравствуйте, реб Лейб! Здравствуйте, проходите! Мы, наверное, задержались. В синагоге уже читали «Мегилла»?

Вместо ответа реб Лейб усмехнулся в бороду и боком, чтобы не задеть нас, первым проскользнул в дверь.

А потом размашисто, как на улице, зашагал по дому.

— Башенька, вот твоя трещотка! — выдыхает мне на ухо Шая и сует в руку деревянную вертушку.

— Да это прошлогодняя! Она не годится! Не крутится!

— Тсс! Врагам бы моим так досталось, как ты всыпешь Аману этой штукой! Вот и реб Лейб то же самое тебе скажет.

Чтец остановился перед книжным шкафом. Распахнул обе дверцы, залез на полку длинной рукой и, не глядя, нащупывает в дальнем углу лежащий там с прошлого года свиток «Мегилла Эстер». Благолепный покой хранилища нарушен. Несколько книг падают набок, поднимая возмущенное облачко пыли.

Реб Лейб вытаскивает свиток и держит его, как сокровище, обеими руками. Белый атласный чехол с вышитыми золотом буквами отбрасывает светлый блик ему на лицо. Даже борода становится прозрачной.

В радостном возбуждении он подходит к столу. Мы для него перестали существовать.

Чтец снимает шапку. Под ней черная бархатная ермолка, добавляющая торжественности. Талес белыми крыльями спадает с плеч.

Реб Лейб ударяет по столу рукой: тихо! Ему, должно быть, представляется, что он стоит за кафедрой в переполненной синагоге.

Тихо! Он снова хлопает ладонью, хотя мы все трое стоим молча.

Он собирается с силами. Наклоняется над священным свитком, целует его, снимает чехол. Подобно Самсону, потрясающему столпы, берется за рукоятки и разворачивает. Обнажается пожелтевший пергамент, пахнуло старой кожей.

На столе вырос холмик, испещренный черными строчками-ступеньками.

Реб Лейб задирает голову, вытянув птичью шею.

— Хм! Хм! Кха! Кха! — прочищает он горло.

Висячая лампа освещает его лицо. Он смотрит на огонь и словно впитывает его, зажигается сам.

Наконец реб Лейб качнулся из стороны в сторону и мелодичным голосом возглашает первые благословения.

Мы вторим ему в три голоса.

Произнеся первые слова, чтец больше не останавливается. Налегая на стол, точно на плуг, придерживая свиток, он раскачивается как заведенный.

Твердый пергамент потрескивает под его руками. Слова сливаются в плавный гул.

Мне кажется, что буквы ползут как муравьи, строчки закручиваются волчком.

Вот царь Артаксеркс выходит из своего дворца. За ним теснятся конники. Они гарцуют на параграфах, скачут по булыжной мостовой из букв.

Чтец набирает скорость, заглатывает фразы, будто за ним гонится Артаксеркс со своим войском. Галопом по словам...

Он комкает страницы, хватается за отдельные строки и голосом ввинчивает их все выше и выше. Каждая строчка нанизывается на нить мелодии, которая то взвивается вверх, то, дрогнув, модуляциями спускается вниз. Еще несколько строф проглочено, и снова повторяется тот же напев. Рассказ утопает в мерцающем облаке.

Лишь иногда реб Лейб напрягает голос, будто толкает самого Артаксеркса.

Мы слушаем, затаив дыхание. Я стараюсь не пропустить выход царя и то место, когда Мардохея сажают на белого коня.

Мама следит за чтением по тексту на идише и, словно проверяя реб Лейба, одобрительно кивает. Кухарка Шая у самой двери вздыхает и потрясает в воздухе пальцем.

«Правильно! Так! Правильно!» — беззвучно приговаривают ее губы.

Я смотрю чтецу в рот. Никак не могу уследить за ним. Уловить, какое место он читает. Ага! Он глядит на эту страницу, а вот уже она сворачивается, и его глаза перебегают на верх следующего абзаца.

Главное, не пропустить, когда появится Аман! Я должна заглушить это имя.

Сжимаю вспотевшей рукой трещотку — вдруг она не будет крутиться!

Я подхожу поближе к свитку. Трогаю серебряные цилиндры, две колонны по обе стороны пергаментной ленты.

Вот такие же, думаю я, наверное, возвышались при входе в царский дворец. Их блеск озарит путь Эсфири. Вот скоро она появится, златовласая, в длинном платье. И в самом деле, строки становятся реже, на странице светлеет. Это сияет ее лицо...

Вдруг реб Лейб толкает меня.

Хочет прогнать с дороги царицы! Сердито поворачиваюсь к нему.



Но его шея вытянулась чуть не до потолка, а голос загремел как гром небесный:

— Аман! Аман! Аман, сын Амадафа!

Мама с Шаей затопали ногами.

И надо же было именно в этот момент размечтаться об Эсфири! Я еле успела взмахнуть трещоткой!

И с досады бросила ее на пол.

Реб Лейб снова погружается в чтение. Теперь уж я не спускаю с него глаз.

— Аман! Аман! — Реб Лейб подает мне знак, будто указывает вздернутым подбородком: вот он, вот он, Аман! — выскочил из свитка! — и я должна его прибить, прикончить на месте.

Я стучу трещоткой по столу, топаю ногами и кричу. А если Аман уйдет от меня, пусть его поймают мама или Шая.

— Аман! Аман! — Теперь чтец то и дело выкрикивает ненавистное имя; не один, а тысяча Аманов расползаются из свитка.

Мы страшно вопим.

Чтец разворачивает скрипучий пергамент. Со стоном сменяются страницы. А вдруг мы не сможем уничтожить этого Амана? Вдруг он пронзит нас мечом?

Где ты, Эсфирь? Иди же скорее! Соверши свое чудо!

И правда, реб Лейб перестает кричать и раскачиваться, будто на новой странице пред ним предстала Эсфирь во всем своем блеске. Голос его зазвучал спокойнее, украсился затейливыми переливами, стал гибче, словно тихо приник к чистым одеждам Эсфири.

— Слава Богу, мама! Пришла Эсфирь!

Мама облегченно вздыхает. Шая возводит глаза к небу. Верно, хвалит Господа за милость в страшный час.

И под ликующий распев Эсфирь сходит по ступеням просторных строк. Длинный шлейф ее стелется по пробелам, похожим на столбики-свечи, зажженные на священном свитке.

— Аминь! Аминь! — поем мы вместе с чтецом.

Пропев последний стих, реб Лейб онемел. Руки его замерли на свитке. Я тоже не трогаюсь с места, жду, не сорвется ли хоть слово с плотно сжатых губ, из глубины вдруг густо почерневшей бороды.

Нет — тишина такая, будто кто-то умер.

Реб Лейб целует свиток, берется за него с двух сторон и с силой закручивает рукоятки.

«Мегилла» сжимается, как согбенная старушка, и реб Лейб уносит ее в шкаф.

Мы следим за ним глазами. Теперь еще целый год нам не видать свитка. А реб Лейб, закрыв дверцу шкафа, как-то удивленно смотрит на нас.

Разве он читал только нам троим?

Разве не целому свету?..

ПУРИМШПИЛЬ*

На Пурим весь день до самой вечерней трапезы люди собирают и шлют друг другу подарки.

Бедная старая разносчица в полном изнеможении.

— Руки-ноги отваливаются! — жалуется она, с тяжелым вздохом ставя на стол очередную корзину.

— Ничего, Двоша! Зато потом целый год отдыхать будешь! — говорит кухарка. — А пока поторопись. Вон еще одна корзина осталась, а скоро вечерняя трапеза!

У Шаи поблажки не дождешься!

В столовой уже зажгли люстру. Вовсю кипит самовар.

Быстрым шагом входит мама — магазин наконец закрылся.

— Где Двоша? Ты всем разнесла подарки? И тете Зипе? И моей старшей золовке тоже? Помнишь, как в прошлом году получилось? Подумай, ты никого не забыла?

Старая Двоша разносит наши шалахмонес каждый год и знает всю мамину родню наизусть.

— Все в порядке, Алта! Все с Божьей помощью разнесла. Все остались довольны и прислали вам в ответ много подарков, а еще больше добрых пожеланий.

— Ну хорошо, Двоша, хорошо... Вот, возьми! Это тебе на Пурим. Поздравляю! — Мама кладет ей в руку несколько серебряных монеток.

— Спасибо, Алтенька! И тебя поздравляю! Хорошего тебе и веселого праздника! Чтоб нам всем дожить до

---

* Пуримшпиль — выступление ряженых, изображающих персонажей Книги Есфирь.

следующего Пурима в добром здравии и благополучии! Дай-то Бог...

Папа восседает за столом в шелковом сюртуке. Волнистая борода его тщательно, волосок к волоску, причесана. Люстра заливает его лицо сияющим потоком, брызги света скачут по скатерти.

Разгораются мамины большие свечи.

Все готово к пиршеству.

Поздравить папу с праздником заходят шамес, кантор и сосед по двору. Он приглашает всех за стол:

— Садитесь, реб Эфраим! Садитесь, реб Давид! Стаканчик чая перед ужином?

Чай распивают, как вино. С каждым стаканом застолье делается все веселее... Каждый стакан разливается по жилам теплом и радостью.

У папы под рукой лежат наготове серебряные и медные монетки. Каждого входящего в дом нищего он наделяет пригоршней мелочи.

— С праздником, реб Шмуль-Ноах! С праздником, сударыня!

Весь город, включая всех до единого нищих, проходит через наш дом. Дверь не закрывается. Можно подумать, мы сидим на улице и мимо нас идут и идут люди.

Рядом с папой теперь уселся крупный чернобородый человек. Артаксеркс пожаловал, думаю я, вот сейчас все встанут, и сам папа уступит ему почетное место.

Но бородач уходит, опустив голову, совсем не по-царски.

Горка монет все тает. Кто еще должен прийти? Кого папа ждет?

Вдруг на столе задребезжали стаканы. С кухни слышится такой тарарам, будто там дерутся и швыряют на пол фарфор и серебро. Топот, хохот, свист.

Папа переглядывается с гостями.

И тут с треском распахивается дверь.

— Актеры пришли! — шепчет кантор.

Высокие и низенькие, толстые и тощие. Они не только валят через порог, но просачиваются сквозь стены и щели, раздвигают окна и двери.

Лица, лица, сколько лиц! Тот щекастый, тот носатый, у этого голова грушей...

А ноги-то где? Не видно... Ноги не стоят на месте. Они мельтешат, топочут, ставят подножки, спотыкаются — все сразу. И все под раскатистый смех.

— Тихо! — Из кучи-малы выступает актер с накладным красным носом, который он придерживает рукой, пытаясь покрепче приладить к лицу.

Верно, его собственный нос еще ужаснее, раз он его прячет?

— С праздником, друзья! С праздником, дорогие хозяева! Вот и наступил веселый Пурим! Вот и я, Красный Нос!

— С праздником! — нараспев подхватывает труппа.

Красный Нос захлебывается:

— Эй, братья музыканты! Почему вы перестали играть? Давайте веселиться! Давайте плясать!

И он первым начинает петь, прыгать и бить в ладоши.

За ним вся компания пускается выписывать кренделя по комнате. Все скачут как сумасшедшие, шатаются, натыкаются друг на друга.

— Эй, барабан! Мендель, где ты там?

Вперед выкатывается здоровяк Мендель. Ног у него будто нет — из-под барабана выглядывают только два приплясывающих ботинка, вроде как совсем не его. Вот сбоку взлетает рука и лупит по барабанному пузу, а сзади, за ушами, наяривают медные тарелки, будто взбадривают его оплеухами.

— Тихо! — снова вопит Красный Нос. — Идет царь Артаксеркс!

Он делает шаг вперед, отклеивает свой нос и водружает на голову золотую корону.

Царь — это он!



— Неужели и Эсфирь тоже будет он, с этакими-то сапожищами? — шепчут зрители.

Другой актер, опираясь на белый посох, ковыляет на середину.

— Это он, Мардохей! — кричит заводила.

И наконец, мелкими шажками семенит третий ряженый, в треугольной жестяной маске и шляпе с бубенчиками.

Бубенчики пришиты не только на шляпе, но и на башмаках, и на всем костюме. Этого папа уже не выдерживает. Он затыкает уши, хохочет до слез.

— Хватит! Хватит! Вам же еще весь город обходить!

Красный Нос — Артаксеркс подскакивает к столу и сгребает всю кучу денег. Тут закипает свара уже не на шутку. Но дерущихся разнимает папин голос:

— Алта, подай чего-нибудь выпить!

Всем наливают по рюмке ликера. Братия лихо, одним глотком, осушает рюмочки, едва не проглотив заодно и их... Это подливает масла в огонь. Глаза блестят, барабан гремит, флейта свистит, тарелки звенят, ноги топочут, бубенчики заливаются... Зовут, заманивают нас. У меня кружится голова, сейчас я побегу на зов... И вдруг... что это?

Бубенчики звучат все тише, все глуше и дальше, или это я удаляюсь от них?..

Я оборачиваюсь. Ряженых нет. Все разом они выпорхнули за дверь. Только эхо летит вдогонку и угасает.

Где же они?

Исчезли, словно их и не бывало. В дом вернулись, более ощутимые, чем прежде, покой и тишина.

Только люстра празднично сияет огнями.

На стол ставят закуски и напитки. Приходят новые гости. Я все смотрю на дверь. Не вернутся ли ряженые?

Папа с улыбкой приглашает:

— Пора за трапезу.

Все встают. Иду со всеми вместе и я, а в ушах все звенят бубенчики.

ОБЕДЕННЫЙ ЧАС

— Саша! Шая! Уснули, что ли, там на кухне? — кричит Израиль из столовой. — Или не слышите, что я зову?

Мой брат Израиль вечно ворчит. Такой у него характер. Он обижается и скандалит по пустякам. Например, если кому-то дали кусок получше, чем ему.

Вот и сейчас: сел за стол, ковырнул вилкой в тарелке и сердито отпихнул ее.

— Что за мясо мне дали? Есть нечего, одни кости!

Из кухни на мощных ногах Шаи приносится буря. Шая набрасывается на брата с криком:

— В гроб вы меня вгоните! Что вам всем от меня надо? Пиявки!

Шая вся дрожит, лицо ее пылает. Хозяйских детей она не боится и потому может дать волю гневу:

— Думаешь, ты тут один-единственный? Нет, посмотрите-ка на него! Я, что ли, виновата, что ты являешься позже всех? Шая! Всегда Шая! Телячью отбивную — Шая. Пирог — Шая! Цимес — Шая! Одному подай яичницу, другому — мясо, третьему — молочное!.. — Шая гримасничает, передразнивая каждого. — И попробуй не дать! Эти шалопаи так из рук все и рвут! Еле успеешь хозяевам хоть что-нибудь отложить!..

Шаю трясет, грудь ее шумно вздымается и опускается. И вдруг она осекается, кусая пухлые губы.

— Может, по-вашему, это я все мясо съела? Господь свидетель! Что я могу съесть с моим больным желудком? — Она утирает слезу. — Вся семья у меня на шее! Работаю как лошадь! И хоть бы кто-нибудь пожалел!

— Ладно, ладно! Слышали мы эту песню! — Израиля ее слезы не трогают. — Лучше ступай на кухню да

принеси мне другой кусок мяса! — И он сует ей в руки тарелку. — И не забудь кашу положить горячую, эта совсем остыла!

В будни у нас едят кто когда. Сидишь за столом в одиночестве и не знаешь, что бы такого придумать. Братья целыми днями шатаются без дела. Но тут им хочется поиграть в хозяев, таких же занятых людей, как папа с мамой, у которых каждая минута на счету.

Маме вообще некогда спокойно поесть.

Должен выдаться особый, благословенный денек, без забот и хлопот, чтобы она позволила себе пообедать вовремя. Обычно же она вырывается поздно, замученная, хмурая. Лучше к ней не подходить.

Проходит через контору, не глядя на бухгалтера, — ей неудобно усаживаться за стол посреди рабочего дня.

— Саша, есть у нас что-нибудь поесть? Неси скорей на стол! Быстро, у меня нет времени!

Горничная бросается освобождать угол стола, придвигает все необходимое: хлеб, соль, вилку, ложку. А мама моет руки, не переставая дергать прислугу:

— Боже мой, что же так медленно! Саша, где ты застряла? Все дети пообедали? А Башка что-нибудь ела?

Мальчишки, уверена мама, себя не обидят. А вот меня, бледненькую, младшенькую, надо пичкать силком.

Все на столе.

— Как жалко, хозяйка! Пока вы съедите суп, мясо остынет.

Мама не успела сесть, как уже прислушивается к голосам из магазина:

— Не морочь мне голову! Она и без тебя раскалывается. Тише! Я слышу, кто-то зашел в магазин.

Она в спешке глотает последний кусок и уже готова бежать. А тут и мальчишка-посыльный:

— Мадам, вас хозяин зовет!

Мама срывается с места, горничная огорченно смотрит ей вслед:

— Отнести вашу тарелку в магазин?

Я тоже обедаю одна. Хорошо — некому пожаловаться маме, что я ничего не ем. Горничная вносит блюдо за блюдом.

— Саша, я больше не хочу!

— Бог с тобой, Башутка! Что ты говоришь! Так вкусно! А пахнет как! Попробуй только — во рту тает. Ну что с тобой, Башенька? Уж не заболела ли, упаси Боже? Пойду позову Шаю.

Саша знает, что Шаю я боюсь больше нее. Кухарка приносит с собой луковый запах.

— Почему это ты не желаешь есть? Не ломайся, пожалуйста! Когда ж ты наконец поумнеешь и будешь есть по-человечески? Ничего не ешь, поэтому такая зеленая. А мама потом будет меня ругать, что я тебя мало кормлю!

— Ладно, ладно, я поем. Только отойди!

Я откусываю кусок мяса, лишь бы она ушла, эта кухарка. Терпеть не могу, как от нее пахнет: луком и посудными тряпками.

— Боже всемогущий! Даже эта малявка и та огрызается!

Шая вытирает фартуком свои всегда мокрые глаза и, опустив плечи, бредет на кухню.

Я снова одна. Глотаю кусок мяса. И гляжу на дверь. Хоть бы кто-нибудь пришел. Сколько там еще осталось дней до субботы?

В субботу ни одного пустого стула не останется. Папа, мама, братья — все рассядутся по местам...

Вдруг дверь распахивается и вихрем врывается Абрашка.

— Эй ты, рохля! Сидишь тут, как сонная тетеря! Гляди, мороженщик пришел! — кричит он и подталкивает меня к окну.

По двору идет внушительный, похожий на айсберг здоровяк. Он будто весь занесен снегом. Просторная белая рубаха. На голове покачивается накрытый белыми салфетками бочонок. Сама голова обернута полотенцем, словно она у него болит.

Долгоногий, он шагает по снегу в блестящих черных сапогах. И вдруг останавливается прямо перед нашим окном. Наверное, увидел нас. Вытягивает шею, как петух перед дождем, и визгливо выкрикивает:

— Вкусное мороженое! Сладкое мороженое!

Так что стекла трясутся.

Абрашка кидается от окна к двери, оборачивается и понукает меня:

— Что стоишь? Иди попроси у мамы пять копеек! В кредит он нам больше не даст! Вот дура, ну хоть стаканы пойди принеси...

Сам он бежит на кухню, налетает сзади на кухарку и тащит ее к окну — показать, что пришел мороженщик.

— Шая! — клянчит Абрашка и немилосердно трясет ее. — Дай нам пять копеек. Видишь, мороженщик!

— Господи Боже! Этот разбойник меня уморит. Рехнулся, что ли? Приспичило ему! Разве можно сейчас есть мороженое, бесстыдник ты этакий? Ведь ты только что ел мясо!*

— Какое там мясо! Я уж про него и забыл!

— Что-что?! Нет, вы только посмотрите, бедные заброшенные дети! Бедняжечки! Я их голодом морю! Сожрал три котлеты, а потом...

— Да хватит тебе причитать! Завелась до завтра! А мороженщик сейчас уйдет...

— Подумаешь, важность — мороженщик! Будь он неладен... Сбивает с пути еврейских детей... Где ребе? Счастье твое, что его здесь нет, уж он бы взгрел тебя палкой! Так бы все это поганое мороженое и растаяло...

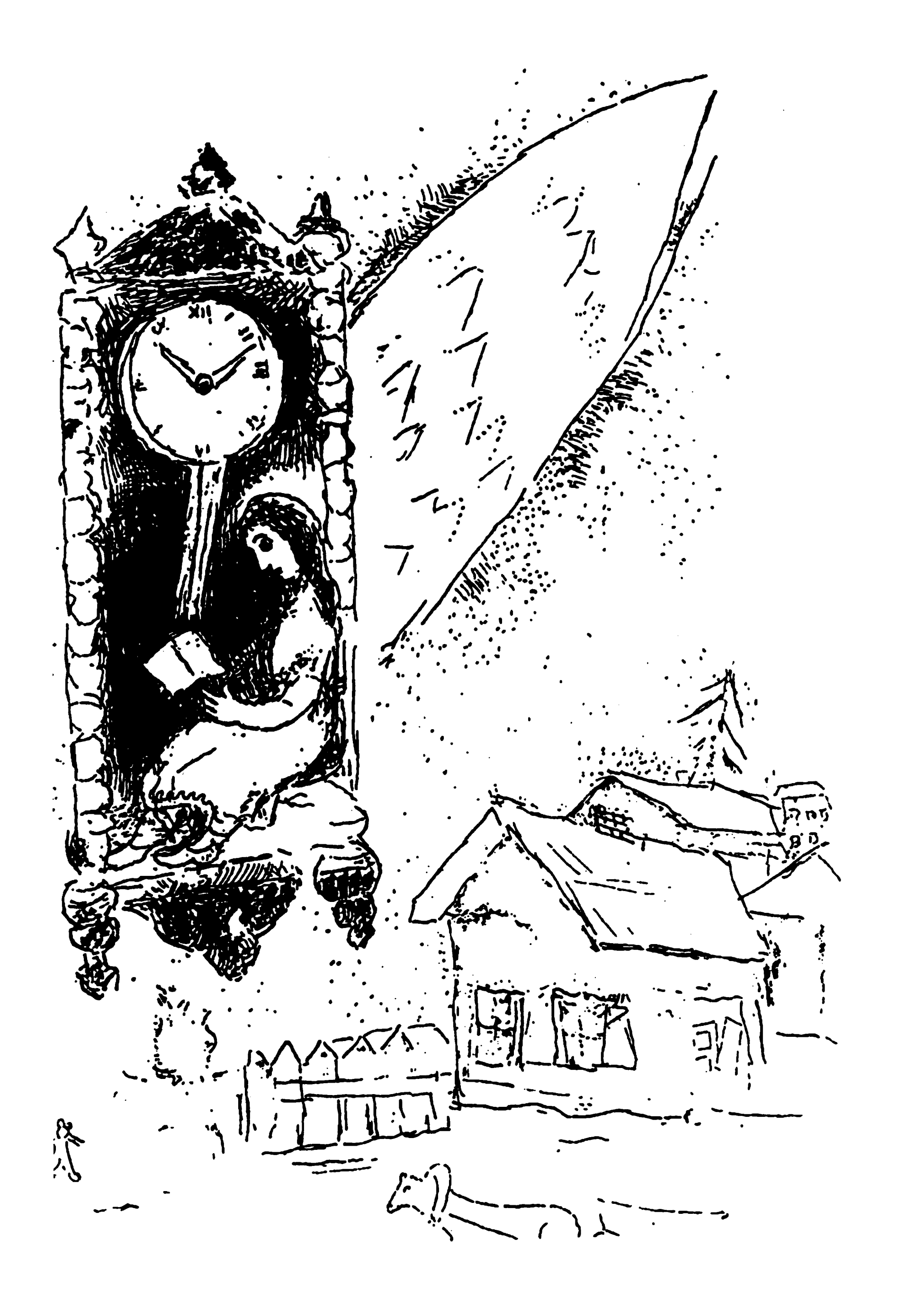
— Вкусное мороженое! Сладкое мороженое!

Абрашка весь извелся. Что делать?

— У него мороженое не из молока! — Он пробует сыграть на добрых чувствах. — Шая! Я тебе помогу ме-

---

* Иудейская религия запрещает смешивать мясную и молочную пищу.



сить тесто — только скажи, достану из погреба огурцы, квашеную капусту...

— Осчастливил! Да что ты ко мне прицепился? Где я тебе возьму денег?

Абрашка почувствовал, что голос Шаи помягчал.

— Неужто пяти копеек от рынка не осталось? Тебе что, маминых денег жалко?

— А по-твоему, мамины деньги — это пустяки? Можно их швырять в окно? А как мне вечером перед ней отчитываться?

— Вкусное мороженое! Сладкое мороженое! — не унимается мороженщик.

— Да что за негодник! Отстанешь ты от меня или нет? Всю душу вымотал! На, грабитель!.. — Не переставая ворчать, Шая достает из-под юбки кошелек. — Ох, нечистая пища! Нечистая пища!..

ИЗГНАНИЕ КВАСНОГО

Скоро Пасха. Весь дом как натянутая струна.

— Здесь помыла? А в том углу? Как следует протри полки. На-ка, постели пасхальные салфетки.

Шая дергает всех, кто подвернется под руку.

— А ты, Саша, — кричит она православной горничной, — иди прочь со своей мукой! В погреб неси! Будете с Иваном есть там!

Последние блюда из-под квасного запихиваются в темный шкаф. Весь год вся эта утварь была у Шаи в ходу, а теперь она видеть ее не хочет, ногами отпихивает. Вдруг тревожно замирает: белое пятнышко — не мука ли?

— Где же отец? Скорей бы пришел и сжег все эти крохи... — Шая прячет в шкаф противень. Пусть не оскорбляет глаз! — Беда с этим квасным! Никак от него не избавишься! Дети! Разве ребе не велел вам вывернуть карманы? Чего же вы ждете? Скоро папа будет жечь остатки хлеба.

И Шая обшаривает нас.

— Ай! Щекотно! Карман мне оторвешь!

Вычистить за один раз все карманы — дело нелегкое. Ведь мы целый год, дома и на улице, складывали туда что попало. У кого больше крошек?

— Тихо! Папа идет!

Скорей привести карманы в порядок!

Папа пришел жечь квасное. Мир всем! Вид у него строгий, как будто он должен отыскать что-то очень важное.

Широкополая черная шляпа бросает тень на лицо. Ему дают зажженную свечу. Огненный язычок высвечивает бледные черты.

— Где метелка? — шепчет он.

Дети молча идут за отцом. Со свечой и метелкой из перьев в одной руке и деревянной ложкой в другой он обходит все подоконники, все углы, хоть их только что выскребли. Открывает книжный шкаф, перебирает священные книги, будто туда что-то запрятали. И вдруг ему попадается хлебная крошка, укрывшаяся от большой чистки.

Свеча радостно вспыхивает — можно подумать, нашли сокровище.

Папа собирает все крошки, ссыпает их на бумажку и бросает, как жертву, в зев раскаленной печки. Огонь охватывает бумажный фунтик. И вместе с пожирающим остатки квасного пламенем разгораются папины глаза.

— Слава Богу! — облегченно вздыхает Шая. — К Пасхе все очищено!

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПАСХЕ

Первая жертва пасхальной лихорадки — наша толстая кухарка Шая.

Она принимается носиться, выпучив глаза, сразу после Пурима. Тусклых будней она не замечает, поглощенная одной заботой: соблюсти весь обряд Пасхи.

Суета начинается с самого утра, Шая гонит нас из столовой:

— Ну-ка, дети, хватит рассиживаться! Быстро доедайте и марш отсюда! Маляры пришли!

— Маляры, уже? Да ты знаешь, когда Пасха? До тех пор еще Мессия успеет прийти! — огрызаются братья.

— Вот именно! Для Мессии и надо все побелить и покрасить! А вы бы, чем языком молоть, лучше помогли бы отодвинуть шкафы.

— Шкафы? И всего-то? Какие пустяки! Ай да Шая — а больше ничего не придумала? Да их с места не сдвинуть!

Мы толкаем шкаф все вместе, и он начинает поддаваться. Там внутри висят вперемешку черные костюмы и платья, папина шуба, мамино лисье манто, точнее — ротонда. Длинные ворсинки меха щекочут и покалывают другую одежду. При каждом толчке шкаф скрипит, стонет и оставляет белые царапины на паркете.

— Ай! Остановитесь, хватит! — кричит один из братьев.

— Видишь, Шая, что случилось по твоей милости? Ножка подкосилась. Как теперь будем двигать обратно?

— Господи помилуй, я-то что могу сделать? Надо же переклеить обои!

— Ты бы сходила спросила у раввина! Может, надо отодвигать не шкафы, а стены?

Братья берутся за следующий шкаф.

— Ишь, умник сыскался, да молоко-то на губах не обсохло. Ничего-ничего! У меня в одной пятке ума побольше, чем в ваших дурных головах, вместе взятых. У раввина спросить, как же! Надо бы у него сперва спросить, как это в еврейском доме заводятся такие безбожники!

— Ну, все! Шая завелась! Пошли... Идем в город, посмотрим, как пекут мацу!

Шая, махнув рукой, поворачивается к открытой двери и возглашает:

— Идель, Нахман, заходите! Начинайте с классной комнаты за столовой.

По этому зову мгновенно, словно его только и ждали, сгущаются из воздуха две белые фигуры. Двое маляров, белые с ног до головы. Ботинки, волосы, щеки, брови — все, как снегом, засыпано известкой. У одного на плече лесенка, в руке — ведро с краской. Другой еле держит в охапке длинные рулоны обоев.

Лиха беда начало, ремонт пополз из комнаты в комнату. Мы двигаем столы и стулья, оставляя проход. Будто рота солдат ворвалась вместе с этой парой. Вскоре маляры захватили весь дом. Один забрался на лестницу и драит карнизы, другой влез на стол и скребет потолок — старая побелка сыплется ему на голову.

— Хочешь попробовать известки, малышка? — смеется, глядя на меня с высоты, тот, что на лестнице.

Его короткая, обсыпанная известкой бородка прилипла к белым губам. С ними весело! То один, то другой заливаются смехом. Оба поют, свистят, смешивают краски, окунают кисти. Брызги летят во все стороны.

Один приступил к потолку. К нему подключился второй, и руки с кистями размашисто заходили, словно птичьи крылья.

На очереди стены. Как яростно маляры на них накидываются! Старые обои шумно падают на пол, осы-

пается штукатурка. На голые, ободранные стены жутко смотреть. Под ногами все заляпано белилами, валяются бумажные полосы в цветочек. Они намокают, их рвут, топчут ногами. Вместо старых наклеивают новые полотнища, с другими цветочками.

Обои топорщатся, вздуваются, не хотят приставать к стенам. Маляры разглаживают их влажными тряпками, и пузыри исчезают.

Маленькая классная комнатка, свежепобеленная, заново оклеенная обоями, сияет, будто перед свадьбой. Но Шае и этой чистоты мало. Она завешивает стены белыми простынями, как молитвенными покрывалами. Расстилает простыню даже на полу. Хоть вноси Ковчег Завета.

На самом же деле сюда заносят две корзины мацы. Огромные, обернутые скатертями корзинищи.

Чуть ли не каждый лист мацы завернут отдельно! Шая бежит впереди, показывает дорогу:

— Сюда! Тихонько! Стоп! Здесь две ступеньки! Ставьте корзины осторожно. Бог мой, да поосторожнее! Маца раскрошится!

Она порхает вокруг корзинок, щупает их, бормочет что-то похожее на благословения.

— Ну вот! Маца в доме, значит, Пасха не за горами!

Еще один посыльный с благообразной длинной бородой приносит корзинку особой мацы для папы. Несет он ее двумя руками, как Моисеевы скрижали.

Ни слова не говоря, посыльный осматривается, замечает крюк для лампы под потолком и вешает корзину туда, чтобы и дух квасного не мог коснуться пасхального хлеба.

С этой минуты входить в классную комнату запрещено. Всем, кроме Шаи. Только она тут распоряжается, и все домашние беспрекословно повинуются.

Если из кухни выступает Шая в белом переднике и с белой косынкой на голове, ясно — она направляется в классную комнату. На лице ее такое напряжение, будто она собирается опрокинуть небеса.


Chagall

Мы тишком пристраиваемся за ней, но она запирает дверь. Задвижка щелкает прямо у меня перед носом. Остается только сидеть на ступеньках да слушать, как стучит деревянный пестик.

— Шая! — умоляем мы через замочную скважину. — Пусти нас! Мы поможем тебе толочь мацу.

Пестик стучит и стучит, будто хочет пробить нам головы.

— Ну, пожалуйста, Шая! Руки у нас чистые, клянемся! Только что вымыли!

Может, Шая не слышит? Пестик стучит еще громче. С каждым ударом мы дергаем задвижку.

Вдруг дверь открывается настежь. Мы отскакиваем, кубарем скатываемся со ступенек. На пороге, мрачнее тучи, стоит разгневанная кухарка. Ее не узнать. Вся в муке, точно работала на мельнице.

— Что пристали? Оставьте меня в покое, шалопуты! Пасху мне испортить хотите? Поганцы этакие! Пусти их, как же! Чтоб они крошили мацу своими нечистыми руками! Вон отсюда! — Белое облачко вылетает из ее ноздрей. — И думать не смейте прикасаться к корзинам!

Излив гнев, Шая снова ныряет в комнату. Гремит задвижка. А мы приникаем ухом к замочной скважине. Теперь слышен тихий звук, похожий на шуршанье мокрого песка в водяной воронке.

— Шая! Позволь нам тоже просеивать муку из мацы!..

ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА

С раннего утра я принимаюсь зубрить «Ма ништана»*.

Я младшая и должна задать папе «Четыре вопроса».

— Каждый год ты делаешь одни и те же ошибки!

— А почему каждый год бывают одни и те же вопросы?

У меня в голове кишат не четыре, а сорок четыре вопроса. Но попробуй-ка поспрашивай папу!

«Папа, почему на время пасхальной трапезы ты вдруг становишься королем? И почему на другой день ты уже не король? Значит, наше королевство исчезает? Папа, почему за пасхальной трапезой пророк Илия не сидит рядом с тобой? Вот бы кому быть королем! Ему наливают вино в самый большой, самый красивый бокал. А почему, папа, почему его бокал так и остается нетронутым посреди стола? Почему он не пирует с нами и мы идем открыть ему дверь и зовем его только после еды?

Папа, а почему он обещает, что мы будем «в будущем году в Иерусалиме»? Каждый раз одно и то же обещание... а сам прячется в темноте. Почему? Ну почему?»

— Опять заснула? Твоя очередь. Повтори!

И я снова повторяю вслух, от начала до конца, «Четыре вопроса».

В доме шум и суета. Я хожу из угла в угол, осторожно, будто моя голова — кувшин, наполненный этими вопросами. И все повторяю их шепотом, боюсь, не утекли бы из памяти.

---

* Ма ништана ха-лайла ха-зе ми-коль ха-лейлот? (Чем отличается эта ночь от всех других ночей?) — первый из четырех вопросов, которые, по обычаю, младший ребенок в доме задает старшему мужчине в начале пасхальной трапезы.

Шая носится, как ветер, из кухни в столовую и обратно. И каждый раз застывает перед столом и пересчитывает по пальцам:

— Харосет... зероа... бейца...* что еще? Где Саша? Когда нужна, так ее вечно нет. Что праздник, что не праздник — ей все одно. Башенька, сходи позови ее! Она наверняка в погребе с Иваном. У них там ужин.

И Шая сплевывает, так ей противны их некошерные блюда.

Бегу бегом и не узнаю наш погреб. Саша так тут все прибрала, что стало чисто и просторно. На полу сухо. Не пахнет ни керосином, ни плесенью от соленых огурцов и квашеной капусты. Бочонки задвинуты за штабели дров. А посередине устроена столовая на всю пасхальную неделю.

Саша с хозяйским видом восседает на чурбане, сторож Иван — рядом с ней. Под потолком горит жестяная лампа. Полоски света лежат на белом Сашином платье, на земляном полу. Саша хохочет-заливается с набитым ртом.

Чернобородый, похожий на медведя в овечьей шкуре, Иван утирает мокрые усы.

— А, Башутка пришла! Хочешь хлебушка? — горланит он.

Я отворачиваюсь от него.

— Саша! Тебя Шая зовет, все уже собрались, скоро седер!

Я тяну ее за рукав, чтоб она не оставалась тут вдвоем с пьяным Иваном. Она подбирает юбки, последний раз заливается смехом ему в лицо и проворно вылезает из погреба вместе со мной.

— Правда все уже собрались? Лезь побыстрее... — Под ногами Саши прогибаются ступеньки.

Наверху, в столовой, разгар праздничной беготни. От стены до стены расставлен стол под ослепительно

---

*Тертые яблоки с орехами... жареные косточки... яйца вкрутую — ритуальные пасхальные кушанья.

белой пасхальной скатертью. Посреди немого сияния бросаются в глаза красные бокалы. Блестят начищенные подсвечники. Вытянулись и будто трепещут длинные белые свечи, еще не зажженные. Даже на потолке яркие блики от цепочек люстры.

Горки мацы накрыты салфетками, как молитвенными платочками. На стульях нежатся пухлые белые подушечки. Золотые буквы пылают на роскошном переплете «Агады»*.

Первой входит празднично наряженная мама. Лицо ее лучится радостью. Высокая прическа прибавляет ей роста. Широкое, длинное, все в кружевах и пуговках платье скользит по полу и издает на ходу заполняющий тишину внятный шелест. Мама подходит к свечам, зажигает их, простирает сомкнутые кольцом руки, благословляя вместе со свечами весь стол.

Разливаются свет и жар, — кажется, семь язычков огня разожгли сотни невидимых свечей, и они смягчают холодную белизну скатерти.

Такие же свечи вспыхивают в окнах соседей, через двор. Живые золотые нити тянутся друг к другу во мраке.

У нас свечи расставлены по одной вдоль накрытого стола. Но еще не все готово. Подносят все новые и новые блюда, не заботясь, выдержит ли стол такую тяжесть...

— Шая, ты почистила яйца? А где соленая вода?

Мама снует у громадного стола, пытаясь оглядеть его целиком. Всего ли хватает? Что еще добавить?

— Дай-ка еще одну подушечку! Я совсем забыла... будет еще один гость. Смени чехлы.

Белые подушечки выстроились в шеренгу. Стулья стоят пузатые, будто беременные.

— Мама, кто придет? Сколько нас будет за седером?

— Зачем считать, особенно в такой праздник!

---

* Пасхальная «Агада» — иллюстрированная книга, в которой изложена последовательность совершения седера, пасхальной трапезы с молитвами, благословениями, пением псалмов и др.

— Тише!.. Уже вернулись из синагоги.

Слышен чей-то голос. Входит первый гость.

— С праздником!

— С праздником! Добро пожаловать!

— Это ваши мальчики? Уже прошли бар-мицву?

По щелчку в каждый затылок.

Этот первый гость, папин дальний родственник, торгует вразнос всякой всячиной по деревням. Он знает, что для папы родня — это свято. На пасхальный ужин он пригласил себя сам и держится, как у себя дома. Напевает, расхаживает взад-вперед, шумно сморкается, делает замечания, раздает советы. И каждого нового гостя первым встречает широким приветственным жестом.

Людей набралось порядком. Ждут папу, а в ожидании точат лясы, шутят, рассказывают друг другу разные истории.

— Как твоя учеба, Башенька? Ты уже хорошо знаешь русский? Какие у тебя отметки? — осаждают меня старшие сестры и братья, которые съехались из больших городов.

Для меня они такие же чужие, как и остальные гости. Я не вижу их весь год. Братья учатся где-то далеко от дома, сестра живет где-то еще. В этом году она привезла с собой двоих сынишек. Они лезут ко всем на колени, выбирают, у кого ноги подлиннее, и просят, чтобы их покачали...

— С праздником! — На пороге стоят навытяжку трое солдат, сияя начищенными до блеска по случаю праздника сапогами и пуговицами. И включаются в общее веселье.

— Папа идет! Тихо!

Все разом замолкают.

Папу сразу и не узнать. Совсем другой человек. В комнату вступает король, весь в белом с ног до головы. Он утопает в широком белом кафтане. Переливчатый шелк струится складками, схваченный широким поясом. Висят похожие на крылья, длинные и широкие рукава, закрывающие даже пальцы. Белая шелковая ермолка

красуется на седых волосах. Рукава-крылья взлетают вверх при малейшем движении. Папино лицо лучится радостью. Я не отвожу от него глаз. Чем не король?

— С праздником!

— С праздником!

Седер, пасхальная церемония, начинается.

Папа садится во главе стола. Откинувшись на две подушки, восседает, как на троне. По сторонам рассаживаются гости. Толкаются, двигают стулья, теснятся у стола. Папа первым снимает салфетку со своей тарелки с ритуальной пищей и придирчиво оглядывает ее. У мамы расширяются глаза. Неужели что-нибудь забыли?

Под листами мацы обнаруживается зелень, наподобие мха на старой крыше, — горькие травы; тут же чашечка с хреном, куриная шейка, крутое яйцо. То же самое — на пасхальных тарелках у всех сидящих за седером.

— Аарон! Отдашь мне свой марор*, да? — кричит через стол Абрашка старшему брату.

— Вот обжора! Только об одном и думаешь! Праздник не праздник — тебе все равно!

— А сам-то! В такой день лаешься как собака. Я только попросил марор!

— Известное дело, тебе лишь бы брюхо набить, хоть бы и хреном!

— Тихо! — обрывает перебранку папа. — Что за свара? Наливайте бокалы и передавайте вино другим.

Бутылки переходят из рук в руки. Каждый тянется налить поскорее, вино булькает, выплескивается на скатерть.

— Отличное винцо, а? Эх, такой бы мне сладкой жизни...

— Не забудьте про чашу пророка Илии, — указывает папа подбородком.

— Возьмите вот этого вина, оно лучше, — прибавляет мама.

---

* Марор — горькая зелень.

Наклоняется бутылка, и высокая красная чаша Илии, до тех пор стоявшая пустой и праздной, в один миг наполняется до краев.

Искрится вино. Кружатся головы. Словно ветром перелистывает потрепанные страницы раскрытых книг Исхода. Склонились головы. Потекли первые молитвословия.

Я, как всегда, сижу, тесно зажатая между мамой и папой. На этот раз еще теснее — из-за подушек на папином стуле. По телу разливается душный жар. Голова отяжелела от вина. Так и хочется прикорнуть на заманчивых пуховых подушечках. Но я знаю, что скоро, после первых молитв, папа склонится надо мной, будто не я ему, а он мне должен задать «Четыре вопроса».

Вот он уже кивает мне...

— Ну-ну...

За столом вдруг становится тихо. Все смотрят на меня. Я ныряю с головой в «Агаду», зарываюсь в буквы. Вожу пальцем по строчкам, чуть ли не отковыриваю их. У меня захватывает дух, я вздрагиваю от собственного голоса.

— Чем отличается эта ночь от всех других ночей?..

Папа тихонько подсказывает. Мне чудится, что на другом конце стола сдавленно хихикают, и я запутываюсь еще больше. Еле-еле переползая от строчки к строчке, путаю вопросы... А ведь знала все наизусть. И столько еще надо было спросить...

Не успеваю я выговорить последнее слово, как поднимается гомон... все с облегчением открывают «Агаду».

Церемония словно катится по рельсам. Каждый нараспев читает про себя, пытается обогнать соседа или угнаться за ним, зовет, подталкивает его голосом.

Голоса ударяют в окна, отскакивают от стен, пробуждают старого рабби Шнеерсона, чей портрет уже много лет висит в столовой. Он следит за происходящим своими зелеными глазами, внимательно вслушивается. Не висится спокойно и тщедушному рабби

Менделю на противоположной стене: серьезный, в белом кафтане и с длинной седой бородой, он высовывается из рамки, словно привлеченный чтением «Агады».

Даже стены прислушиваются.

Даже потолок опустился и слушает рассказ об Исходе — ему тоже надо унести каждое слово с собою, ввысь.

Страница за страницей струятся слова, как песок в пустыне... я и смотреть-то на всех устала. Где мы сейчас?

Неожиданно врывается вульгарная перепалка, это снова сцепились братья.

— Где ты читаешь, дурья башка! Ты пропустил страницу! — кричит Мендель Абрашке.

Я по своей книжке блуждаю наугад, листаю пожелтевшие страницы. Вот винное пятнышко, а вот застрявшая между страниц с прошлого года крошка мацы. А вот попалась картинка: пасхальный стол, сияющие лица сотрапезников.

У меня сжимается сердце: наши деды и бабки, они тут, совсем рядом. Какие изможденные, иссохшие! Бережно переворачиваю страницы дальше. Где еще эти далекие предки? Крошится на страницу кусочек мацы. Не песок ли египетской пустыни скрипит под ногами?

— «Рабами мы были...» — шепчу я.

И растрепанные страницы расступаются. Ветер пустыни свищет в уши. Бледные тени с раскрашенных картинок все ближе. Их дыхание — мое дыхание. Вызванные к жизни словом, они изливают душу, рассказывают о своих страданиях, о тяжком пути изгнанников через пустыню, с передышками и новыми переходами.

Днями, ночами, годами, без хлеба и без воды. Со стесненной душой. Согбенные тени, еле идут, тяжело дышат.

И у меня опускаются плечи, будто я сама бреду, утопая в песке. Пересохло во рту. Трудно вымолвить слово. Слова пристают к губам, как комочки глины. Шепчу, сгорбившись над книгой. Проскользнуть бы туда, на



страницы «Агады», очутиться на длинной дороге, подойти к каждому, ободрить, разделить ношу...

Боже! Неужели и дети шли с ними? Шли и плакали...

Где мы?

Кажется, все читающие разбрелись в разные стороны, мне не догнать их.

А где читает папа? Лучше слушать его спокойный голос. Каждое слово припечатывается, как шаг. Словно папа идет по ровной дороге. И мне бы с ним... Вот, слава Богу, он приостановился, чтобы перевести дух.

— Итого десять казней... — Отец жестом просит чашу, чтобы отлить вино из бокала. — Кровь... мор...

Каждая казнь как удар колокола. Каждая казнь наливается, набухает тяжелой каплей вина, словно папа хочет отстранить подальше каждую напасть.

Чашу придвигает к себе мама. Медленно, капля за каплей, казни истекают вином. Мама перечисляет их негромко, боится капнуть на скатерть. Все по очереди, подняв свой бокал, как оружие, отливают несколько капель в общую чашу, словно метят в лицо врагу.

Стараются попасть в самый центр — пусть проклятия поразят врага в сердце, капли падают, как литые пули.

Я получаю чашу последней. В ней бушуют стихии.

— Кровь... жабы... мор... град...

Будто швыряю камни. Выплескиваю, не удержав бокал, помногу. Керамическая миска превращается в фараона. Обрушить на него все казни разом, разбить об его голову бокал, обагрить его вином...

— Саранча... тьма...

Получай! Вот тебе за всех моих гонимых прадедов и прабабок... Смерть первенцев... За всех замученных детей...

Мне жутко от проклятий, от красных пятен на скатерти.

Скорей опустошить бокал.

ПРОРОК ИЛИЯ

От еды и декламирования все уже устали.

Только папа держится, как положено королю. Откинувшись на мягкие подушки и прикрыв глаза, он словно раздумывает, куда направить нас дальше.

И вдруг пристально смотрит на маму. Она встает, листает «Агаду», берет до половины сгоревшую свечу и поворачивается ко мне:

— Пойдем, Башенька. Возьми с собой «Агаду».

Я вскакиваю как ошпаренная. Сердце у меня колотится от страха и восторга — ведь я сейчас, вдвоем с мамой, пойду встречать пророка Илию, открывать ему дверь!

Мы чинно выходим из столовой, держа в одной руке открытую «Агаду», а в другой — горящую свечу. Мужчины остаются сидеть за столом. Все замерли и смотрят на нас. Благословляющим взглядом провожают нас, гонцов.

Почти бегом пересекаем темную гостиную, не опоздать бы! Не хватает только, чтобы Илия, придя к нашему дому, нашел закрытую дверь!

Дрожащий, задыхающийся от нашей спешки огонек еле освещает дорогу. Сама свеча боится окружающего мрака и обливается от страха горячими слезами.

Выходим в прихожую. Сердце стучит все сильнее, рвется из груди, взлетает к небесам и в испуге срывается вниз, до самого утопающего во тьме пола.

— Осторожно! Прикрой свечу! — на ходу бросает мне мама и толкает дверь на улицу. В проем врывается черная ночь, налетает, как ветер, хлещет в лицо, подхватывает юбку, чуть не задувает свечу и не сбивает нас с ног.

«Ну вот, — думаю я. — Пророк Илия совсем близко. Наверное, вот-вот прилетит. Это его воздушная колесница поднимает вихрь своими крыльями. Его резвые кони скачут по небу за тучей».

Мне страшно выглянуть за дверь и что-нибудь задеть. Под ногами шевелятся тени. Вижу только клочок неба. Сияющий, как черный бархат. А улица под ним — еще темнее. Под темным сводом рыбкой в воде плещется, трепещет звездочка, разбрызгивая свет на темном фоне. И, остановившись прямо над нашими головами, заглядывает в дверь.

Мама опустила глаза и ничего не видит. А вдруг звездочка залетит к нам? А вдруг там, за дверью, Илия или сам Мессия?

Дрожу и прислушиваюсь. Но все тихо. Тишина нисходит с неба, окутывает улицу, дома. Ничьи шаги ее не нарушают. В фонарях теплятся тоненькие фитильки.

В окнах дома напротив мерцает отблеск свечного огонька. Может, в каждом доме сейчас открыта дверь? И у каждой двери стоят мать и дочка с зажженной свечой?

За спиной у нас вдруг загрохотало. Задвигались сразу все стулья. Или даже сдвинулся с места стол. Это мужчины услышали, что мы открыли дверь, разом встали и так громко читают «Агаду», словно хотят разбудить ночь.

Я прижимаюсь к маме. Вцепляюсь в ее юбку. Если нас схватит тьма, пусть хоть я буду с ней рядом!

Огонек свечи дрожит и мечется из стороны в сторону. Я прикрываю его обеими руками, закрываю от ветра: не дай Бог, потухнет и мы останемся в кромешной мгле, перед зияющим черным провалом открытой двери!

Мама читает «Агаду» неслышно — чтобы немая ночь лучше поняла ее тихую молитву. Губы ее чуть шевелятся. Лоб наморщен. Очки сползли на кончик носа. Свечка тает...

Кажется, мы стоим тут и все про нас забыли.

Я подставляю голову под книгу, под мамины руки — так на меня падают ее жаркие славословия, и мне не страшно.



«Пророк Илия! Смилуйся! Сойди скорее с небес! Здесь холодно и темно. Войди в дом. Там тебя ждут. И тебе там тоже будет теплее. Слышишь папину молитву? Он никогда не кричит, а сегодня взывает к Богу громко-громко. Приди же, пророк Илия! Приди к нам!»

Тоненькая струйка света сочится из приоткрытой двери, вспарывая темноту. Мне хочется поднять голову, посмотреть, что делает мама, что творится на небе.

Но глаз не открыть, в них впивается темнота. Точно так же, как непереносимый для глаз яркий свет.

— В будущем году в Иерусалиме! — доносится из столовой заключительный крик.

Снова шум придвигаемых к столу стульев и снова тишина.

— Мама, пророк Илия уже в доме?

— В будущем году в Иерусалиме! — выкрикивает она вместо ответа в открытую дверь.

Выглядываю на улицу. Ветер улегся. Небо усыпано звездами, большие и маленькие, они сбежались со всего света. И висят, как перевернутые подсвечники. Они сцепляются лучами и образуют балдахин, которым вот-вот накроется светлая луна, точно новобрачная во всем своем великолепии.

Закрыв «Агаду», мама делает легкий взмах рукой, будто посылает что-то в небо. Или... или она не хочет уходить?

Последний взмах-поцелуй, и она закрывает дверь.

Возвращаемся молча. Ночь провожает нас прохладой, будто ведет воздушными ладонями за плечи.

В столовой тепло и светло. Все, опустив глаза, шепотом читают.

На нас никто не глядит. Мама молча садится. Меня окутывает бормотанье, оплетают строчки древней «Агады».

Я верчу головой.

Где же пророк Илия?

Взбудораженное сердце остывает.

АФИКОМАН*

— Саша! — зовет мама. — Отнеси это вино Ивану!

Сторож, который должен охранять нас от воров и разбойников, басит где-то далеко.

«Неужели Иван выпьет всю чашу вместе с напастями?» — думаю я со страхом.

— Наполните бокалы! — приказывает папа.

Снова читается «Агада». Нет-нет вдруг выделится чей-то голос и заглохнет, будто провалился в колодец. Кто-то из гостей неслышно бормочет себе в бороду. Кто-то другой спешит — наверное, торопится поесть.

Папа поднимается первым. Совершает омовение рук. Дети, побросав книжки, спешат за ним, устраивают толкотню в умывальной комнате, вырывают друг у друга кувшин и мокрое полотенце.

Потом так же впопыхах возвращаются по местам, хватают кусочки мацы, которые папа всем раздал для благодарения. По столу скачут крошки, пока кто-нибудь из детей не сгребет их в ладонь.

— На, Башенька, возьми еще! Ты ведь любишь хазерет?

Папа второй раз протягивает мне хрен. Я накладываю его толстым слоем между двумя кусками мацы и жую, как горькое пирожное.

---

* В начале пасхальной трапезы глава семьи разламывает надвое средний из лежащих перед ним трех кусков мацы и бо́льшую часть прячет, она называется «афикоман», десерт. Во время трапезы кто-то из детей «похищает» его и потом получает вознаграждение за то, что возвращает. После того как съеден афикоман, еда в этот вечер запрещена.

Мама разбалтывает вилкой желтки в соленой воде, и каждый с гримасой зачерпывает ложечку и окунает в нее губы.

За всем этим я забываю хорошенько посмотреть, куда папа спрятал афикоман. А поди-ка поищи в его толстенной, как набитое перьями брюхо, подушке! Уже подают рыбу. Все тянут тарелки. За рыбой следует кнедлах, шарики-клецки, которые так вкусно есть вместе с золотистым бульоном.

Дети заглядывают друг к другу в тарелки:

— У тебя лишний? Дай! Дай мне!

— Доедай скорее! — торопит меня папа. — А то не успеешь до афикомана.

Мы все устали, объелись, нас разморило и клонит в сон. Все смотрят на папу. А он принимается елозить на стуле. Перебирает свои подушки, ищет афикоман.

— Ах, сорванцы! Все-таки стянули!

А сам улыбается.

Я все прозевала, не видела, ни куда папа спрятал афикоман, ни кто его стащил...

— Ха-ха-ха! А вот он у меня! — блестя глазами, вопит Абрашка и размахивает кусочком афикомана.

— Ладно-ладно... давай договоримся! Что ты хочешь взамен? — спрашивает папа.

— Ни за что не отдам! Разве что за... за... — Абрашка захлебывается от счастья и придумывает грандиозный подарок.

Я гляжу на него с ужасом и даже радуюсь, что не я украла афикоман. Я бы все равно попросила какую-нибудь ерунду. А он молодец, не растерялся!.. И это у нас в доме, где весь год никому ничего, пусть хоть самое пустячное, не позволено выпрашивать.

Но папа сегодня по-королевски щедр и не думает торговаться...

— У тебя губа не дура, ну да ладно. Так и быть, получишь, что пожелал, только отдай афикоман. Уже поздно...

ТИША БЕ-АВ*

Почти все лето я живу в деревне. Жужжат тучи мух. Солнечные лучи колосьями света падают сквозь зеленые ветви. Они не даются в руки — не схватишь, выскальзывают из-под ног — не наступишь. Тут я забываю город и сама становлюсь растением.

Бегаю босиком. И начинаю ощущать землю, дождевую воду. Как красная ягодка, нежусь на краю поля. Захожу в лес, перелезаю через спутанные корни вывороченных деревьев. Ищу чернику, собираю ее в корзиночку. Мои босые ноги — как они вытянулись, налились силой! Я впитываю свежий воздух, солнце. Не замечаю, как пролетают дни и ночи, как все дальше и глубже уходит солнце и каждый вечер тени, что ложатся на землю в сумерках, делаются все длиннее.

— Едем, Башенька, завтра Тиша бе-ав!

Вот хорошо! Я так давно не была дома.

— Ух, как ты выросла! — всплеснет руками Саша. А мама только взглянет, не выдавая радости — не сглазить бы, сохрани Бог!..

Я возвращаюсь в дом веселая и застываю на пороге.

Кто-то умер? Почему все плачут? Зачем мама вызвала меня домой? Я словно упала с ясного неба в темную яму.

Стою на пороге и смотрю на маму: она сидит, поникнув головой, и читает «Плач Иеремии».

---

*Тиша бе-ав — девятое число месяца ава. На этот день пришлось разрушение Первого Иерусалимского Храма Навуходоносором и Второго — римским императором Титом. В память об этих событиях евреи отмечают Тиша бе-ав как день поста и траура.

Меня она не видит, лицо ее в слезах. Пустой стол, как саваном, накрыт длиннющей белой скатертью. Оплывшие свечи горят в канделябрах. Рядом с ними священные книги. У стола стоит отец. В глаза бросаются белые полоски носков. Сердце его перевернулось!

Боже мой! Почему все так серо и черно? На дворе лето. Сияет солнце. Бегают и смеются дети. А тут?

Мама с папой, оба в трауре, сели на низкие скамейки, как на камни. И словно окаменели сами.

Только слезы катятся из глаз, будто хотят размягчить камень. На полу песок и пепел.

Что за грех совершили родители, чтобы так каяться перед Господом? Какую беду оплакивают? Брат Мендель горестно объясняет:

— Мы лишились священного Храма. Его сожгли. Разрушили до основания. Сегодня Тиша бе-ав.

На меня обрушивается печаль. А перед глазами еще пестрят красные и белые цветочки.

Мое теплое лето разом увяло.

Подбегает Абрашка и тянет меня за рукав:

— Что ты тут стоишь? Пошли во двор. Мы там бросаемся репьями.

Мне все равно. Во двор так во двор. Абрашка уже набрал полную горсть репьев.

Да если все эти колючие комочки попадут в меня, то расцарапают всю до крови! Скорей прикрыть ладонями глаза! Абрашка стреляет, как из ружья. Репьи вцепляются мне в волосы. И некуда деться от них.

— Абрашка, хватит! Оставь и мне!

— Вот, вот, держи, это все тебе! А теперь твоя очередь!

Я сдираю с себя репьи и запускаю их назад в Абрашку. Швыряю и швыряю, не глядя на него.

А он? Он преспокойно ловит их и прицепляет на себя, как пуговицы на рубашку и помпон на картуз. Вся грудь утыкана...

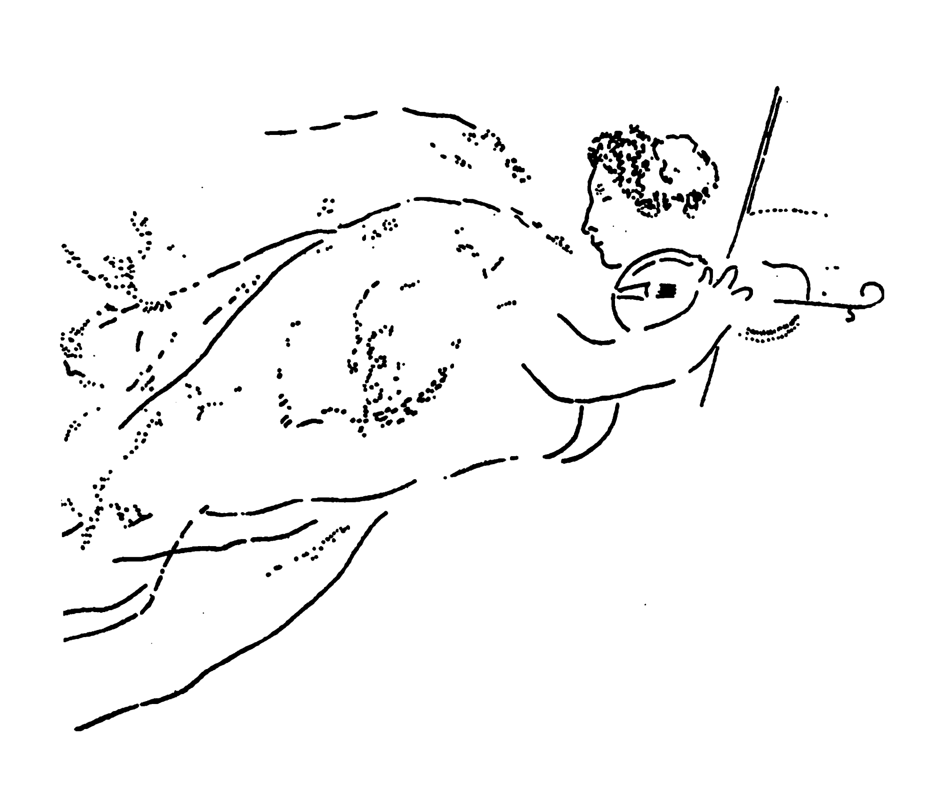
А из открытых окон доносятся глухие рыдания.

— «Как одиноко сидит город!»*

Неужели никогда не вернется к нам радость?

---

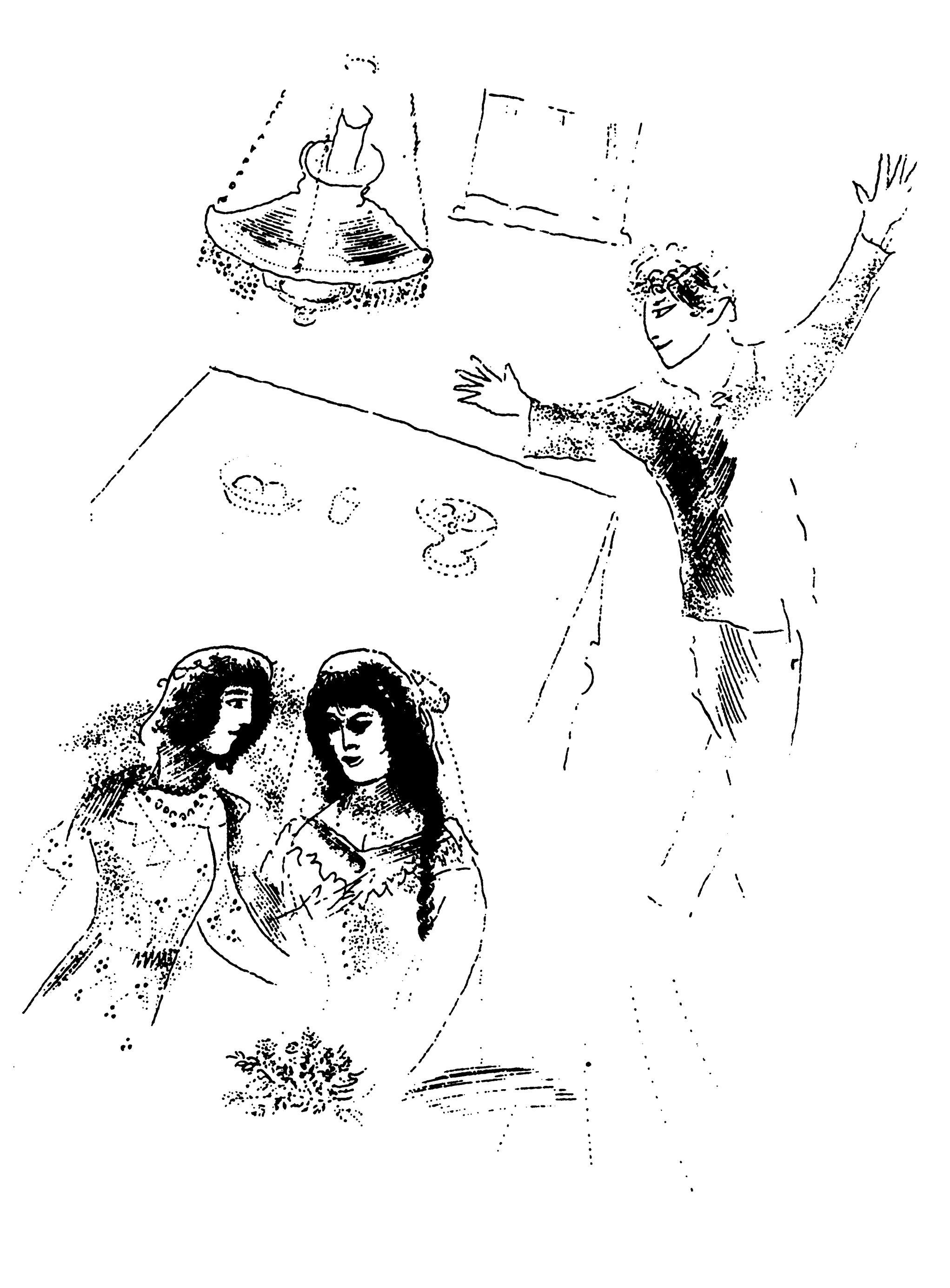
* Первый стих «Плача Иеремии».







ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА



ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

— Ты дома, Тея?

Тея — моя школьная подруга, я стучусь в ее окно.

— Это я, Белла.

Конец лета. Я вернулась из-за границы. Мама каждый год ездит в Мариенбад и берет меня с собой. На этот раз я побывала в Берлине, в Вене, есть что порассказать Тее, и мне не терпится.

Стучу еще раз. Почему она не открывает? А я-то спешила! Неслась по улицам, летела через мост.

Тея живет на другом берегу, недалеко от вокзала. Улочка тихая, на отшибе. Дом совсем маленький, одноэтажный. Окна выходят прямо на улицу.

Может, поэтому они всегда закрыты? Тяжелые шторы приглушают уличный шум и свет. В гостиной всегда прохладно и темно. Не слышно ни грохота съезжающихся к вокзалу пролеток, ни цоканья копыт. Не помню, деревом или булыжником была вымощена их улица. Я вглядываюсь в Теины окна. Стекла накалились на солнце и блестят. Сверху и по бокам складки тяжелых гардин, в середине — крахмально-белые тюлевые занавески, которые чуть шевелит сквознячок. На одной занавеске изображен король на троне, на другой — прекрасная молодая королева в диадеме. Я только что их заметила. Изнутри ведь не разглядишь — узор заслоняют цветочные горшки!

Эти горшки теснятся на каждом подоконнике. Весь дом в цветах и листьях, в гостиной они повсюду: стоят на полу, на столиках, табуретах, свисают с этажерок. В здоровенных кадках с землей торчат пальмы. Одни листья тянутся вверх, другие — лезут вширь. Даже в кон-

сервных банках что-то растет. Какие-то мелкие цветочки. С каждым днем на узких подоконниках все прибавляется растений, а свету становится все меньше. А Теина мать, как будто всего этого мало, каждый раз приносит с базара новый саженец.

Снаружи их дом — такой, как все. Но он совсем особенный. Чем? Может, заплетающей рамы зеленью, а может, рвущейся сквозь закрытые окна музыкой — аккорды слышны, как только свернешь в их проулок с большой улицы.

Соседние дома, замерев, слушают сонаты Моцарта, Бетховена. Прохожий остановится под этими окнами, постоит минутку, упиваясь мелодией, и, завороженный, пойдет своей дорогой.

И мне, пока я сюда бежала, не терпелось услышать знакомые звуки. Фортепьянные трели. Иногда и пение скрипки. Когда никто на ней не играл, она покоилась на пианино. Немой смычок — протянутая в ожидании рука...

У нас не было ни пианино, ни скрипки. И я по вечерам убегала к Тее. В дом, где людно и весело. О таком я всегда мечтала...

Теина мать целый день дома. Хлопочет, суетится: то на кухне печет пироги и булочки, то в зале с гостями. Для каждого у нее найдется словечко. И с нами она болтает запросто, угощает своей стряпней.

— Беллочка, съешь блинчик! Не бойся не потолстеешь... Какое у тебя миленькое платье! Новое?.. Манечка, как поживает мама? Сонечка, скажи, это правда? Я слышала, твоя сестра выходит замуж?

Всегда улыбается, смеется, всегда словно отплясывает кадриль.

Подруги у Теи много лет все те же. Ее мама знает нас всех, наших родителей, всю родню. Сколько ей лет — не поймешь. Крохотная, хрупкая, тщедушная, но живая, как пташка. Тонкие, всегда влажные, как у Теи, губы лопочут без умолку. Длинный загнутый носик похож на клюв. Выпуклые черные глаза блестят.

Все трое братьев Теи открытого, насмешливого нрава. Все трое играют на пианино и на скрипке, когда вместе, когда порознь. Бывает, участвует кто-нибудь еще из друзей: подпевает, насвистывает или переворачивает страницы нот. Мы часто ставим пьесы, играем в живые картины и для этого перерываем все шкафы и ящики. Теина мать вытаскивает старомодные платья. Можно задрапироваться в цветастые покрывала. Все сгодится. Мне так вообще достаточно набросить на голову белую простынку. Не знаю почему — из-за длинных волос или больших глаз? — мне всегда достается роль невесты или мадонны.

Стоит переступить порог их дома — и я меняюсь. Музыка, музыка... И птицы — уже в прихожей. Птицы повсюду, как и горшки с цветами. Парочки, целые семьи в клетках, развешанных по стенам и расставленных по столикам. Посреди комнаты под потолком красуется, раскачиваясь на жердочке, попугай. Все воркуют, щебечут, чирикают. Заливаются наперебой. Весь этот гвалт встречает гостя при входе. Еле услышишь, как с тобой здороваются.

Со двора доносится лай пса Маркиза. Он всех знает. Но, кто бы ни пришел, каждый раз обнюхивает со всех сторон. Узнает он меня? Я ведь не видела его все лето. А птицы? Зову их свистом. Сейчас войду — они приветственно забьют крыльями, а просуну палец — будут его поклевывать.

Да почему никто не открывает? На меня начинают косо поглядывать прохожие: топчусь тут под окнами, как дура. Сколько можно ждать!

Хотя я в общем-то не спешу. Стоит лишь подойти к дому, и я уже у них.

Не может быть, чтобы в такое время никого не было. Отец Теи — знахарь, но такой умелый, что его держат в городе за врача. Без доктора Брахмана не обходится ни один заболевший еврей. И он всегда вылечит: в одном случае подберет в самый раз лекарство, в другом подарит на прощанье добрым словом, будто из кар-

мана вынет. Довольные родственники жалуют полтинник.

Любят его и крестьяне. Приезжают даже из отдаленных деревень, особенно в базарные дни. Привозят кто телку, кто свинью, а кто и больного ребенка.

Мать и дитя, закутанные в один платок, составляют одно целое, вид у обоих страдальческий. Бывает, привезут больного старика крестьянина. Тот сидит, виновато съежившись. Тупо уставится в пол. Задремлет. Вдруг встрепенется и будто через силу сплюнет.

Обычно крестьяне приходят все скопом и еле помещаются на диванчиках и стульях в коридоре. Они бы охотнее расположились на полу. Стулья — роскошь для богатых. Зато птицы напоминают о деревне, лесе, саде.

Чего только не нагляделась Тея! Открытые и гнойные раны, запавшие плачущие глаза — Тея на приеме, каждому надо улыбнуться, каждого подбодрить, попросить подождать.

Впрочем, они и сами знают, что в приемной уже есть городские пациенты, которых ее отец принимает в первую очередь.

— Папа сейчас освободится.

Крестьяне обрадованно встают, суют Тее корзинки:

— Ну-ка, барышня, отдай мамаше — свеженькие яички.

Расплачиваются вперед. Может, так скорее позовут.

К вечеру ни одного больного в доме не остается. Доктор Брахман едет с визитами по домам. Кучер закладывает лошадь, и доктор колесит по всему городу. В промежутке между посещением больных заглядывает к приятелю в добром здравии. А что такого?

Говорят, доктор Брахман любит сыграть в картишки, опрокинуть стаканчик. В свое время гулена был знатный. Это и теперь видно по красному носу и мешочкам под глазами. Но глаза за стеклами пенсне глядят ясно. Хрипловатый голос часто рассыпается смехом.

Я все стою перед дверью. Доктор, наверное, объезжает больных. А госпожа Брахман и Тея отдыхают — от пациентов, от бесконечной беготни к дверям — одного впусти, другого выпусти. Не слышат они, что ли, как я стучу? Стучу же! В звонок я у них никогда не звоню. Иначе госпожа Брахман подумает, что это больной, и крикнет: «Доктора нет дома! Приходите завтра утром!»

В чем дело? Вот лает собака. Узнала-таки меня. Какая ни на есть старая, но собака! А если Маркиз дома, значит, дома и Тея. Она всюду берет его с собой.

Как же она не чувствует, что я здесь, под дверью? Или она от меня так отдалилась? Она не видела меня целое лето, а я все это время думала о ней. Мне не хватало ее в незнакомых больших городах. Я общалась там только с мамиными знакомыми, а они все ее ровесники. Детей ни у кого не было. Я хотела рассказать Тее, как грустно бродить одной по заграничным бульварам. Дома там ужас какие высокие — приходится задирать голову. Как удивляли меня цветы, что растут прямо посреди улицы. Целые площади — настоящий цветочный ковер. Лошади и экипажи их объезжают. Цветы благоухают, и никто их не рвет. Тея будет в восторге. Она так любит цветы — всегда прикалывает в волосы и на платье. Эх, видела бы Тея этих лошадей и эти экипажи! Наши извозчики с такими бы не справились. А тамошние... их и не разглядишь, только остановишься, а он уже проехал. Успеешь заметить плащ да перья на шляпе. Я все старалась рассмотреть лица, но утыкалась глазами в сияющие ботинки: черные, коричневые, красные, — парящие над тротуаром.

Видела бы Тея, как ветер сорвал с одного прохожего соломенную шляпу! Шляпа взмыла. А прохожий?

Вроде бы только что шел со мною рядом, и вдруг его словно оторвало от земли и он тоже взлетел. Я потеряла его из виду. А вокруг никто ничего не заметил.

Скорей бы рассказать Тее про витрины магазинов, перед которыми можно было стоять и глазеть часами.

То, что выставлено, подчас было гораздо интереснее того, что продавалось внутри.

— Мама, мама, посмотри, что здесь есть! Можно купить всем подарки!

Ой, мама, целое дерево из носовых платков! Гляди, на витрине невеста!

— Оставь меня в покое! Здесь с ума сойдешь. Кому нужно столько барахла! Пойдем обратно! Я боюсь, ты опять забудешь, как называется наша гостиница. А улицу помнишь?

В витрине красовалась зеленая тирольская пелеринка и к ней шляпка с перышком в тон. Какая прелесть!

— На что это похоже — ни с того ни с сего вырядиться в зеленую пелерину! — втолковывает мама.

Сегодня эта пелеринка у меня на плечах. Как она понравится Тее? Перышко торчит на голове, как птичка. Сразу видно, что вещь заграничная. Поди найди такое в Витебске! Мне кажется, весь город смотрит на мою шляпку.

— О, с возвращением! Как провела лето? Какая красивая шляпка! Носи на счастье! Чего только нет за границей!

Если бы я останавливалась на улице с каждым, кто со мной заговаривал, то не дошла бы к Тее до завтра. Но она что-то не торопится со мной увидеться. Как надоело ждать!

Показалось мне, что ли? В окне, кажется, засветился огонек. А вот и Тея! Пробегает через гостиную, исчезает, появляется снова, идет к пианино. Будет играть? Задумчиво открывает крышку. Не случилось ли что-нибудь? Неизвестно. Тея может сама себе придумать горе и переживать его. Ей скучно, когда все тихо и мирно. Она стоит спиной к окну. Что там у нее сегодня? Меня разбирает любопытство, и я окликаю ее:

— Тея!

Она вздрагивает, как пораженная громом. Испугалась? Чего? Не узнала мой голос? Или ждала кого-то другого? Наконец она подбегает к окну.

— Белла, ты? Когда ты вернулась? Ты меня испугала.

— Вот глупая, да что с тобой? Впусти же меня!

— О! Какая прелестная пелерина! Откуда такая?

— Тебе правда нравится?

Мы обнимаемся, и она прижимает меня к себе дольше обычного. Кажется, вот-вот расплачется.

— Теинька, дорогая! — Я крепко обнимаю ее, потом вглядываюсь в лицо. А она дрожит, словно боится выдать какую-то важную тайну.

Может, она мне не рада? Прежде наглядеться не могла, а сегодня? Нет, что-то произошло, что-то, чего я не знаю. Вот почему она так долго не открывала. Жду, чтобы Тея призналась, и, не дождавшись, начинаю говорить сама:

— Представляешь... — Рассказываю одно, другое, но все словно падает в пустоту.

Мы прошли в столовую. Тее явно не сидится на месте. Мне обидно: ей что же, совсем неинтересно меня слушать? Раньше-то в рот смотрела... Все равно продолжаю говорить. Тея молчит, и я боюсь этого молчания.

Тени от листьев на занавесках становятся все гуще. Уже вечер. Тея меня не слышит. Слова повисают в воздухе, как стекляшки на громоздкой люстре. Сейчас она выключена, потолок сливается с темнотой. У меня такое чувство, будто мы не одни... Мне становится не по себе. Стебли растений на столиках и подоконниках стали еще длиннее, цветы напитались тьмой. Я так и слышу их вдохи и вздохи. Вот встрепенулась и закричала разбуженная птаха. Я обернулась.

Темноту прорезала полоска света. Я прислушалась. Кто-то пришел? Тея еще больше потемнела лицом. Хоть бы что-нибудь вымолвила! Почему она молчит? Она такая разговорчивая, а тут сидит как придушенная, ни слова сказать не может. Только облизывает свои и без того влажные губы. Украдкой, чтобы Тея не заметила, приглядываюсь к ней. За лето она, кажется, еще

пополнела. И без того была широкоплечей, лицом — не то девушка, не то парень, крутой лоб, жесткие прямые волосы заплетены в тоненькую девчоночью косичку. А сейчас блеклых тонов платье сидит в обтяжку. Сильные ноги. Она и раньше стеснялась, какие они у нее большие. Бегает Тея быстрее мальчишек, бывает, что и собака за ней не угонится. Влажные, вечно засунутые в карманы руки тоже крупнее моих. Пожмет — так чуть пальцы не раздавит. Веселая, общительная, готовая петь без умолку. Шуточки у нее хлесткие, сочные. И за это ее только больше любят. Тее нравится компания мальчишек, она то целует ребят в губы, то дерется с ними. К девушкам же относится с нежностью. Может часами любоваться длинной шеей или красивыми руками. Но иногда вдруг жизнерадостность мгновенно гаснет, тоска обволакивает Тею черным покрывалом, она ходит и хриплым голосом напевает что-то мрачное.

Есть ли что-нибудь, чего Тея не умеет? Она играет на пианино, в карты, говорит по-немецки, знает наизусть поэтические новинки. И сама пишет. В пространных посланиях на исписанных со всех сторон листках, которые я от нее получала, всегда были последние стихи. Вслух она читает их сдержанным голосом. Жалко смотреть, когда на Тею обрушивается меланхолия.

Может быть, в этом дело? Что ее так терзает? Разве мы не подруги? Каждый год вместе переходим из класса в класс, у нас общие заботы, общие радости. Хотя глаза, руки, сложение — разные.

Почему же сегодня она от меня таится? Что-то скрывает!

— Ой, Тея! Я чуть не лопнула со смеху... Жалко, что тебя не было... Вот послушай...

Мне хотелось, чтобы она наконец рассмеялась.

Но Тея с вымученной улыбкой роняет:

— Ну-ну... — И смотрит на дверь отцовского кабинета.

Кто там? К чему она прислушивается? Ее отец в это время в городе, навещает больных. Может, там, в двер-

ном проеме, маячит чья-то тень? Мне страшно. Смех застревает в горле.

Кто же, кто там? Кого она прячет? Дверь бесшумно открывается. Мне словно обжигает спину огнем. Но я сижу как пришитая и боюсь обернуться. Огонь все ближе. Пробегает по стене. Наконец я вижу лицо юноши. Белое как мел.

Откуда он взялся? Я его никогда не видела. Он не похож ни на друзей Теиных братьев, ни на кого. Ступает как-то неуверенно. Со сна, что ли? Поднял руку и забыл опустить. Она так и застыла крючком.

Что он хотел сделать? Поздороваться со мной? Или ударить? Может, я потревожила его сон? А с чего это он тут спит среди бела дня? Голова у него всклокочена. Спутанные кудрявые волосы рассыпаются, падают на лоб, закрывают брови и глаза.

Когда же глаза проступают, оказывается, что они голубые, небесно-голубые. Странные глаза, необычные, продолговатые, как миндалины. И каждый глаз смотрит в свою сторону, точно две разъезжающиеся лодки. Такие я видела только на картинке в книжке про хищников. Рот приоткрыт — то ли хочет заговорить, то ли укусить острыми белыми зубами. И все в нем напоминает зверя, застывшего, как сжатая пружина, и готового в любой момент прыгнуть.

Ему хочется потянуться, размять руки и ноги, он их сгибает и разгибает. И все смеется. Приснилось что-то смешное? Или это я его рассмешила?

Мне вечно кажется, что надо мной смеются. Наверное, ему приятно видеть мой испуг.

Я сердита на Тею: как она могла так меня одурачить? Почему сразу не сказала, что у нее чужие? Я наболтала столько глупостей. А он все слышал и теперь хихикает. Нет, какая наглость! Смеется мне прямо в лицо!

Понимаю теперь, почему Тея молчала и предоставляла говорить только мне. Ей было неловко, что у нее



оказался молодой человек. И она его стеснялась. Кто он такой? Я совсем теряюсь, не знаю, как себя вести.

Вскочила и стою в растерянности посреди комнаты. Мне хочется поскорее убежать от Теи и ее странного приятеля. О чем это он задумался? Лоб прорезала глубокая складка. Вот он подходит ко мне. Я опускаю глаза. Мы оба молчим. Каждый слышит, как у другого бьется сердце.

Нет, больше не могу.

— Тея, мне пора. — Я с трудом разлепляю губы. Голова пылает.

— Почему? Куда вы? У вас такой красивый голос! Я слышал, как вы смеетесь!

Он заговорил! Заговорил со мной! Не испугался повисшего молчания! Я умру! Ничего не понимаю — он же меня не знает! Что он сказал про мой голос?

Я смотрю на Тею.

— Понимаешь, это тот художник... Ну, я тебе говорила... — Тея наконец оживает.

Я вспыхиваю, как будто это меня застали на месте преступления. А Тея, может быть, чтобы скрыть смущение, пускается в длинные объяснения. Оплетает меня нескончаемой словесной нитью.

— Да... Да? — Я не знаю, что сказать. Паутина стягивает все крепче. Слова взбегают по рукам, к плечам и шее, щекочут, душат меня. Наконец я подхватываю шляпу, пелерину и выскакиваю на улицу.

Уф! Свежий ветерок обдувает кожу. Я прихожу в себя. Снова чувствую легкость в ногах и бегу. Но лицо молодого человека неотвязно преследует меня, вот он дышит рядом, в ушах звучит его голос. Прогоняю его с одной стороны — он прицепляется с другой.

В нашем кружке мелькало несколько художников, но такого лица ни у кого не было.

Виктор, например, совсем не такой. Красивый, обаятельный, с почти по-женски нежными чертами. Но его красота — точно горький шоколад — такая же отталкивающая, как его картины.

Мне казалось, что настоящий художник должен открывать и дарить людям вместе со своими творениями свое сердце. Но из тех, кто мне встречался, ни один и пылинки не мог сдвинуть. Каждый души не чаял в себе самом и собой любовался: «Поглядите, каков я!»

Этот же, чей образ гонится за мной, похож на блуждающую звезду. Она неуловима. То просияет пронзительно-холодным светом, то затуманится и скроется из виду. А имя! Носить такое имя! Как перезвон колоколов!

По виду крепкий, широкоплечий, а ног будто нет, воздушная шевелюра несет его, словно крылья.

Или нет. Не так легко его оторвать от земли. Не разберешь. Вроде бы робкий. А так смеется...

Обычно с молодыми людьми мне неловко. Все время хочется спрятаться, чтобы они на меня не смотрели. С ним же...

Эти зубы впиваются в меня на расстоянии. Такие острые!

Скорее бы добраться до дому! У меня там недочитанная книжка. Нырну в нее и буду читать, читать. Далекие, но дорогие существа ждут на каждой странице. Их голоса, их шаги живут в межстрочье... Но голос того юноши не смолкает в ушах.

Какие у них с Теей отношения? Давно ли они знакомы?.. Да нет, мне почудилось... Я треснула, как льдина по весне под первыми лучами солнца.

Теперь вспоминаю, Тея действительно рассказывала мне, что Виктор познакомил ее с одним художником, своим другом. Так это он? Кажется, она говорила, что он беден, так беден, что у него нет даже комнаты для работы. Чтобы писать картины, он забирается в кухне на печку. Домашние боятся, как бы он не перепачкал все своими красками. И единственное место, где он никому не мешает, это печка, там он и сидит, рядом с кадками и квохчущими курами.

А когда слезает, сестры выхватывают у него из рук готовый холст и протирают им свежевымытый пол.

Тея, скорее всего, бывала у него. А меня почему не брала с собой? Мне тоже было бы интересно увидеть дом, где он живет, печку, на которой пишет.

Удивительно, как Тея умеет хранить секрет! Она всего один раз обмолвилась об этом художнике. Что еще она о нем знает? Я бы тоже хотела узнать побольше... Судя по дружескому тону, они часто встречаются.

Какая же я дура! Как сразу не догадалась! Сидела, болтала и только мешала им. И ведь по Тее было видно, до чего я некстати. Мне бы заметить и оставить их в покое. Теперь все пропало... Тея, наверное, на меня сердита... А он... Вышел, пошутил — и до свиданья!

Но как я могла догадаться, что ее ждал молодой человек? И что я ей, чужая?

Да нет! Ну отдыхал он в приемной доктора Брахмана, подумаешь! Если работать ему приходится на печке, то, может, и выспаться особенно негде.

У доктора стоит длинный диван, обтянутый черным, липким, как тина, молескином. Днем на него ложатся пациенты, а вечером он свободен. Должно быть, юноша прилег и задремал.

А Тея, видя, что он уснул, смутилась и вышла в гостиную, где я ее и заметила с улицы. Есть из-за чего волноваться: молодой человек зашел в гости, ни с того ни с сего заснул и Бог весть когда проснется! А ведь в любую минуту может вернуться мать. Что она скажет?

Неизвестно, чего ждать от такого парня. Какой он? Как только я начинаю об этом думать, передо мной возникает нечто разноликое. Лики, соскальзывая, сменяют друг друга: то блестящие глаза и ослепительные зубы — изнутри бьет свет; то те же черты накрывает черная тень, свет погас. И я больше ничего не вижу...

Ах нет! Ведь он похож на самого настоящего дикого зверя. Этот пристальный, голодный взгляд. Прыгнет с кошачьей гибкостью, нацелится в полете... Пощады не жди...

Но чего ради все время думать о нем? Я его больше не увижу. Мало ли молодых людей я встречала у Теи. И каждый — посмотрит, и до свиданья.

Однако это до странности неподходящая пара. Возможно, их влечет друг к другу, но каждый тянет в свою сторону. Я не ожидала, что он так молод! По Теиным рассказам о том, как он живет и работает, я представляла его себе горбатым — целыми-то днями сидеть согнувшись на печке. Она еще говорила, что его картины очень значительны. Все это как-то не вяжется с молодостью.

Тея восторгалась им. И все твердила, что надо ему помогать, надо его спасать.

Это вообще в ее духе. Она всегда рвется услужить всем знакомым художникам. А как-то раз и вовсе сказала:

— Понимаешь, мы должны им помогать. Ты не представляешь, в каких условиях им приходится работать. В семье их занятия не одобряют. Натурщиц взять негде — слишком дорого. И вот тут мы можем им помочь — можем позировать для этюдов... этюдов обнаженной натуры, — поспешно договорила она.

У меня перехватило дух.

Сумасбродка! Выдумает же такое! Ну, ясно: она обошлась без меня. На что ей такая дуреха, которая от одного слова шарахается!

Иду почти бегом. Хоть бы никто не увидел моего лица, не догадался, о чем я думаю.

И зачем только я пошла к Тее именно сегодня. Могла бы отложить до завтрашнего утра. И не наткнулась бы на этого гостя! По утрам доктор Брахман принимает больных. И этому юноше негде было бы разлечься. Да он и сам, наверное, днем работает.

Ну, хватит! Слава Богу, вот наконец мост. Это полдороги. На мосту можно передохнуть.

Привольная река катит волны во всю ширь. Ее прохладное дыхание остужает мне голову.

Небо, заглядевшись, кувыркнулось в воду. И растеклось там всеми облаками. По небу или по воде плывет вон та лодка вдали? И мне бы распластаться по волнам и подержать в руках тончайшую ткань отраженного облака. Я покрепче вцепилась в перила. Вдруг тень легла между точеных балясин. Может, облака отделились от нижнего неба, чтобы снова взмыть вверх, и по пути застряли в перилах? А это что? Маркиз, собака Теи, лижет мне пятки. Я обернулась. И чуть не вскрикнула.

У меня за спиной стояли Тея и ее знакомый. Откуда они взялись? Я ведь только что ушла, а они остались. И давно они за мной шли? Смотрели сзади и видели насквозь?

Иначе и быть не могло! Вот он опять смеется. Не успела я спокойно постоять на мосту, а они уже тут как тут! Зубы блестят так, будто рот вообще не закрывается. Да и правда, такие тонкие губы не могут прикрыть рта и зубов. Он все еще смеется надо мной? Даже Тея улыбается. Ах так! Что ж, пусть смеются, раз им весело. И Тея еще говорила, что любит меня!

Что им надо? Я ушла, чтобы не мешать, оставила их вдвоем. А уж здесь, на мосту, я, кажется, имею право стоять сколько хочу.

Когда я уходила, они даже не проводили меня до дверей. Довольно обидно. А теперь не могу посмотреть этому парню в глаза. Сейчас они у него серо-зеленые, цвета неба и воды. В реке или в его глазах я плыву? Они с Теей стали по обе стороны. Взяли меня в тиски. Я растерялась и застыла. Вдруг Тея как-то уныло сгорбилась, улыбка ее поблекла. Мне стало жаль ее, захотелось обнять.

— Пошли погуляем вместе! — предложил художник. Странно, стоит ему заговорить, как меня охватывает смятение. Будто каждое слово исходит откуда-то из другого мира. — Посмотрите! Видите вон ту тучку? Как меняется цвет! Жемчужный! А теперь стальной! О, полетела!



Юноша резко поворачивается. Поймать, что ли, хочет? Я оборачиваюсь вместе с ним. Неведомый голос внутри меня вторит его словам, как эхо из глубокого колодца.

Смотрю на тучку: она действительно летит. Пышный пуховый клок. Летит прямо на нас. Обдает холодным ветром. Как будто хочет оттолкнуть. Теино платье совсем померкло. Только что Тея была такой живой, веселой, розовой. Откуда эта печаль? Навеяла тучка? Или она разлюбила меня? Чем же я провинилась?

Не я налила чернотой эту тучу. И я не тянула за язык ее приятеля, не просила их идти за мной. Это ведь его идея?

С чего это мне вздумалось! Наверное, они просто затеяли игру, бегали наперегонки. И невзначай догнали меня.

Тея тяжело дышит. В глазах ее вздулись красные жилки.

Что с тобой, Теечка? Я так тебя люблю! Ты для меня больше, чем просто подружка. Я отдала бы все на свете, чтобы ты радовалась, как прежде. Но что, что я должна отдать? Разве я что-то у тебя взяла? Ведь я, ты знаешь, ничего от тебя не таю. Что ты молчишь — нет сил сносить!

Вот проступает чахлая, бледная луна — точно непогашенный фонарь на рассвете. Собравшись с духом, я выговорила:

— Мне пора домой. Мама ждет.

— Мы вас проводим! — Молодой человек повернулся ко мне, словно мой голос притянул его магнитом.

— Нет-нет! Я спешу! Уже поздно. Меня ждут.

Я не знала, что еще сказать. И наконец, не простившись, бросилась бежать. Только бы вырваться от них!

Не важно, что они подумают. Пусть себе смеются. Может, у Теи исправится настроение.

Я прислушалась: конечно, они опять хохочут. Все еще стоят на мосту или пошли обратно? Повела его Тея обратно, к себе?

Скорее домой и зарыться в книжки! А там все забудется. Да и что забывать? Что за напасть — встречные парни хихикают мне вслед:

— Куда бежите, барышня? Не бойтесь, никто вас не укусит!

Нарочно они, что ли? Нет, им и в голову не приходит, как больно они меня задевают.

А у меня от стыда язык прилип к гортани. Взмокшая от пота, с пересохшими губами, я наконец забилась на подоконник и обложилась книгами.

Легкий ветерок задувал в окно. Вдали дышала улица, река. И снова я шла по мосту. И не книгу, а холодные железные перила сжимали мои руки. Голова закружилась, взлетела с подоконника и догоняет тучку — его тучку... Я провалилась в глубокий сон.

Так моя жизнь влилась в русло жизни другого.

СТАКАН СЕЛЬТЕРСКОЙ

— Пойдем погуляем.

Я умоляю брата.

— Ненормальная! Кто же гуляет в пятницу, так поздно вечером?

— Ну и что, пойдем попьем сельтерской.

Выпить газированной водички — это мой брат Мендель всегда пожалуйста!

— Сельтерской? Тогда другое дело. Давай. Пошли!

Привокзальный буфет Будревича открыт допоздна, даже по пятницам. Мы с Менделем идем по безмолвным улицам, то вверх, то вниз. По холмам, как по лесенкам. Темно и свежо. Все спит. Лавки, дома погружены в темноту, фонари не горят. Только один огонек мерцает где-то сквозь закопченные стекла. И дает больше тени, чем света.

Вот и мост. Лоснится светлая древесина настила. Глаза мои распахиваются до предела. Я жадно глотаю свежий воздух. Небо над головой все в звездах. А под ногами пролегла река. Кажется, поток остановился. Вода, небо — все замерло. Неподвижная луна заночевала в облаках. Не спят только звезды. Они сбежались отовсюду и весь мир перевернули вверх дном. Как оставленные без присмотра детишки, резвятся, толкаются, искрятся и играют со своими отражениями. Если бы хватило дерзости, сорвались бы с небосклона и попрыгали на землю.

Завидев ступающего на мост человека, звезды бросаются вниз ему навстречу, налетают на него, окружают со всех сторон. И человек шагает, отражаясь в звездах.

Мы идем через мост медленно, стараемся не шевелить головой, чтобы не задеть звезды. Боимся наступить на пляшущие лучи. Шаг, еще один — звезды за нами. И отстают, только когда мы сходим на землю. Видно, боятся затеряться в узких улочках над черными крышами. Скорей несутся назад, на открытое пространство над рекой.

Мы же, миновав мост, ныряем в темноту. А с нами и сама улица. Все лавки на ней заперты. Вывесок не различишь. Но я и так знаю: здесь портной, там книжная лавка, напротив угадывается витрина фотографа. Сколько раз я тут разглядывала пухлых младенцев и разодетых дам, целый день жеманно улыбающихся прохожим.

Сейчас лиц не видно, одни черные провалы, только поблескивает, поймав крупицы света, уголок позолоченной рамки.

Вот витрина портного. За закрытыми ставнями спят застывшие манекены в нарядных платьях. А в книжной лавке — стеллажи во всю стену. Сюда мне случалось заходить — спросить подержанный учебник, купить карандашей и перьев.

Мне больно вглядываться в темноту. Скорей к вокзалу, там свет струится длинными полосами и ложится к ногам. Вот и буфет. Гуляющие стекаются к масляным фонарям, точно мухи. Освещенный открытый зал возникает перед нами. В дверях толпятся люди. Входят, выходят. Шум голосов в темноте. Шипенье сельтерской. На прилавке, как на свадебном столе, расставлены стаканы. Вдоль стен в ведрах со льдом колышутся медные сифоны. Холодная медь покрыта мелкими капельками. Стоит нажать на кран, и раздается чих. Газированная вода брызгает струей из носика, со свистом бьет в стакан. Пузырьки вскипают и пенятся. Они щекочут нос, щиплют горло. У Менделя от удовольствия выступают слезы. Он пьет большими глотками, надувая щеки. Кажется, у него изо рта вот-вот хлынет фонтан.

На мой вкус простая сельтерская солоновата. С сиропом вкуснее.

— Тебе какого? Желтого? Красного? — спрашивает служитель.

— А какой слаще?

— Откуда я знаю! Попробуй оба и увидишь!

К потолку подвешены два огромных прозрачных конуса. В одном подрагивает красная густая жидкость, в другом желтая. В один миг вода в моем стакане краснеет и сладкий жар разливается по телу. Мы выходим из буфета чуть осоловевшие. И тут нас останавливает окрик:

— О! Это вы? Здесь? Не может быть! Как это вы так поздно гуляете?

Я чуть не упала, будто меня стукнули по голове.

Кто это сказал? Чей голос? Я его уже слышала...

Отблеск света падает на бледное худющее лицо. Длинные глаза, не закрывающий острых белых зубов рот. Из мрака боязливо выступает фигура.

Боже мой, это он!.. Мой новый знакомый. Откуда он свалился? Голос, как у испуганной птицы. Я бросила взгляд на Менделя. Он этого молодого человека не знает. Уставился на него, вытаращив глаза, и бормочет:

— В чем дело?

На щеке у него, как слезинка, осталась капелька воды. У меня потемнело в глазах. Что подумает обо мне мой брат!

Как жестоко шутит судьба! Ко мне подходит парень, заговаривает со мной, словно мы давным-давно знакомы. И где? Ночью, на другом конце города. Что же будет? Добром это не кончится. Преспокойно стоит рядом, будто уверен, что может делать со мной, что хочет. А я-то почему стою как прикованная? Не его ли я ждала? Не его ли здесь искала? У меня стучат зубы. Да я из-за него потеряю рассудок. И чем я ему помешала — жила себе тихо дома. Сидела на подоконнике, глотала книгу за книгой, людей чуралась, как чертей, даже от братьев с их насмешками отгораживалась занавеской.



И вдруг ни с того ни с сего является этот юноша, поражает меня своими разговорами и нарушает мирное течение моих дней. Что за ночь! Хоть бы скорее рассвело!

Брат знает всех моих подруг, я с ними дружу много лет. Он думает, что я не такая, как другие. Не болтаюсь по улицам. В школу хожу с одноклассницами, а если встречаю их братьев, не останавливаюсь. И вот тебе на — какой-то совсем чужой парень. Совсем чужой: по походке, взгляду, по тому, как одет, по всему виду. Брат пытается припомнить, не встречал ли его на улице. И все думает, откуда он взялся. Может, вообще не из Витебска? Где он живет? Кто его родители?

Что-то говорит мне, что этот юноша не похож на других. Кудрявая шевелюра... или все же обычный художник? Наверное, брат так и подумал. Да, такие иной раз попадались и в нашем городе.

Теперь Мендель рассматривает меня, как будто видит первый раз. Что у меня общего с вольным художником? В глазах обида — сестра изменила.

Все мои братья считали себя старшими по отношению ко мне, я же оставалась для них маленькой девочкой, которая никогда не вырастет. Этакая кукла. Они со мной играли, поддразнивали меня. Даже завидовали: я заканчивала каждый класс гимназии с золотой медалью. Они же должны были ходить учиться к ребе и потому не могли мечтать о светской школе. В их глазах я была почти чудом... И вдруг, на темной улице, я разом повзрослела. Вдруг стала такой же, как прочие девчонки, которых полным-полно вокруг. Да в придачу этот молодец похож на дикого зверя. Вон глаза блестят в темноте...

Между ним и Менделем я чувствую себя неловко. Не знаю, к кому первому обратиться. И вообще в горле ком.

Скажи же ты хоть одно человеческое слово, чтобы мой брат тебя не боялся! — молча молю я. А брат, я чувствую, отстраняется от меня, как будто я стала ему чу-

жой. Не собирается ли он бросить меня одну, на темной улице, с этим парнем? Не побежит ли домой и не выложит новость:

— Представляете? У Беллы есть приятель!

Весь дом переполошится. Сбежится вся родня. Горничные прилипнут к дверям. Ночному сторожу тоже понадобится знать, что за приятель: какой-нибудь проходимец или юноша из приличной семьи? Начнутся пересуды. А самое скандальное, то, что этот приятель художник, Мендель прибережет на потом. Еще и художник! — для уставших за день мозгов это слишком большое потрясение. Лучше подождать до утра и тогда открыть секрет маме. Незачем устраивать ей бессонную ночь. Пусть поспит спокойно. А утром, посреди хлопот в магазине, выдержит и этот удар.

Как я буду смотреть ей в глаза? Как объясню? Скажу все, как есть? Что это знакомый Теи, которого я у нее встретила. Что я с ним не разговаривала, он сам со мной говорит. О чем это? Так, ни о чем. Он только смотрит, а я... а он... ну как все это расскажешь? И потом, у мамы нет времени слушать эту невнятицу без начала и конца.

— Поскорее! Мне некогда. Прекращай эту историю, и чтоб больше я о ней не слышала!

А как ее прекратить? У меня сжимается сердце. Я не хочу огорчать маму. У нее хватает забот с неслухами-братьями. Что ж теперь делать?

Новый знакомец ни о чем не подозревает. Зачем он появился? Зачем бродит по ночам? Кого-нибудь ищет? Или пришел выпить сельтерской? Он что, не видел, что я с братом? Правда, на улице темно, но у него зоркие глаза, он должен видеть как днем. Ему, наверное, все равно. Не уверена, знает ли он вообще, что сейчас ночь. Гляжу и вдруг замечаю, что он сегодня другой. Лицо узенькое, вытянутое — ну точно лис.

На месте не стоит — дергается, вертится. Как будто боится людей. Готов каждый миг сорваться и удрать.

Ноздри раздуваются, дрожат, втягивают свежий воздух.

И это еще не все! Он снова дернулся, переменился в лице и закричал:

— Шея желтая! У вас желтая кожа!

Меня как кнутом стегнуло. Показалось, что всю одежду сорвал ветер и я осталась голой посреди улицы. Все глядят, какая у меня шея, какая кожа... брат подумает невесть что! Пропащая девушка... К ней обращается на улице молодой человек и говорит про ее шею, про кожу. Как он мог их видеть? Не смеется ли он надо мной, блестя своими острыми зубами? И опять краски! Они переполняют его глаза, но зачем же выливать их на меня? Желтая! Где это он видел желтую шею? Рассуждать о моей коже, моей шее в присутствии брата! Да он сумасшедший или пьяный, не иначе.

Рассказывал же он однажды, что его когда-то укусила собака... ну вот и...

Меня душили слезы. Я поднесла руки к шее. И прикоснулась к платью, к стоячему воротнику. Ах да, это же кружево! Я забыла про желтый кружевной воротник.

— Да это кружево, желтое кружево! Вы что, не видите? А еще художник!

Ткнуть бы его носом в этот воротник. Пусть этот горе-художник разглядит, что́ желтое: воротник или шея.

— Мендель, пошли! — Я потянула брата за рукав. — Пошли домой!

Растерянный молодой человек остался один посреди улицы.

НА МОСТУ

Мост для нас — это рай.

Мы вырывались из тесных домишек с низкими потолками, чтобы взглянуть на небо. Улочки так узки, что неба не видно.

Церкви, острые крыши. А под мостом — река. Меж небом и водой просветляется воздух.

Ветер доносит цветочный аромат. Напротив, на левом берегу, большой городской сад. Днем на мосту толпа народу. Идут из одной части города в другую. По улицам шагаешь не спеша. А по мосту летишь стремглав. Несут вода и ветер. Сквозь деревянный настил поднимается прохлада. И совсем не хочется спускаться на землю, на мощеные улочки.

Вечером повисает легкая пепельная дымка. Опоры тонут в воде, зато белеет деревянное полотно моста. Меркнет, превращаясь из голубоватой в серо-стальную, река. По ней прокатываются глубокие, как борозды на пашне, складки. С рокотом бегут вперед и наискось. Иногда вдруг выплеснет волна — сердитый вскрик реки. Кажется, за мной гонится толпа, но никого не видно и не слышно. И вдруг прямо передо мной взлетает шляпа.

— Добрый вечер! Это я! Не пугайтесь.

Приветливый взмах руки мне навстречу.

Опять он. Как он меня заметил? Я совсем одна. Закричать? Но кого звать на помощь? Да и голос отнялся. Что это, закачался мост? Нет, у меня задрожали ноги. Откуда он свалился? Он может подумать, что я его ищу.

Молчу, как будто в чем-то виновата.



Ну почему я не могу спокойно постоять одна на мосту? Он преследует меня. Подкарауливает, куда ни пойду.

— Чего вы боитесь? Вы гуляете? Я тоже. Пойдемте вместе!

Говорит так, будто мы с ним встречаемся каждый день. Видно, не робкого десятка. Уверенный, спокойный голос. И рука не чужая, а мягкая, теплая. Кажется, он не смеется... Я поглядела на него. Вьющиеся пряди выбиваются из-под шляпы. Шевелятся, треплются на ветру, хотят с ним улететь. Он смотрит прямо мне в глаза. Я отвожу взгляд.

— Давайте пройдемся по берегу. Там красиво. Не бойтесь. Места я знаю. Я живу вон там!

Я посмотрела на темный берег. Где-то там его жилье. В ночи теплится огонек. Значит, там он обитает...

Страшно хочется домой, к себе. А ноги не слушаются. Ведет он, и я иду с ним. Он не так нелеп, как мне казалось. Похоже, что со мною рядом шагает крепкий, налитый сталью, как река, мужичок.

Мы спустились с моста по высоким ступеням и словно очутились во рву. Мост повис в воздухе. Речная гладь поблескивает по-змеиному. Совсем рядом спят приземистые домишки.

Здесь он и живет? Ему и сестрам нет нужды ходить гулять на мост. Река сама приходит к ним, к самой двери.

Может, он оттого и не стоит на месте. Скользит и струится с рекою вместе.

— Пойдемте посидим вон там, на бревнах.

Он тут, на берегу, как дома, знает каждую чурку. И даже видит в темноте. Мы натыкаемся на кучу длинных и круглых поленьев. Садимся и тут же скатываемся вниз.

— Мы не упадем в воду?

Для него река — просто много воды. Он нисколько ее не боится. Вода бормочет. Я молчу. За меня говорит



вода. Я бы хотела сказать, что не боюсь темной реки. И тоже люблю гулять по ночам.

Сколько раз поздно ночью стучалась, заглядывая в щелку между ставнями, в окно к подруге. Она меня узнавала. Кто же еще будет стучать в такое время! Она уже была в ночной рубашке, с распущенными косами, собиралась ложиться в постель. Мы долго болтали, пока она расчесывала волосы щеткой. И потом мне было нисколько не страшно возвращаться по темным улочкам. Я добиралась до дому одна.

А что творится у нас дома сейчас? Я так давно ушла. Уже закрылся магазин. Родители и братья ужинают за столом.

— Где же Белла?

Мама смотрит по сторонам. Проглатывает кусок и задумывается... Знала бы она, что я сижу на бревнах, в темноте, на берегу реки и даже не в компании друзей! Со мною рядом молодой человек, незнакомый! Тогда бы мамочка уже, наверное, ничего не смогла проглотить, а только укоризненно покачала бы головой. Представляю, как повлажнеют ее глаза, как она будет бранить меня, поучать...

Волна докатилась до самых моих ног. Бревно, на котором я сижу, покачнулось, и я чуть не упала.

— Что с вами? Почему вы все молчите? Или вас правильно прозвали Царевной-Тихоней?

А я-то думала, что столько ему рассказала!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Помнишь, как-то летним вечером мы сидели у реки недалеко от моста. Вокруг все цвело.

Скамейка стояла на краю обрыва. Внизу, сонно замирая, лениво текла река.

У наших ног в волнистой траве на крутом склоне росли цветы и кусты.

Скамейка маленькая, тесная. Мы оба, склонив головы, глядели на реку.

Сидели и молчали.

К чему слова?

Мы смотрели, как опускалось прямо на нас солнце.

Солнце садилось медленно. Шар сначала долго пульсировал, набирал красноту, сгущался. Потом скользил по небосклону, разбрасывая сполохи, заставляя пламенеть кресты на церквах и весь раскинувшийся вдаль город. Пока наконец, обессиленный, потускневший, не исчезал за горизонтом.

Мы глядели на закат с нашего обрыва, словно вознесенные над округой. Наш берег холмом вонзался в небо, а небо стелилось на другой, низкий. Едва скрывалось солнце, как начинался хоровод разбросанных на западе белых облачков. Они гонялись за робкими звездными искорками и отлавливали каждую. Но вскоре и сами тонули в широко раскинувшейся синей сфере. А мы все сидели, смотрели и ждали. Мы поджидали луну.

Когда же ее выпустят?

Она засияла, стоило чуть отвернуться. Внезапно прорвалась из темноты, сквозь тучи, и зажгла радужный нимб. Тут же все вокруг посветлело.

Но вот она снова спряталась, подернулась темной дымкой. И снова выглянула — сначала глазок, потом профиль — другой глаз так и пропал во тьме.



Лукавая луна жонглировала набегающими облаками и волнами реки, которая сцапала ее, как только она появилась, и все старалась запихнуть поглубже. А может, это она играла с нами? Луна ведь знала, что мы сидим тут ради нее одной.

Ночь становилась то светлее, то темнее... Говорят, каждый рождается под своей звездой... Я повернулась к тебе и неожиданно спросила:

— Скажи-ка, сколько тебе лет? Ты знаешь, когда ты родился?

Ты взглянул на меня так, будто я как раз с луны свалилась:

— Сколько мне лет? Я и сам часто задумываюсь. Отец говорил, что записал меня на два года старше, чтобы моего брата Давида не забрали в армию. Бога, мол, все равно не обманешь, а соврать чиновнику — грех простительный. Лишь бы Давиду не забрили лоб.

— Когда ж ты все-таки родился?

— Хочешь, можно высчитать. Я — самый старший. Следом идет Нюта, старшая из моих сестер. Недавно мама сказала отцу за столом: «Почему ты не займешься Ханкой? — Так у нас зовут Нюту. — Обо всем должна думать я одна. Долго ей еще ждать? Ей же, с Божьей помощью, скоро семнадцать будет. Зайди к шадхену*, ведь мимо ходишь». Если Нюте семнадцать, значит, мне не больше девятнадцати.

— А в какой день ты родился? Это известно?

— Зачем тебе все знать? Скоро состаришься...

— Почему все? Только когда ты родился.

— Кто это знает! Разве что мама. И то навряд ли — столько детей, поди упомни! Правда, когда мы с сестрами ругаемся, они кричат: «Дурак дураком! Кто в таммузе** родился, тот в уме повредился».

Звезды, сбежавшиеся послушать твой рассказ, залились смехом вместе с нами.

---

*Шадхен — человек, занимающийся устройством браков; сват.

**Таммуз — десятый месяц еврейского календаря.

— Знаешь, что я подумала? Ты скажешь, что я дурочка. Может быть, отец записал тебя тем годом, когда ты и в самом деле родился. Но ты страшно перепугался, и понадобилось еще несколько лет, чтобы ты пришел в себя...

— Ты действительно так думаешь?

Ты затуманился. И в тот же миг потемнело небо.

— Я пошутила, ты что, не понимаешь? — Боюсь и улыбнуться. — Ты обиделся?

Сама не помню, как я в конце концов узнала, когда у тебя день рождения.

И когда этот день настал, я с утра пораньше побежала за город и собрала большой букет.

Помню еще, что ободрала все руки, пока рвала в чужом саду через забор какие-то высокие синие цветы. На меня залаяла собака. Я еле ноги унесла, но цветы удержала. До чего ж они были хороши! Остальные я быстренько нарвала на лугу, выдирала с корнями и травинками, чтобы ты лучше почувствовал дух земли. Потом прибежала домой, сгребла все свои цветные платки и шелковые косынки. Даже пестрое покрывало с кровати стащила и отправилась к тебе. И если ты думаешь, что мне было так уж легко тащить все это...

День был знойный. Солнце пекло с самого утра. Улицы раскалились. Камни мостовой источали жар. А чтоб дойти до тебя, надо было пересечь полгорода.

Двери лавок открыты настежь, лавочницы сидят у порогов и дышат воздухом. Все они меня знают, знают, куда я иду, и подмигивают друг дружке:

— Куда эта ненормальная помчалась с узлами?

— Не сбежала ли, сохрани Боже, из дому к своему ненаглядному? От нынешних девушек жди чего угодно!

Хорошо, что ты живешь на другой стороне реки. Напрямик, бегом через мост, а на том берегу я свободна.

Окна домиков вдоль реки закрыты и зашторены. Хозяйки не хотят пускать солнце. Они заняты стряпней, а кухонные окна смотрят во двор. Можно спокой-





но вздохнуть. Чистое небо. Прохладная вода. Река бежит, я тоже, небо догоняет. Опускается ниже, ниже, обхватывает меня за плечи и подталкивает сзади.

В то лето у тебя была своя комната. Помнишь? Ты снимал комнату неподалеку от родителей, у городового. В угловом доме, белом с красными ставнями, похожем на летнюю фуражку хозяина, тоже белую, с красным околышем. Напротив огороженный забором большой сад с церковью посередине.

Ты, наверное, думал, что городовой и Божий храм защитят тебя от всего на свете. И от себя самого. Так?

Я постучала в ставни, они у тебя часто даже днем бывали приоткрыты только самую малость. То ли для тени, то ли чтоб тебя не увидели с улицы.

Открывать выходил ты сам. Хозяин не должен был меня видеть — слишком часто я наведывалась. А тут еще с узлами. Пришлось подождать. Дверь у городового запиралась крепко-накрепко. Тяжелым засовом изнутри. Так быстро не откроешь.

Ты наконец впустил меня и вытаращил глаза:

— Что такое? Откуда ты?

— Думаешь, с узлами, значит, с вокзала? Ну-ка угадай, какой сегодня день?

— Спроси что-нибудь полегче. Я никогда не знаю, какой день.

— Да я не про то... Сегодня твой день рождения!

Ты оторопел. Так изумился, будто я сказала, что в наш городок приехал царь.

— Откуда ты знаешь?

Я мигом распаковала и развесила по стенам свои цветные платки. Один положила вместо скатерти на стол, покрывалом застелила твою кушетку. Ну а ты... ты отвернулся и стал перебирать подрамники с натянутыми холстами. Достал один, установил на мольберт.

— Стой не двигайся!

Я все еще держала цветы. Сначала порывалась поставить их в воду. Завянут же. Но очень скоро про них забыла. Ты так и набросился на холст, он, бедный, за-

дрожал у тебя под рукой. Кисточки окунались в краски. Разлетались красные, синие, белые, черные брызги. Ты закружил меня в вихре красок. И вдруг оторвал от земли и сам оттолкнулся ногой, как будто тебе стало тесно в маленькой комнатушке. Вытянулся, поднялся и поплыл под потолком. Вот запрокинул голову и повернул к себе мою. Вот коснулся губами моего уха и шепчешь...

Я слушаю музыку твоего голоса, густого и нежного. Она звучит и в твоем взоре, и вот мы оба, в унисон, медленно воспаряем в разукрашенной комнате, взлетаем вверх. Нам хочется на волю, сквозь оконные стекла. Там синее небо, облака зовут нас. Увешанные платками стены кружатся вокруг нас, и кружатся наши головы. Цветущие поля, дома, крыши, дворики, церкви — все плывет под нами...

— Тебе нравится моя картина?

Ты вдруг опять стоишь на ногах. И смотришь то на холст, то на меня. То отстраняешься, то наклоняешься к мольберту.

— Еще доделать? Или можно оставить так? Скажи, где подправить?

Ты говоришь как будто сам себе. Ждешь и боишься моего ответа.

— Прекрасно! Ты так прекрасно взлетел... Мы назовем это «День рождения».

У тебя отлегло от сердца.

— А завтра придешь? Я напишу новую картину... И мы опять будем летать...



МОИ ТЕТРАДИ



УТРО

— Башутка! Уже поздно! Вставай! — Служанка Саша подходит к кровати и трясет меня за плечи. Я натягиваю на голову одеяло и отворачиваюсь к стенке. Глаз не открываю — ничего не вижу.

— Еще темно!

— Да ты что, Башутка? Мама давно в магазине. Папа читает молитвы. Вставай скорей, я тебя причешу, а то потом некогда будет.

— Ты мне вчера всю кожу гребнем расцарапала! Не хочу, чтоб ты меня причесывала!

— Не говори глупостей, ты что, собираешься весь день ходить нечесаной? Все скажут: какая растрепа!

— Ну и пусть говорят, мне все равно!

— Башенька! Вставай, вот увидишь, сегодня я тебе не сделаю больно.

Саша держит в руке мою растрепанную косу. Гребень впивается в волосы, дергает за спутанные прядки.

— Саша, хватит, больше не могу!

— Уже все! Не так уж и больно! И я ведь не нарочно — думаешь, легко расчесать такие кудлы, прямо как у барана!

Она слюнявит пальцы и снимает с гребешка застрявшие на зубчиках колечки.

— Злыдня! — Я вырываюсь и убегаю.

По спине у меня спускаются две косы, связанные одной лентой.

В столовой еще стоит самовар.

Родители встают рано. Папа пользуется утренним затишьем, чтобы спокойно заглянуть в священные книги. Он обычно позволяет себе поспать часок среди дня.

Мама же считает, что не имеет права на такую роскошь. Все на ее руках: дети, магазин, дом, служащие и так далее. Она и ночью-то почти не спит.

Ну а братья поднимаются, когда кому вздумается. Мама всю жизнь мечтала, чтобы мы вставали рано, как все люди!

— Вставали бы раньше, не были бы такими бездельниками! А так всю жизнь прозеваете!

— А что в ней можно прозевать?

Самовар кипит с раннего утра. Если он остывает, Саше велят подложить углей. Так что всегда можно попить горячего чаю.

— Саша, есть еще чистый стакан?

— Саша, дай ложечку!

Буфет у нас за спиной, но сам никто не шелохнется.

— Саша, это что такое? Кончилось кипяченое молоко!

Абрашка встает последним и не успокоится, пока кувшин с молоком не придвинут ему под нос. Тогда он снимает пальцами толстую коричневую пенку и, подмигнув нам, отправляет в рот.

Абрашка — первый в доме проказник.

— Мендель, что сегодня на обед?

Флегматичный Мендель принюхивается:

— Пахнет корицей!

— Пошли-ка посмотрим, что стоит на окне!

Оба брата страшные сластены. А Шая два раза в неделю, по вторникам и пятницам, вынимает из печи пухлые, щедро начиненные слоеные рулеты.

— Пусть немного остынут! — Шая осторожно кладет их между рамами. От них идет горячий дух.

Из одного выполз и запекся мак — будто черные песчинки прилипли к маслянистому тесту. На другом, облитом глазурью, поблескивает сахарная льдинка. Этот прослоен творогом, тот — разопревшими тоненькими яблочными ломтиками, и из него сочится золотистый сироп.



Я не успеваю и глазом моргнуть, как все рулеты надрезаны. Подоконник усеян крошками. А мальчишки уже добрались до буфета — там на большой жестяной коробке, полной пузатых сухих печеньиц с корицей и изюмом, разложены посыпанные снежно-искристой пудрой воздушные пирожные. Они хрустят на зубах, липнут к пальцам. И всех этих лакомств не хватает и на неделю.

— Не напасешься на вас! — хватается за голову Шая, когда видит, как быстро опустошается широкий подоконник. — Обжоры! Оставьте хоть что-нибудь и другим!

Тогда братья бегут на улицу купить рогаликов или посылают горничную в польскую кондитерскую за дюжиной пирожков. Да еще и ссорятся из-за них:

— Дай мне, а то пожалуюсь ребе! Скажу, что ты ешь трефное!

Иногда по утрам к нам присоединяется кто-нибудь из служащих магазина. Самовар на столе кипит все утро. Могут зайти и нищие старики, успевшие за несколько часов намять ноги. Заметят через кухонное окно самовар, стаканы, сахар, накрытый стол и остановятся, почесывая спину. Пока кто-нибудь один не осмелится попросить:

— Можно стаканчик чайку, Шая, а? Не откажите... С утра глотка воды во рту не было!

Лицо его морщится от жалости к себе.

— Мне-то что, пейте себе, сколько влезет! Одним бездельником больше, одним меньше...

Нищий подходит к столу, споласкивает стакан, наливает чаю.

— Эй, приятель, сколько стаканов выдул сегодня? — поддевает его Абрашка.

Старый еврей смотрит на него поверх очков: шутит он или всерьез? Потом робко улыбается, чуть не роняет блюдце. И поскорей высасывает свой чай сквозь зажатый в зубах кусочек сахара. Старшие братья ругают Абрашку:

— Что ты всех задираешь?

Некоторые бедняки стали такими привычными посетителями, что Саша, прежде чем убрать самовар, соображает, заходил ли уже такой-то и такой-то.

А один, тощий, как гвоздь, не постеснялся бы и один весь самовар выпить. Целый день он проводил в синагоге и у нас за столом. Точно знал, когда Шая ставила самовар и когда уносила. Оставлял свой талес на скамье в синагоге и направлялся к нам пить чай. Если кончалось молоко, шел с пустым кувшином на кухню и клянчил:

— Капельку молока, хоть на стаканчик!

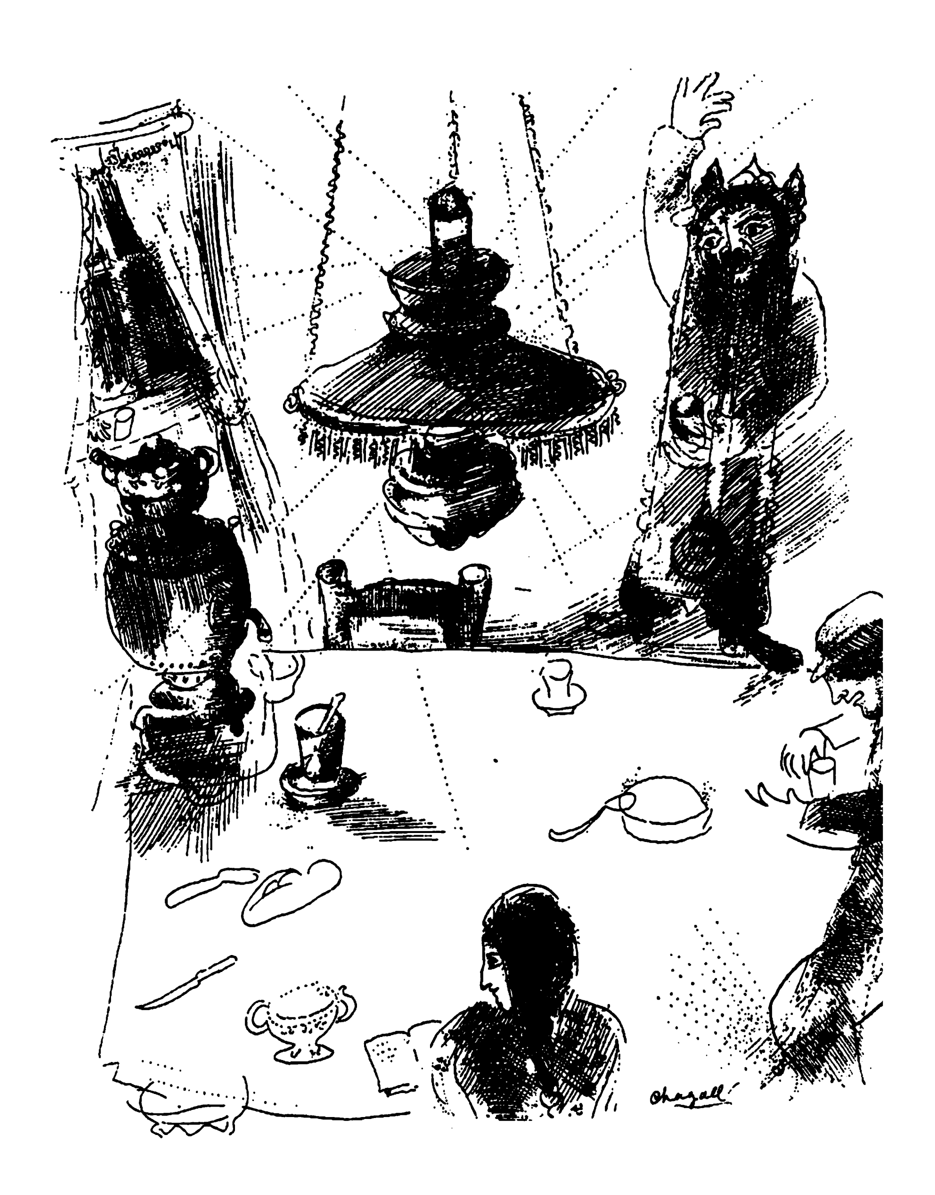
Сделав последний глоток, он еще долго обессиленно сидел и ждал, пока остынет раскрасневшийся нос.

Вдруг дверь столовой распахивается настежь. На пороге стоит черная тень — наш учитель, ребе Шлоймо. У братьев перехватывает горло.

— Встали наконец, лоботрясы? А помолиться не забыли? Ах, не успели? И уже едите! Но хоть благословили пищу? Марш заниматься! Скоро утро кончится!

Сам он почти не спит. Открыв Священное Писание, он способен углубиться в какой-нибудь отрывок на всю ночь. Поэтому глаза у него всегда лихорадочно воспаленные. Еда и питье его мало волнуют. Щуплый человечек порхает по комнате, как маятник. Взад — вперед. Одному из воспитанников он пеняет за оторванные цицит на нижней рубахе, другому — за слишком коротко постриженные волосы. И постоянно переживает, что мальчики недостаточно вникают в Тору.

На миг он задержался у двери, хотя, кажется, может раз — и испариться. Черный потертый до блеска лапсердак повторяет каждый его взмах. С годами одежда все больше обвисает на его иссыхающем тельце. Только ермолка плотно сидит на голове. Все на нем черное. Лицо утопает в темных завитушках, которые смыкаются с дремучей бородой. Край нижней рубахи выступает из-под жилета, как полоска неба из-под туч. Болтаются лазурно-голубые цицит. Ребе Шлоймо берет одну нить и подносит к губам — успокаивает ее и успокаи-


Chagall

вается сам. Учитель живет у нас в доме, но из своей комнаты выходит редко. Некогда! Он весь день изучает Тору. Любимое время у него — ранний час на рассвете, когда во всем доме бодрствуют только двое: он и отец. Вокруг сонная тишина. Они с папой обсуждают затруднительное место или повторяют вполголоса страницу из Талмуда. А утомившись, молча выпивают по стакану чая.

Порой ребе говорит:

— Возможно, я был излишне горяч и несговорчив в споре с реб Шмулем-Ноахом, все-таки он хозяин дома!

Он смущенно встает и идет к себе. Там достает бархатный футляр с филактериями и обматывает ремешком свою волосатую руку. Он раскачивается из стороны в сторону, брызжет слюной, кладет поклоны до боли в спине. Дни для него слишком коротки, поэтому, застав только-только пробудившихся мальчишек, он накидывается на них:

— Что из вас выйдет? Поди научи их чему-нибудь! Только и знают дурака валять! Разве это еврейские дети? Шалопаи! Абрамеле, у тебя скоро бар-мицва, а ты? Ты хоть подумал, что будешь произносить? Одни глупости в голове! Э-э-э! Сил нет терпеть этих негодников! Ох и дети пошли! Распущенные донельзя! И ничем их не проймешь!

Выговорившись, ребе погружается в свои мысли. Заметив это, Абрашка спрашивает:

— Можно я чуточку погуляю во дворе перед занятиями?

Ребе подскакивает, будто под ним вдруг оказалась раскаленная сковородка:

— Удрать надумал, бесстыдник? — И цепляет Абрашку за рукав. — Начинаем урок. На чем мы вчера остановились? — Костлявый палец листает страницы и утыкается в нужную строчку. — Вот! Читай!

Учитель принимается раскачиваться, задавая ритм молитвенного речитатива.

Абрашка напыживается. Буквы пляшут у него перед глазами. Он завороженно следит за тем, как ходит вверх-вниз борода ребе. И вдруг совершенно сбивается. Только старается, разинув рот, попасть в такт колебаний.

— Что такое? Я не слышу ни единого слова!

Классная комната взрывается гневным криком:

— Это же не ребенок, а нечистая сила! Только и знает, что над всеми издеваться! Получáй! — Звенит смачная пощечина. — Погоди, ты у меня узнаешь, как показывать язык ребе! Я оплеухами вколочу Тору в твою дурную башку!

— Ребе, я не хотел! — скулит Абрашка. — У меня болит зуб, и я просто потрогал его языком.

Однако учитель распалился не на шутку, даже руки у него дрожат. Он срывает со стены почерневший от пота ремень, засучивает рукава и хватает Абрашку. Глаза ребе пылают, как во время священнодействия. Миг — и спущены штаны, и кожаная розга хлещет мальчишку по голым ягодицам. Абрашка извивается у него в руках.

— Я больше не буду, ребе! Больше не буду, не надо!

Но ребе вошел в раж, ничего не видит, и стегает, и стегает. Наконец Абрашка вырывается и отлетает носом в пол. Ребе Шлоймо, опомнившись, оседает на стул и бросает ремень. Абрашка кубарем катится на другой конец комнаты. У самой двери, не взглянув на учителя, он вскакивает, подтягивает штаны и бежит прочь.

Но тут же натыкается на отца — лицом к стене, закрыв глаза, он беззвучно молится.

Покрывающий голову талес колышется, как белое облако. Абрашка каменеет, его обжигает стыд. Отец все слышал? Наверное, он подумал: «Учитель знает, что делает, детей приходится пороть. На то они и дети». И снова погрузился в молитвы. Во лбу темной звездой — привязанный кожаный мешочек, другой прикреплен к руке. Это филактерии. Рука, расчерченная тонкими ре-

мешками, поднимается, точно в приветствии. Кожа между ремешками круглится валиками. В другой руке молитвенник, но папа в него не заглядывает.

Перекрывая домашний шум, вдруг раздается мамин голос. Она на минутку оставила магазин.

— Не знаете, где хозяин? Шмуль-Ноах, когда ты, наконец, придешь?

Каждое утро идет проверка платежей по кредитам. Мама боится пропустить срок, у нее всегда мало наличных денег. Требуется папин совет, но папа не шевелится. Его талес застыл, словно повешенный на гвоздь.

— Конца его молитвам не будет!

Мама передергивает плечами. Отец под своим покрывалом слышит ее, но, должно быть, не уверен, сегодняшнее ли это восклицание, или у него в ушах еще звучит вчерашнее. Все те же причитания изо дня в день.

— Из-за чего столько шума? Если денег довольно, хорошо, если нет — можно занять у соседей. Так или иначе, с Божьей помощью всегда расплачиваемся. Зачем же стонать?

Но мама никак не успокоится. Скоро одиннадцать часов. А у нее еще нет всей суммы. Она снова идет в магазин и спрашивает у бухгалтера:

— Скажи, Гершль, сколько мы должны выплатить сегодня?

Флегматичный бухгалтер отрывается от бумаг, поправляет очки на потном носу и принимается листать одну книгу за другой. Палец его пробегает сверху вниз по строчкам, проверяет, выискивает. Не дай Бог ошибиться.

— Сегодня у нас... пятое число... пятое... вот...

— Ривка! — кричит мама кассирше. — Сколько у тебя в кассе?

Кассирша считает наличность с той самой минуты, как открылся магазин. Монетки выстроены столбиками. Она их перебирает, переставляет, считает и пересчитывает. Получается всегда одно и то же.

— Уже без десяти одиннадцать! — Мама не выдерживает. — Что вы всё молчите? Дайте мне платок!

Она бросается к двери.

— Реб Давид, вы не могли бы мне одолжить кое-что на сегодня?

— Сколько вам не хватает, Алта?

— Полсотни.

— Что вы так волнуетесь? Заходите. — Реб Давид растягивает губы в улыбке. — Подумаешь — важность, что за дело между соседями!

Он полон почтения к маме — она управляет таким магазином!

Через минуту мама дома.

— Вот, сынок, тут, в узелке, все деньги. Беги в банк. Осталось всего пять минут. Смотри только не потеряй! В банке полно воров!

Она расправляет спину, как будто сбросила с плеч тяжкий груз.

После одиннадцати начинается настоящая торговля.

ВЕЧЕР

После обеда все расходятся. В доме становится уныло. Поздно вечером по одному возвращаются братья. Папа за столом пьет чай. Услышав, что открывается дверь, он поднимает голову и спрашивает:

— Где ты был?

— Нигде.

Папа отпивает еще глоток и снова спрашивает:

— Кого видел?

— Никого.

— Тогда что же ты делал? — Папа повышает голос.

— Ничего.

Братья пожимают плечами. А папа опускает голову, будто в чем-то виноват, допивает чай и больше ничего не говорит. Братья на цыпочках идут через столовую и, едва закрыв за собой дверь, со всех ног бегут вниз по лестнице в нашу полуподвальную комнату. Здесь, вдали от родителей, от магазина, они затевают грызню — повод всегда найдется.

— Куда ты засунул мою тетрадь? Не пачкай ее, я должен доделать уроки.

— А ты сам берешь мою книгу и оставляешь на ней пятна. Таскаешь сладкое, так хоть бы руки потом помыл!

— Да отстань ты от меня!

Один отталкивает другого в угол, трещат рукава. Книга падает на пол. Все в комнате летит кувырком.

Я не знаю, куда спрятаться. Хватаюсь за спинку кровати. И все равно братец мимоходом щиплет заодно и меня.

— Дурак! Я-то в чем виновата? Я твои книги не брала!

— Нечего путаться под ногами!

И он отшвыривает меня ногой, как клубок шерсти. Я и правда замотана в шерсть и вату с ног до головы. В комнате не слишком жарко. Вдоль стен стоят узкие кровати. Посередине заляпанный чернилами стол. В белой стене проделаны два высоких окна. За ними — две слепые ямы. Окна выходят не на улицу. Они расположены под землей и перекрыты на уровне мостовой решетками, чтобы не свалились прохожие.

Тут никогда не бывает солнца. Даже когда на улице тепло и светло, у нас полумрак. Если и случится полоске света пробиться сквозь решетку, ее тут же заглушают тени проходящих ног. Если идет ребенок, то башмаки застревают в железных ячейках. У такого окошка и сидеть неохота. Что из него увидишь? Утоптанную землю да какой-нибудь тлеющий окурок, а не то плевок. А вечером и вовсе страшно — одна темнота.

— Пожалуйста, закрой окна! — прошу я.

Поворачиваются на петлях и смыкаются две сплошные ставни, просовывается похожая на шпагу железная перекладина и привинчивается сбоку. И вместо окон получилась глухая стена.

— Зажгите лампу. Где она?

— Ты что, забыла? Ее еще утром Саша унесла заправить.

— Тогда разожги огонь в печке.

Белая кафельная печка набита длинными поленьями. Они проложены полосками бересты. Братья улеглись на пол перед открытой печной дверцей. Я протискиваюсь между ними. Береста занимается с одной спички: облачко дыма и тут же заплясали яркие язычки. Кора скукоживается и сгорает без остатка. Пламя же карабкается по поленьям, всасывает капельки смолы. Дерево стонет, трещит, лопается, взрывается фонтанами искр. Огонь все больше, он лижет и пожирает дрова. Они прогорают, истончаются. Пылают раска-

ленные головешки, языки пламени бросают красноватые отсветы на лица мальчишек.

— Абрашка, поди принеси из кухни картошек. Испечем на углях. — Абрашка вскакивает. — А заодно попроси у Шаи селедочку — поджарим.

Наклонившись над печкой, мы ворошим кочергой угли. Нестерпимо горячо глазам.

— Ого! Какую здоровенную тебе Шая дала!

— Как же! Я сам выбрал в бочке!

Крупные картошины перекатываются по горячим углям, кожица на них морщится. А селедка наливается, твердеет, задирает хвост и шипит. Засохшую и почерневшую, мы, обжигая пальцы, вытаскиваем и разделываем ее. Вдруг дохнуло холодным воздухом — открылась дверь.

— Что вы тут делаете в темноте? — Это входит, шурша юбками, Саша. В руках у нее раскачивается горящая лампа. По комнате расходится свет и запах керосина. От лампы, от Сашиной цветастой юбки и румяных щек сразу становится веселее. — Вставайте, ребята! Наверное, уже все прогорело. Я закрою печку, а то тепло уйдет.

Саша отстраняет нас от печки. Обгоревшим дочерна совком выгребает золу. Потом влезает на стул и задвигает вьюшку. Все становится обыкновенным. Что теперь делать? Папа с мамой еще в магазине.

— Башутка, иди поужинай первой. Тебе скоро пора спать, завтра ведь в школу. — Саша тянет меня за руку.

Да уж лучше посидеть с ней на кухне, чем торчать в этой мрачной задраенной комнате. Там хоть лампа посильнее, и свету от нее больше. По стенам развешана начищенная до блеска медная утварь. На столиках стоят тарелки и миски. Шая хлопочет у плиты и обращается к нам, не поворачивая головы:

— Что ты будешь на ужин, Башенька? Сардинку, рыбное филе? — Не ожидая ответа, кладет на сковородку с раскаленным маслом темную рыбину и, как толь-



ко она обжаривается, обливает сверху яйцом. — Посмотри, какая стала желтенькая! Прямо золотая!

Саша ставит передо мной тарелку и не спускает с меня глаз — следит, чтобы я все съела, да еще подает мне сметану. Я тру глаза, хочется спать.

В моей длинной, как пенал, комнате совсем темно. Свет проникает только из столовой. Страшно смотреть в глубину. Там стоят еще кровати. Еле заметно поблескивают их ножки, чуть белеют подушки. Иногда тут спит кто-нибудь из внезапно нагрянувших братьев, или заезжий торговый агент, или мальчик-ученик, который у нас столуется.

Я ложусь раньше всех и накрываюсь с головой — боюсь высунуться в темноту. Слышно, как гудит лампа в столовой. Там ужинают; звякают тарелки, вилки, ножи. Сквозь дрему я определяю по звукам: вот заканчивают рыбу, вот пьют кофе. На пороге длинная тень в профиль — заходит Шая с листком бумаги в руке и ждет, пока мама обернется к ней.

— Что тебе, Шая? — Мама наконец вспоминает, что, кроме магазина, есть еще и дом. — Ну, покажи свои записи. Сколько ты израсходовала?

Шая протягивает ей покрытый цифрами лист и жалуется на дороговизну. Однако ей удалось все купить на редкость выгодно. Мама цен не знает. Она никогда не ходит на рынок. Но качает головой и приговаривает: «Как дорого! Как все дорого!» Шая клятвенно бьет себя в грудь... а я засыпаю.

Просыпаюсь внезапно, в холодном поту. Прислушиваюсь: в столовой тихо. Все спят. Но что-то, кажется, проглядывает во мраке. Меня разбудил скрип кровати. Высовываю голову из-под одеяла и слышу шаги. Или это сон?

И вдруг прямо перед собой вижу белого черта. Ноги его тонут в темноте. Длинные руки болтаются по сторонам раздутого, как бурдюк, брюха. Я ныряю под одеяло. Почему он так близко от моей постели? Никогда я его не видела у себя в комнате, вот так, в испод-

нем. Он такой страшный, в длинной рубахе. Я хочу закричать. Но этот малый отступает назад и бледнеет.

И только скрипит его кровать.

Мне больше не уснуть. Не шевельнулось ли его одеяло? Я боюсь закричать и разбудить весь дом. Когда же утро?!

— Мама, мама? Знаешь, что было сегодня ночью? Я видела...

— Не стыдно тебе? Большая девочка, а выдумываешь такую чушь! Одевайся скорей и отправляйся в школу...

Я обиженно поджимаю губы. Но уже начался новый день.

СЛУЖАЩИЕ

Бывает, папа с мамой ненадолго отлучаются и говорят мне: «Башенька, присмотри пока за магазином».

Я залезаю на высокий мамин стул. В магазине работает много людей. За кем я должна присматривать: за ними или за покупателями?

Продавцы то и дело проходят мимо меня. Кто легонько ущипнет, кто схватит за руку, кто за ногу. Каждый старается зацепить и подразнить. Я кричу. А они толкают мой стул.

— С ума вы там посходили? — Мама влетает в магазин. — Дела у вас другого нет, как только дурака валять с Башенькой? Нашли место! Вся торговля стоит! А ты чего пищишь, только их раззадориваешь? — накидывается она и на меня. — Ладно, тихо, дайте мне немножко отдохнуть.

И она снова выходит. Продавцы распаковывают и запаковывают какие-то пакеты и свертки. Шуршит шелковистая белая бумага, оборачивает золотые кольца, брошки с разноцветными камнями — они так и сияют, так и исходят желанием вырваться из бумажного плена.

Их без конца извлекают на свет, проверяют, все ли на месте, и прячут завернутыми еще и в толстую серую бумагу, чтобы не украли воры. Но хотя при магазине постоянно дежурит сторож, от воров, особенно если они есть среди своих, ни за что не уберечься.

У нас все служащие работают уже много лет. Они здесь выросли и выучились.

Самый старший, черноволосый холостяк Шоня, каждый раз при виде меня распахивает рот — обычно плотно закрытый, — улыбается, и усы его разъезжают-

ся в разные стороны. Его темные глаза никогда не оживлялись веселым блеском, они подрагивали, как мертвая вода, из которой, казалось, он только-только достал свои влажные руки. Чуть прикоснувшись к ним, я поскорей отдергивала свою.

Тихоня, он разговаривал только с посетителями, да и то нечасто и коротко. Обычно же напоминал сосуд, наполненный молчаньем до краев. По замкнутому лицу не поймешь, какие мысли бродят под низким, самшито-глянцевым лбом, но, верно, какие-то нехорошие. Выдавать их он стыдился. Знали только одно: он искал невесту.

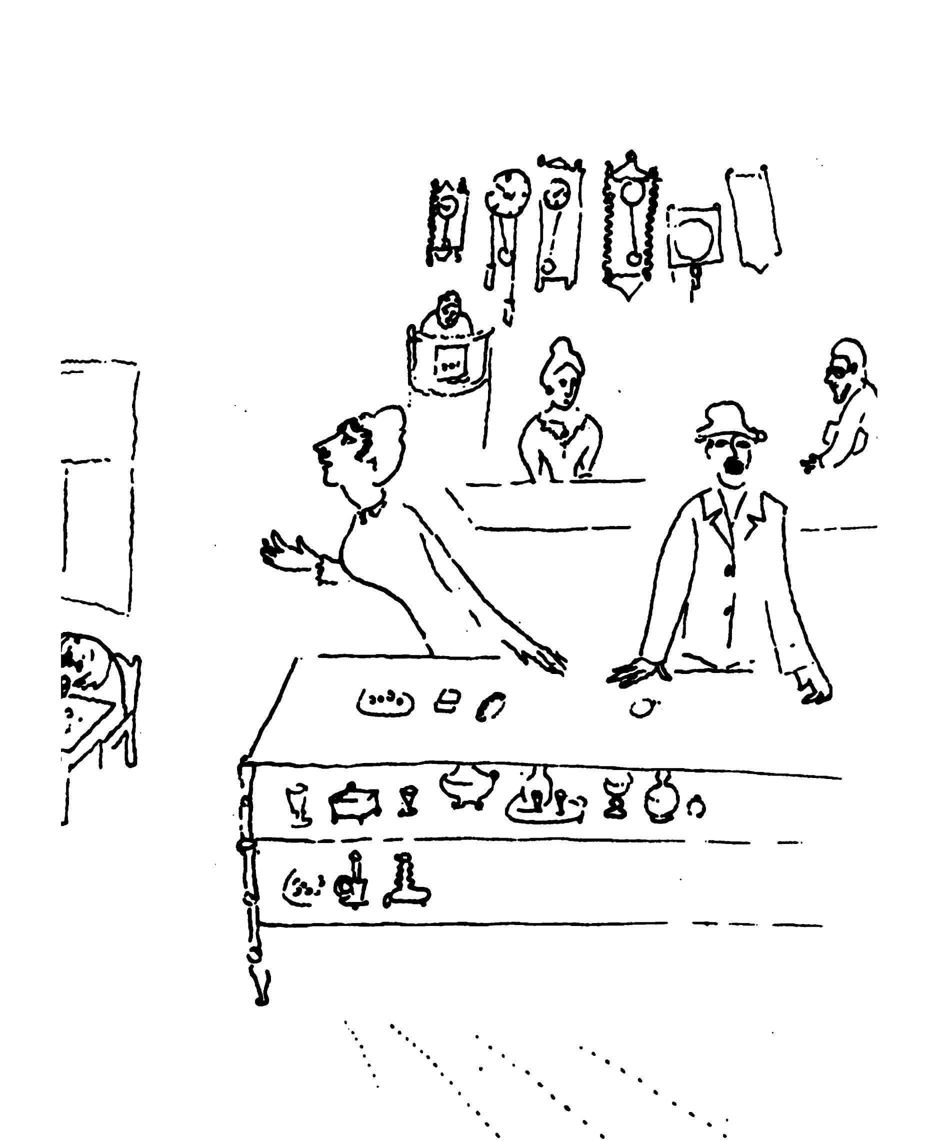
Каждый вечер, перед уходом, он, напустив на себя меланхолический вид, достает из кармана фотокарточку последней указанной сватом девушки и умоляет моего брата Якова составить для него складное письмецо. Девушки, что ни день, разные. Если Якова нет дома, он усаживается за стол и переписывает своим крупным почерком послание из письмовника.

Зато другая работница, Роза, трещит без умолку. У нее громкий голос, пышные волосы, манера высоко держать голову — никого не боюсь! Ее и правда лучше не задевать. То она о чем-то тараторит, то обворожительно смеется. Если же в магазин заходит молодой офицер, принимается ворковать, демонстрирует ему, помимо товара, перлы остроумия. Блестит глазами и перстнями. Может, хочет, чтобы он смотрел только на нее и больше ни на что? Драгоценности в витрине переливаются вместе с ее смехом. И офицер попался: покупает то, что собирался, и то, на что его подбила Роза.

Хоть работы всегда хватает, продавцы убивают время почем зря. Как, например, вон тот белокурый шалопай. Уж он-то не переутомится: его дело — заворачивать и разворачивать футлярчики, но он предпочитает играть со мной.

— Башенька, иди сюда, хочешь, покачаю на коленях?

Он вытягивает длиннющие ноги и шевелит пальцами, приманивая меня. Потом подкидывает меня на ко-



ленях, как на качелях. Но тут я вижу его сальные волосы и соскальзываю на пол, а он остается сидеть в неуклюжей позе.

Торговый агент Авремль поступил к нам совсем зеленым. У нас и жил, робкий такой, обидчивый малец. Как-то незаметно он расцвел, осмелел и превратился в высокого, щекастого, бойкого молодого человека с буйной шевелюрой, широким ртом и торчащими зубами. Запросто возьмет да и съест меня — страшно.

Кассирша Ривка вечно трясется над своей кассой. Бедная, невзрачная девушка, она никак не может привыкнуть, что через ее руки проходят внушительные суммы. Все проверяет, пересчитывает монеты, щупает кредитки — не фальшивые ли. Трепеща, получает деньги, трепеща, дает сдачу.

Бухгалтер Гершль сидит в темной подсобной каморке, ко всем спиной. Кто и когда видел его в лицо?

Безмолвный, похожий на свои солидные учетные книги, вместо глаз — очки. Ноги длинные и тощие, точь-в-точь карандаши, вроде тех, что он таскает заткнутыми за ухо. Цифры выскакивают из-под его пера, тонкие черточки усеивают бумажные поля. Он бдительно за ними надзирает. Недоглядишь — исчезнет и товар.

Когда наступает время подводить итоги, он обкладывается большими книгами и, точно генерал, производит смотр колоннам оприходованных поступлений, шеренгам подсчетов. Все подытоживает, вычисляет годовой оборот, расход, убыток, прибыль.

Ничто не ускользнет от его очков. Душой и телом он предан работе. Взвивается из-за копеечной недостачи, переживает малейшую пропажу. Докладывает о них моим родителям как о чудовищной катастрофе.

Но есть и темные пятна.

Неразговорчивый Шоня, прослужив у нас двадцать лет, в конце концов нашел невесту и на приданое открыл свой магазин, где торговал украденными за эти годы у хозяев вещами.

ПРОГУЛКА С ПАПОЙ

Папа терпеть не мог возиться с мелкими покупателями. И когда кто-нибудь входил в магазин, если только это не была важная титулованная особа, он и головы не поворачивал в его сторону. Зато с купцом, приехавшим издалека за целым гарнитуром, вел долгие светские беседы.

Чаще всего он почему-то неподвижно стоял около сундука. Бледное лицо выделялось в полумраке магазина. Голубые глаза туманились. Отчего? Мне казалось, что он совсем забыл обо всех нас, своих детях. И может быть, думает о прочитанной утром странице Талмуда.

Его массивная фигура не сливается с магазинным фоном. Я никогда не боюсь его и чувствую себя рядом с ним в полной безопасности.

А иногда вдруг он менял место и становился на пороге. Все прохожие почтительно с ним здороваются. А он отвечает, мечтательно глядя в небо. Или высматривает там первую звезду? Я стою за спинкой его стула, как маленький зверек.

— Слушай, Башка, а не отправиться ли нам на прогулку? Иди-ка одевайся.

Упрашивать меня не надо. Я мигом убегаю и возвращаюсь, напяливая капор. Обожаю кататься в коляске. До того, что, когда кто-нибудь из служащих едет на вокзал отправить с поездом посылку, умоляю его: «Возьми меня, я сяду сзади, где угодно, ну хоть чуть-чуть прокати!»

А уж ехать за город с папой — все равно что уезжать в другой мир...



Удобно откинувшись на сиденье, мы покачиваемся вместе с коляской и молчим. А мне кажется, поем-заливаемся.

Вскоре кончается звонкая булыжная мостовая, колеса утопают в песке. И мы забываем про город, мы убежали из него навеки.

— Возвращаемся, реб Шмуль-Ноах? Вы еще не устали? — оборачивается к нам извозчик и прерывает наши мечтанья. Папа никогда не отвечает. Кучер сам решает, сколько времени хозяину можно гулять. Он разворачивается и правит домой.

Из коляски папа спрыгивает бодрый, повеселевший. В глазах сгущается голубизна. Чуть розовеют щеки. А мне не хочется выходить, вот бы извозчик провез меня еще, хоть до стоянки!

— Вылезай, Башенька, идем домой!

ЧАСОВЩИК

Когда надоедает торчать дома, я иду в магазин. Там всегда интересно, как на свадьбе. Надо только найти где пристроиться, чтобы не путаться у всех под ногами.

В магазине тесновато, и меня гоняют с места на место.

— Ну что ты тут крутишься? Иди домой, тут без тебя дел хватает!

— Дома никого нет, я боюсь.

— Как никого? А Саша? Она с тобой посидит.

Поджав губы, я ухожу, но не домой. Перебираюсь к часовщику, вплотную к его столику. Вот тут меня никто не трогает. Я в стороне от всех, и сердитые клиенты не обращают на меня внимания.

Часовщиков двое: отец и сын, и мне больше по душе старый мастер. Их рабочие места прямо за витринами магазина. Я прячусь под угол стола. Перед носом у меня большая железная гайка. Стол старый-престарый, кожаное покрытие пересохло и потрескалось, дерево облупилось.

Повсюду горки мелких опилок. Дунешь на них — запорошит глаза.

На столике уйма винтиков, колесиков, часовых корпусов, позолоченных циферблатов, стрелок, пружинок, тонюсеньких проволочек-волосков.

На дальнем конце залежи похожих на детские глазенки круглых стеклышек. Все аккуратно разложено, все перед глазами, все плотным слоем, как полоска намытой морем гальки.

Для часовщика каждая деталька — драгоценность, над каждой он дрожит. Мне не дозволяется ничего брать или трогать. Замираю, как та гайка.

Простоев у мастера не бывает. На него обрушиваются нескончаемые жалобы клиентов: часы бьют невпопад, по собственной прихоти. Никому в голову не приходит, что у часовщика могут быть другие заботы. Он и сам забывает про свой дом, забывает, что он отец и какой-никакой хозяин.

Он давно привык, что его отчитывают, как мальчишку, и не стесняется даже сидящего рядом сына. Лица мастера я не вижу. Он согнулся над столом, чуть не утыкается носом в часы, которые держит в руках. Бородка метет стол, из-под выпуклого лба торчит вставленный в глазницу черный цилиндрик — лупа.

Двумя пальцами он сжимает крошечный пинцетик. Достает из выдвижного ящика часики, оглаживает их бородкой, прислушивается, принюхивается, будто хочет обнаружить в них живое дыхание. Часы плотно угнездились между пальцев. Ткнет пинцетом в другие часики, и с легким вздохом отлетает крышка.

Я вместе со старым часовщиком склоняюсь над обнаженным движением. Мельтешат и вращаются во все стороны микроскопические зубчатые колесики.

Прикоснись он к какому-нибудь сцеплению, и все остановится, будто ледяная спица пронзила сердце. Окоченев от ужаса, пружинки-колесики ждут, когда пинцет отпустит, чтобы снова засновать и заплясать.

Если мастер чувствует, что сердечко часов бьется слишком слабо, он наклоняется еще ниже. Подкручивает, заводит, кладет на стол, встряхивает, сообщает ритм и отогревает. И воскресшие часы наполняются здоровьем и силой.

Часовщик снова укладывает их в выдвижной ящик, чтобы они отдохнули. Ящик — это спальня для часов. Они лежат там на мягких, шелком и бархатом застеленных кроватках. Усыпанные бриллиантами, красивые часы спокойно спят, уверенные, что часовщик найдет время еще разок погладить их, завести, склониться к их блестящему лику будто для поцелуя.

От дыхания мастера часы радостно млеют в своих футлярчиках. Дюжины часиков поскромнее висят на



крючочках с внешней стороны ящиков. Сердце их бьется об эти стенки. Каждые часы спешат сказать часовщику, что они живые, ходят и ждут, чтобы он взял их в руки. Одни он учит ходить, другим исправляет ход: замедляет, останавливает или ускоряет, а потом устало вешает на место.

Часовщик знает все свои часы, как доктор своих больных, и, может быть, втайне желает, чтобы они никогда не выздоравливали и навсегда оставались с ним рядом. Захворавшим часам он делает инъекции капелькой масла и заботливо укладывает в карман жилетки.

«Там, у самого моего сердца, скорее поправятся!»

О часах он думает больше, чем о семье.

Его пожилая супруга никогда не выходит из дому и ждет его там. Как ни мало ее хозяйство, она занимается им непрерывно. Тут же, перед другим окном, мрачно сидит за рабочим столом ее сын. Будто всеми позаброшенный.

Отец доверяет ему самые простые часы. Иногда парень поднимает голову и смотрит на улицу. Там ходят туда-сюда прохожие, разглядывают драгоценные камни в витрине. Он им завидует.

— Везет же людям! Гуляют себе, беды не знают, только и дел у них, что глазеть на витрины!

Отец бросает на него взгляд.

— Что ты там бормочешь? Пора бы уж тебе, бестолочи, научиться ремеслу! Смотри, сейчас опять часы запорешь!

Но излить весь гнев на сына не успевает — на него обрушивается мама:

— Боже ты мой, где же тут правильное время? Голову потеряешь! Скажет мне кто-нибудь, который теперь час?

Вдруг в магазин с криком вваливается толстый дядька и давай с порога кричать:

— Куда это годится?! Мои часы опять не ходят — до дому не успел дойти, как остановились!

«Господь всемогущий! — думает про себя старый мастер. — Чего они все от меня хотят? Легко им возму-

щаться! А мыслимое ли дело сотворить два одинаковых существа? Ведь часы — живые созданья!»

Но вслух не говорит ничего. Только еще ниже сгибается над своим ящиком, еще глубже вставляет в глаз лупу. Он слушает не человеческий крик, а звук часов. А те чувствуют, что разговор о них, и еще ласковее нашептывают ему на ухо. Когда часовщика особенно донимают попреками, он сгибается так, что, кажется, с головой уходит в темный ящик. Мелодичное тиканье заглушает все остальное. Старик только доволен, когда клиент приносит назад какое-нибудь его детище.

«Черт бы его побрал! Что он понимает в часах! Орет так, что их и не слышно».

Мастер выхватывает из рук толстяка часы и дует в механизм, удаляя кощунственную пыль. И ожившие часы заводят печальную песенку, рассказывают, как одиноко им в темном кармашке и как грубо новый хозяин заводит их, даже не пожелав спокойной ночи. Лишь бы они шли и шли без остановки...

Часовщик прячет их в ящик и успокаивает: он отдаст их не сразу. Найдет предлог.

— Ваши часы нуждаются в серьезной проверке!

Но вмешивается мама:

— Что происходит? Вы что, не можете починить их как следует? Новое дело!

— Зачем же так расстраиваться, Алта? Мы ничего не должны этому человеку. Он только и делает, что ломает свои часы. Ну так он получит другие, понадежнее, чтобы знать, который час.

У часовщика постоянно под рукой сменные часы, как почтовые лошади, готовые освободить от тяжкой участи драгоценных золотых собратьев.

У меня всегда было чувство, что только наш часовщик и умеет чинить по-настоящему.

И до сих пор я не доверяю никому другому.

Так и лежат мои часы здесь, в моем ящике, и некому вернуть их к жизни.

ЛОДКА

Каждый день мы с Абрашкой бегаем на мост смотреть, кто и что плывет по реке.

Что-нибудь да движется беспрерывно. Скользят плоты, переезжают с берега на берег лодки.

Сами волны не дают реке покоя. Катят и катят, нет им угомону. Гонят реку все дальше и дальше.

Вот бы хоть раз подхватили и меня!

— Эй, Башка, опять замечталась? — Брат пихает меня в бок. — Проснись! Гляди, видишь вон ту лодку? Она сейчас отчалит. В ней уже люди сидят. Ой, что это? Так и есть... это он. Вон и очки его блестят!

— Где? Кто?

— Ослепла, что ли? Ничего не видишь! Это же дядя Бере! Он каждый вечер едет домой на лодке. Бежим скорей, еще успеем его догнать и переплывем с ним вместе на тот берег!

— А лодка не может разбиться, как плот?

Мы бежим по мосту, спускаемся по деревянным ступенькам к самой воде.

Доски прогибаются под ногами. Внизу искрится мокрый песок. Последний прыжок. И вот она, река. Мне кажется, что мы уже на воде.

— Дядя! Дядя Бере!

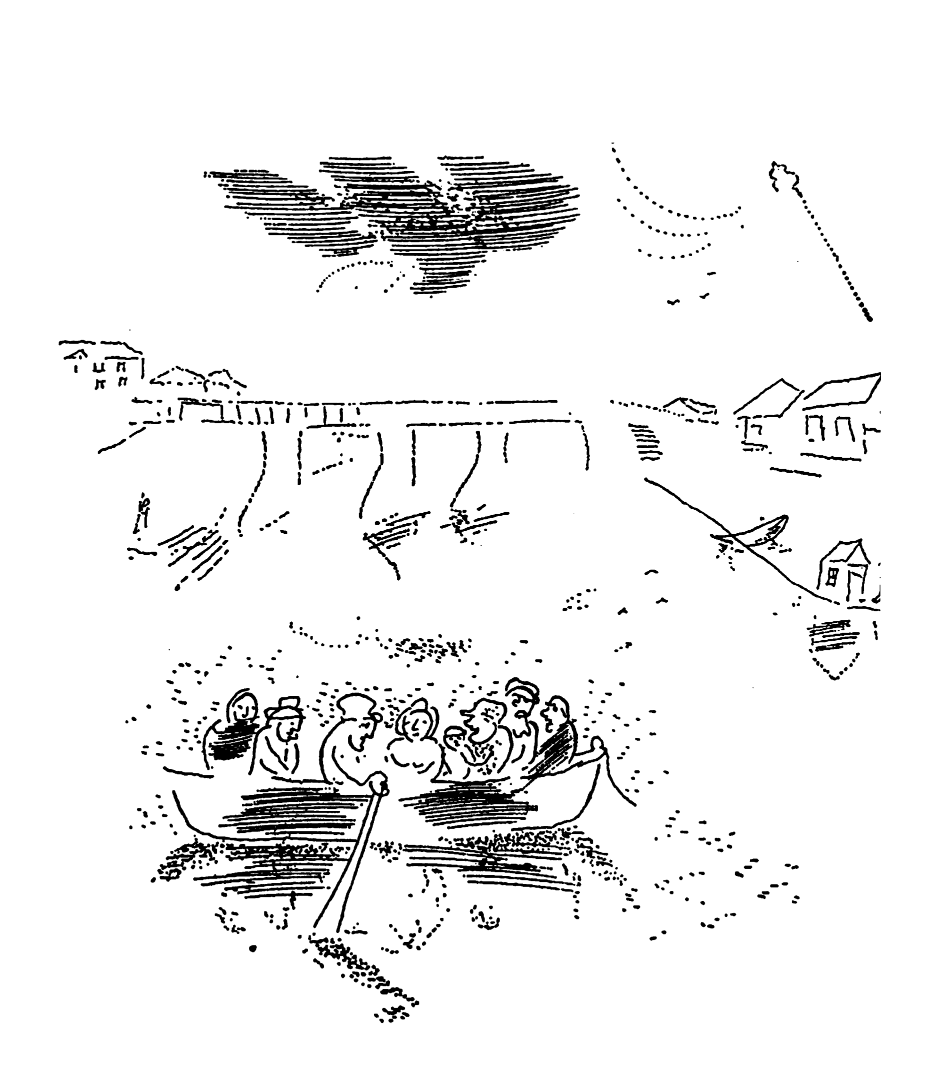
Тяжелые дядины сапоги проминают скрипучий песок.

— А, это вы? Привет! Откуда вы взялись? Неужели гонялись вплавь за рыбками?

— Дядя, вы сейчас домой? — бормочет Абрашка.

— Пророк, да и только! Все видит насквозь! Ну и что, если домой?

17 — 2694



Глаза его лукаво искрятся за очками.

— Ах вы сорванцы! По носу вижу: вам тоже хочется прокатиться! Ну Абрашка — я еще понимаю... но ты-то, Башенька, тебе не страшно?

Даже если бы и было страшно, я бы ни за что не призналась. Брат поднял бы меня на смех.

Все втроем спускаемся к причаленной лодке, влезаем на борта. Лодка качается. Кое-кто из пассажиров отодвигается. Но старый лодочник даже не смотрит на нас. У него борода и загорелое лицо.

Он хоть и еврей, но похож на настоящего крестьянина. Толстыми пальцами сворачивает самокрутку, слюнит ее и сплевывает в воду.

Мозолистым рукам его явно труднее справляться с тоненьким листиком бумаги, чем управлять лодкой.

Ни слова не говоря, он только все плюет и плюет, будто в реке не хватает воды.

Мы садимся лицом к остальным. Окунаем пальцы в воду, трогаем сложенные вдоль бортов весла.

Узловатые руки лодочника висят, как еще одна пара весел.

— Долго еще ждать будете, реб Юд? — спрашивает дядя. — Или собираетесь весь город в лодку усадить?

Старик в ответ молчит. Молчат и пассажиры. Я, словно онемев, гляжу на реку. Наконец лодочник поднимает голову и, насупясь, бормочет в курчавую бороду:

— Вас и так слишком много... Сядьте поплотнее...

Он оборачивается, плюет себе в ладони, берет одно весло и отталкивается от берега. Лодка сползает с мели и зависает на поверхности воды. Проворные струи обтекают ее со всех сторон. Дует свежий ветер, совсем как на море. Лодка пляшет на волнах, одни поддевают ее, другие расплескиваются вдребезги.

Кругом закипают водовороты, вспыхивают и гаснут солнечные блики на водяной ряби, будто рыбки поблескивают серебряными чешуйками.

Лодка качается, мы тесно прижались друг к другу, свесив головы и уставясь в воду — будто помогаем веслам взглядом. Я крепко вцепилась в дядин рукав. Мы плывем меж двух миров. Там, на берегу, было столько места. И вся эта огромная земля теперь смыкается с небом.

Ни голоса, ни звука. Даже Абрашка примолк. Все замерли. Только ходят вверх-вниз плечи гребца. Весла пролетают над поверхностью и с плеском опускаются в воду.

Течение увлекает лодку, словно тащит ее на цепи.

Вдали маячит другой берег...

Сижу завороженная зыбью.

Скорей на сушу, ступить на песок, пойти, побежать по твердой земле...

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Переступив порог магазина, папа замирает и погружается в себя. Размышляет над прочитанным с утра стихом из Торы или выискивает новые поводы для тревоги, что мерещатся ему на каждом шагу? Никакого участия в торговых хлопотах он не принимает и возиться часами ради того, чтобы продать пару вещиц в подарок к свадьбе, предоставляет маме.

Однако именно у этого молчаливого и благочестивого отца семейства предпочитают делать покупки местные светские дамы, особенно одна — супруга богатого директора страховой компании, которую он привез откуда-то издалека на зависть всему городу.

Жизнерадостный коротышка с приторной улыбкой на устах и дежурной остротой на языке, он ни минуты не стоит на месте, блестит глазками за стеклами очков, сияет гладкой лысиной, которую, как ни старайся, никак не прикрыть жидкими волосами.

Он любит быть в центре внимания. Его вечно осаждает целый рой молодых бездельников, не знающих, чем бы занять день — вечером можно хоть в карты поиграть.

Стоит ему выйти из дома, как они со всех сторон стекаются к нему. Каждый норовит оттеснить другого, старается первым пожать директорскую руку и привлечь его внимание громким приветствием и угодливой фразой.

— Что нового, господин директор? Хорошо ли вам спалось?

— Что за вопрос!

— Ловко вы вчера карточку выложили, а, господин директор? Все так и раскрыли рот!

— О, наш господин директор не лыком шит! Ему нет равных!

Громкий смех раскатывается по идущим под уклон улицам. Директор расплывается в улыбке, очки в золотой оправе поблескивают и пляшут у него на носу, будто вот-вот соскочат и оседлают носы всей компании.

Все эти лоботрясы буквально потеряли головы, когда в городе внезапно появилась его молодая жена.

— Ну и ну, господин директор, — так всех провести! Хоть бы словечком обмолвился!

— Верно, дурного глаза боялся!

— Да уж, повезло, ничего не скажешь!

— Не зря дожидались, господин директор! Главный выигрыш отхватили! Это же прелесть, само совершенство, у нас такого и не видывали!

Хрупкая молодая женщина стала предметом всеобщего обожания, точно слетевший на землю ангел небесный.

Поначалу она всем рассеянно улыбалась. Казалось, и правда она принесла мужу счастье. Дела его пошли в гору. И сам он словно бы вырос. Но времени для жены у него не оставалось. Он только осыпал ее подарками. Тогда она перенесла всю свою любовь на блеск золота и драгоценных камней. У нас в магазине она появлялась теперь чуть ли не каждый день.

Когда роскошный черный экипаж бесшумно подкатывал к нашему дому, все работники сбегались к витринам:

— Госпожа Бишовская приехала. Где хозяин, зовите его скорее!

Дюжий кучер застывает перед самым входом. Дамы за его спиной и не видно. Она почти не приминает мягких сидений, будто парит над ними, того и гляди, совсем улетит прочь. Вот она сходит на землю, ее стройная фигурка покачивается, все еще сохраняя ритм колес.

Алебастровое личико залито матовой белизной и никогда не розовеет. Миндалевидные глаза мягко улыбаются. На облаке золотисто-каштановых волос сидит

крохотная шляпка. Стоит ей сделать несколько шагов — и оборачивается вся улица. Мужчины пожирают ее глазами. Девушки шепчутся, подталкивают друг друга локтями:

— Посмотри-ка на платье! Сразу видно, не тут куплено. Наверняка заграничное!

— Вот это наряд!

— А кружева как подобраны! Как они ей к лицу!

— Вся в шелке и бархате — прямо картинка!

Она робко подходит к двери, толкает ее рукой в белой перчатке и проникает в магазин, как занесенный ветром цветочный аромат. Завидев стоящего на своем обычном месте у большого сейфа папу, направляется к нему.

Папа почтительно и галантно приветствует даму:

— Как поживаете, госпожа Бишовская? Хорошо отдохнули летом?

— О да! Отлично, изумительно! Никогда не видела столько народу со всего света. А какая страна! Вы ведь бывали на водах в Австрии?

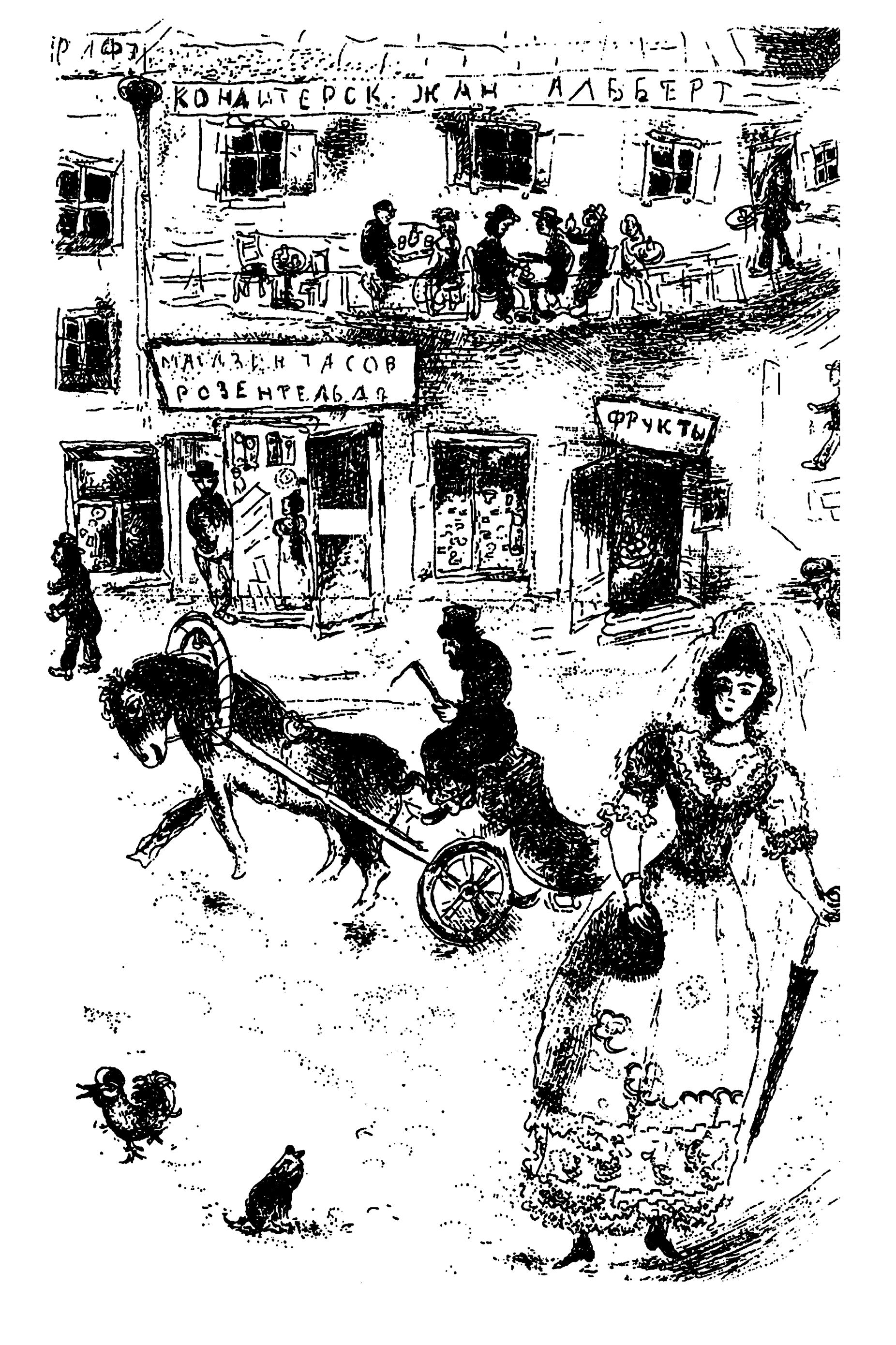
— Как же, бывал несколько раз, там действительно очень хорошо.

— Но если бы вы поехали туда в этом году, вы бы ничего не узнали.

Как бы шумно ни было в магазине, она всегда говорит тихо, не повышая голоса. Щебечет. Иногда вдруг рассмеется переливчатым, словно росинки на солнце, смехом. Папа смотрит на нее и удивляется: богатая, красивая женщина, а здесь, в магазине, у нее вид пугливой пташки. Но, глядя на папу, дама успокаивается и доверительно говорит:

— Уверяю вас, все было прекрасно. Безумно весело, но по временам мне делалось грустно... Знаете, один тамошний сановник никак не отпускал меня. И вот его подарок — ожерелье. Я принесла, чтобы вы на него взглянули.

Она достает из сумочки изящный футляр синего бархата. Под крышкой — роскошное бриллиантовое


КОНДИТЕРСК. ЖАН АЛЬБЕРТ
МАГАЗИН ЧАСОВ
РОЗЕНТЕЛЬДА
ФРУКТЫ

колье. Вооружившись лупой, папа склоняется над камнями.

— Да! Вас не обманули! Крупные камни редкостной красоты. Дай Бог мне отыскать такие же для моих заказчиков! Хотите посмотреть? — Он передает ей лупу. — Вот... ни одного изъяна... Чистейшей воды... Ну а маленькие... между нами говоря...

— В том-то и дело. Потому я вам и показываю. Тут слишком много камней. Они утяжеляют колье. И человек тоже был тяжелый...

Папа не может сдержать улыбку. У госпожи Бишовской темнеют глаза.

— Вы же знаете, я не привередлива. Ко многому отношусь терпимо, но на этот раз было просто невыносимо... Эти заграничные врачи зарабатывают на мне кучу денег. — Она снова рассмеялась.

Папа делает вид, что ничего не слышал. К чему эти излияния? Потом ей самой будет неловко. Он переводит разговор на другое:

— Что вы собираетесь делать с этим колье? Составить его из одних крупных камней? Тогда оно, конечно, будет красивее и ценнее... Но, помните, перед отъездом вы просили что-нибудь вам подобрать? Я не забыл. Долго искал и нашел... Настоящее сокровище...

— Правда? — Лицо ее загорается, будто освещенное полной луной. — Вы великолепны! Я всегда говорила — настоящий джентльмен!

Папа краснеет и смущается еще больше. Он отворачивается и ищет на связке ключи от сейфа, который темной громадой возвышается в углу, напротив сияющих серебром полок. В магазине два сейфа. Один стоит около маминого стула и наполнен золотыми часами, цепочками, брошками, браслетами и кольцами. Второй здесь, рядом с отцом, высокий, неприступный, в каких-то таинственных значках.

Открыть его не так-то просто. На посторонний взгляд, каждый из хитроумно выточенных, тщательно хранимых ключей обладает магической силой.

Папа с закрытыми глазами вставляет их один за другим. В глубоких скважинах что-то лязгает, и тяжелая дверь открывается. Изнутри тянет холодом.

Видны полки, коробки, ящики с пакетами из плотной бумаги, наверное оберегающими от дурного глаза драгоценные камни.

Папа в самом деле боится сглаза и все твердит сыновьям:

— К чему все выставлять напоказ? Блеску и так хватает. Зачем ослеплять людей? Они вообразят невесть что. И без того на нас пялятся на улицах. Попробуй всем объясни, что это такая же торговля, как любая другая! В городе уверены, что я сам набит золотом и бриллиантами!

Так что к драгоценным камням никто, кроме него, не прикасается. Только он знает, что лежит в каждом пакетике. Различает ощупью, будто камни излучают свет сквозь обертку.

И за каждый берется по-разному. Даже глаза его меняют цвет, смотря по тому, какие камни в них отражаются: то зажигаются жарким пламенем напоенных огнем и солнцем рубинов, то пригасают перед зеленым омутом изумрудов, а то окрашиваются синей тенью сапфиров.

Бриллианты же пронзают глаза своим сиянием через все слои шелковистой бумаги. Они лежат в особом, потайном отделении. Над ними — шкатулка с отборным жемчугом.

Папа бережно достает ее двумя руками, проверяет, все ли цело.

Жемчужины разложены в мешочки по оттенкам. Тут вся гамма: от бело-перламутровых до тускло-желтых. Нежно-розовые, как детская щечка, и даже черные, но живые, похожие на зрачки.

— Покажите мне всё, я так давно не видела камней. Соскучилась по ним.

Папа с головой ныряет в сейф и поворачивается к ней с полными руками пакетов и мешочков.



Брови молодой женщины взлетают, глаза погружаются в каждый камень, как в прохладный родник.

— Понимаете, каждый день хочется что-нибудь другое. Не наденешь же одно украшение и утром, и вечером!

Папа согласно кивает.

— С чего вам угодно начать?

Он расстилает на стеклянном столике маленький зеленый коврик, расставляет первую порцию пакетиков, и две головы склоняются над ними.

Из-под белой бумаги полыхнули рубины. По папиному выпуклому лбу пробежал красный блик... В глазах молодой женщины зажегся огонек. Бледные щеки зарумянились.

— О, какие жгучие! Так и жгут пальцы! Сколько огня в маленьком камушке! — Она прикрывает глаза ладонью. — Не сегодня, сегодня мне как-то тоскливо...

«Тоскливо, — думает папа, — даже когда видит такие драгоценности. Что же с ней творится?»

Он раскрывает пакетик с небесно-голубой бирюзой. Госпожа Бишовская поглаживает камни, словно детские головки.

На столике остаются пакетики с аметистами, но она отодвигает их, сметает рукавом:

— От этих никакой радости... я их не слышу...

Папа сворачивает пакетики и раскрывает другой, с бриллиантами. На столик опрокидывается звездное небо. Алмазные грани, как зеркальные осколки, разбрызгивают цветные лучи, и прозрачные отцовские пальцы светятся. Камушки по одному соскальзывают с бумаги, медленно докатываются до бархатного лоскутка, застывают и тут разгораются во всю силу, будто их раздувает мощное дуновение.

— От них теряешь голову... впиваются, как иголки... сама не знаю, люблю их или нет... — Молодая женщина опускает глаза и шепчет в полузабытьи: — Войдешь в таком роскошном колье в ярко освещенную гостиную... сияют люстры, искрятся камни... войдешь и захмелеешь!

Мысленно она перенеслась в бальный зал, на ней белое атласное платье в кружевах, с большим декольте. Вот она переступила порог и замешкалась, ослепленная блеском хрусталя и зеркал. Перед ней расступаются, на нее все смотрят... а она прикрывает лицо веером.

Мужская рука обхватывает ее талию. Она отдается танцу, чувствует на себе пристальный взгляд. Дыхание ее смешивается с другим горячим дыханием.

Со вздохом открывает она глаза: перед ней папа, занятый своими мешочками и сверточками, поглядывает на нее исподтишка и спешит все запаковать и припрятать. Шелковистая бумага шуршит, словно дует легкий ветерок. Юная дама приходит в себя. Зеленые изумруды и хризолиты окончательно возвращают ее к реальности.

— О, эти зеленые камни такие заманчивые, притягивают, как море... их хорошо носить, когда ты уверена в себе, а не сейчас...

— Может быть, на сегодня хватит? — тихонько спрашивает папа.

— Нет-нет!

Он достает еще один пакет:

— Я обещал вам что-нибудь найти и хочу сдержать свое слово.

В пакете оказывается россыпь жемчуга. Крупные и мелкие жемчужины, истосковавшиеся по свету, пене волн и водорослям родных морей, разметались по шелковистой бумаге.

Они так и дрожат, упиваясь свободой. Оживают даже те, что поблекли и помертвели от времени. Вырванные из морских недр, они жадно льнут к живому телу, пусть хоть к ладони или кончику пальца.

У госпожи Бишовской захватило дух. На глаза набежали похожие на перлы слезы, большой жемчужиной засияло все лицо.

— Как вы угадали! Спасибо!

Папа берет пинцетом бусинки покрупнее и осматривает со всех сторон, будто проверяет, не выросли ли они



взаперти. Остальные откладывает в сторонку: «А вы еще маловаты, вам надо, с Божьей помощью, еще немножко подрасти». И провожает их нежным взглядом.

Очень скоро на красном бархате выстраивается длинное ожерелье.

— После этого на то колье я и смотреть не могу... Так я и скажу тому человеку...

— Ну, одно будет для выходов, а другое, вот это, для себя.

— Благодарю вас!

— Хотите знать, сколько весят жемчужины? Вес не всегда зависит от величины, тут важен еще и свет. Давайте взвесим.

Он достает из ящичка две обмотанные шелковой ниткой чашечки, распутывает, получаются весы, которые он держит двумя пальцами, как игрушку. На одну чашку кладет крохотную гирьку, на другую — сияющую жемчужину. И блеск ее оттягивает чашу.

— Вот так с каждой, если она чистая и светлая. Да вы и сами понимаете: важнее всего — как они светятся. Это главное мерило. Такие образчики встречаются не часто. Они доставят вам радость.

Она вытягивает шею, как будто на нее уже надето ожерелье, встряхивает головой и встает.

— Вы даже не понимаете, что вы для меня сделали! Невероятно, но я просто оживаю... У меня всегда была на сердце тяжесть. Никто не знает, но вам я скажу. У моей матери было жемчужное ожерелье. О, не такое, как это, куда там! Из мелких и тусклых бусин. К маме оно перешло от бабушки — жемчуг на морщинистой коже пожелтел. Это ожерелье — единственное мамино наследство. Она осиротела еще в детстве. Старое бабушкино ожерелье красовалось на ней и под свадебным балдахином. Мама часто говорила: сколько слез я пролила, эти бусины, верно, железные, а то бы уж давно растаяли. Она надевала ожерелье каждый раз, когда рожала ребенка — нас у нее было девятеро, — и ей казалось, что ее рано умершая мать приходит к ее изголо-

вью и благословляет ее и младенца. Жемчужины лучистые. От них, она говорила, дети будут красивые и сияющие. «Вон ты у меня какая красавица, чем не жемчужина!» — Молодая женщина смущенно улыбнулась, потом лицо ее омрачилось. Она глубоко вздохнула, и голос ее дрогнул: — И вот в последний раз мама — не дай Бог никому — родила мертвого ребенка, но ей не сразу об этом сказали. И вдруг она закричала: «Горе мне, посмотрите, что такое! У меня вся кожа зудит, будто муравьями искусана!» В постели у роженицы нашли рассыпавшиеся жемчужные бусины. Ожерелье порвалось, и они раскатились по постели. Мама пристально на них смотрела. Липкая испарина покрывала все ее тело, и жемчужины, казалось, тоже вспотели. «Ребенок мертвый, да?» Вместе с ожерельем оборвалась ее молодость. Детей у нее больше не было. Видите, какая у жемчуга сила! — Госпожа Бишовская поднимает голову: — А теперь вот и у меня будет свое жемчужное ожерелье. Я ведь еще молода. И может быть, смогу оставить в мире что-то хорошее. Понимаете теперь, почему мне так дорог жемчуг? Так вы соберете ожерелье?

Уходила она с легким сердцем, словно летела на крыльях.

ЗИМА

Дома уютно. В печке пылают дрова. Их только что принесли со двора, поленья еще сырые и злобно шипят, попав с мороза в огонь. Окна законопачены, и так приятно смотреть на улицу: там идет снег, кружат и кружат, завораживая взор, белые хлопья.

— Чего сидеть в доме? Пошли во двор!

Абрашка хватает пальто — и нет его! Пока Саша закутает меня с ног до головы, он уже успеет вываляться в снегу.

Уф! Как же здесь светло и весело! Мы лепим снежных баб. Шерстяные варежки промокли насквозь. Поиграть бы в снежки, но попробуй покидайся в нашем дворе! Это настоящий колодец, четыре стены, сплошные окна, двери и балконы!

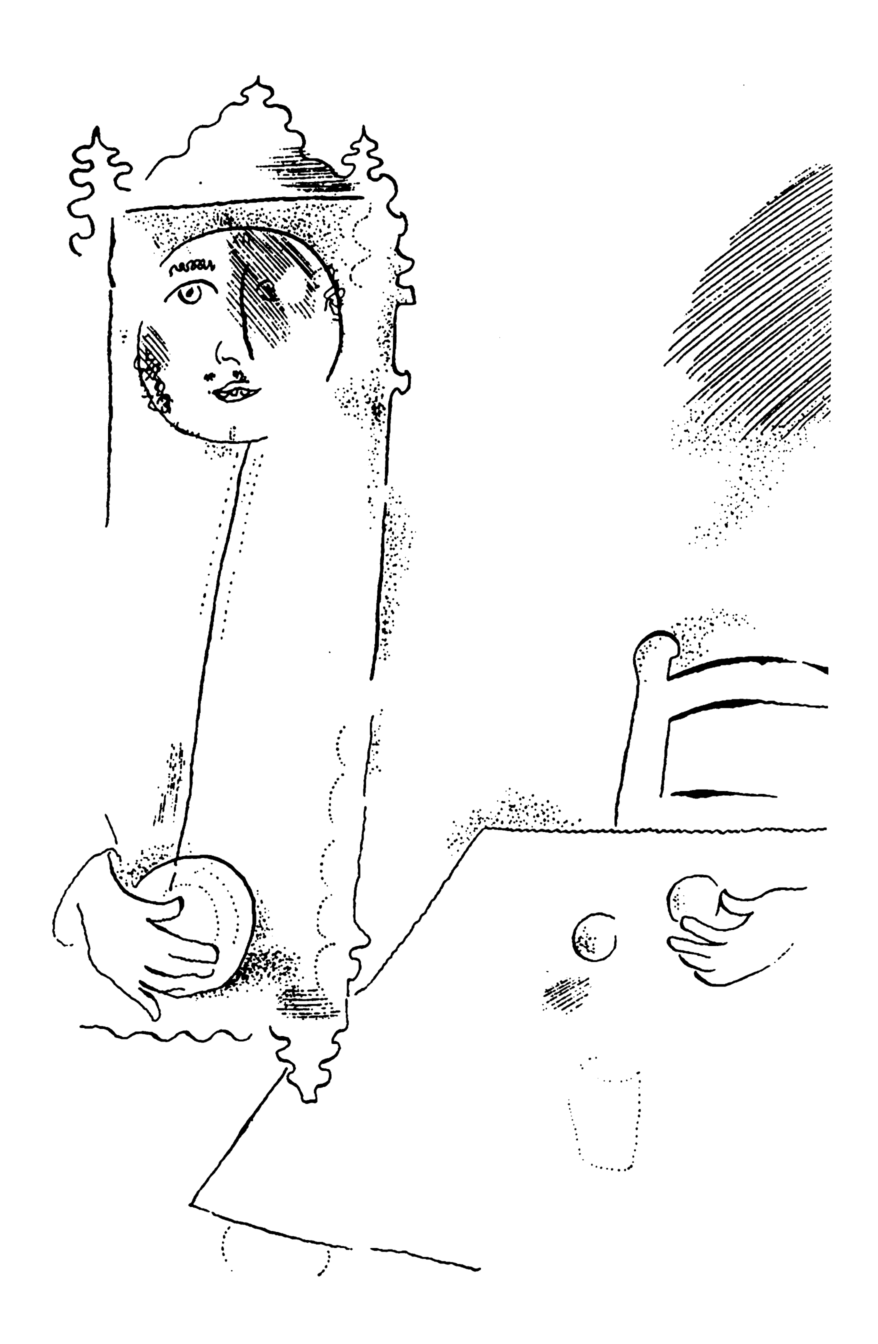
Бросишь посильнее — сразу попадешь в стекло.

— А ну, марш отсюда, негодники! Я вам дам в окна швыряться! — Зычный крик вырывается из форточки, будто распахнулся и заорал рот, в который угодил наш снежок. — Ишь, безобразие! Погодите, вы оба, вот спущусь да уши надеру! Будут вам снежки!

— Опять этот ненормальный разорался! — кричат из другой форточки. — Оглохнуть можно! Дались вам ребята! Что вы им поиграть не даете?

— Ну да, небось не в ваши окна кидаются! Чего вы лезете?

Теперь крики несутся со всех сторон. Открываются и раздраженно хлопают ссорящиеся окна. Слышно, как кто-то спускается по лестнице.



— Поймал он нас, как же! Посмотрим, кто кого перегонит! Давай скорей! — Абрашка тащит меня к нашему парадному подъезду. Там я ошеломленно замираю.

Передо мной широкая оживленная улица. Люди по ней не идут, а бегут, скользят, падают, встают и бегут дальше. Проезжают сани, снег, как бархатный ковер, приглушает цоканье копыт.

Сияет солнце, искрится снег, будто город усыпан серебряными блестками. С другого конца улицы доносятся взрывы смеха. Мы бежим туда. В этом месте небольшой, в несколько ступенек, спуск на другую улицу. Снег на ступеньках утоптан до блеска, и после первого же мороза стал скользким.

Вот почему с самого утра тут толпятся зеваки и поднимают на смех каждого прохожего.

— Думаешь, эти пройдут?

— Эй, осторожно! Не ходите туда. Лучше обойдите, не то расквасите нос!

— Оставь его! Все равно упадет!

Прохожий делает неверный шаг, поскальзывается и растягивается на снегу. Зеваки гогочут.

Вот на верхней площадке остановился здоровый парень. Его встречают гиканьем и смехом:

— А ну, герой, покажи, на что ты способен?

— Глянь, какие у него ножищи! Прямо копыта!

Парень пыжится, выставляет грудь колесом, будто хочет спрыгнуть с пригорка единым махом. Он делает шаг, скользит и растягивается во весь рост на снегу. Остается подобрать руки-ноги да постыдно дать тягу. Зрители отпускают вслед ему шуточки:

— Небось набил синяков? И длинные ноги не помогли.

Если подходит женщина, ротозеи веселятся заранее. Она уж точно не доберется доверху, поскользнется, упадет, охнет и не сразу встанет.

— Не надоело ржать-то? Так и убьешься! Во всем городе некому лопату золы бросить! Жди теперь до весны!

Но зевак вдруг как ветром сдуло, они потеряли интерес к пригорку и к бедной женщине.

Зато со всех сторон крик, топот, свистки, бегущие, точно на пожар, люди.

— Стой! Помогите! Спасите! Да стой, ирод! Черт бы тебя побрал! Дите под полозьями, аль ослеп?!

— Господи Боже! Ребенок попал под лошадь!

Пробегает, воздев руки к небу, рыдающая женщина.

— Что случилось? Абрашка, сходи посмотри! — Я оборачиваюсь к брату, но его нет! — Абрашка, где ты?

Наверное, убежал. А меня толкают, меня подхватывает толпой, оглушают криками.

— Живой еще?

— Кто его знает! Детские косточки такие хрупкие!

— Да это еврейский мальчик!

— Если Господь захочет, Он сотворит чудо!

— Чей это ребенок! Вы его знаете?

— Ну да. Я его сразу узнал, это же Алтин младший.

— Абрашка!

У меня кровь застывает в жилах.

Да как же так? Только что был тут, рядом. И что его понесло к этим саням? А мама, Боже, что скажет мама?! Нас больше никогда не выпустят на улицу!

Задыхаясь, бегу вместе с толпой.

Лошадь наконец останавливают.

— Подай назад, приподними сани! — кричат перепуганному мужику. Лошадь виновато опускает морду. Мужик соскакивает с козел, лихорадочно крестится и божится, что не нарочно:

— Что ему вдруг вздумалось бросаться под копыта? А скотине-то не втолкуешь! Беда с этими сорванцами! Господи Иисусе, Пресвятая Богородица...

— Оставь в покое свою Богородицу, переворачивай скорее сани!

Сани длинные и пустые. Сквозь щели в дне видно что-то черное, лежащее на снегу. И капля красной крови. Я закрываю глаза.

«Боже мой, это Абрашка! Неужели он мё...?

Люди поднимают и опрокидывают сани. И не верят своим глазам.

Абрашка выкарабкивается и встает на ноги живой и невредимый. Только под носом размазана кровь. Да еще и смеется! Я пытаюсь пробиться к нему. О чудо, он живой! Мы и дальше будем бегать по улицам!

Но меня с силой отпихивают. Похоже, увидев, что мальчишка жив, народ разъярился пуще прежнего. Теперь Абрашку готовы задушить.

— Ты что же думаешь, негодяй, тебе это так пройдет? У людей чуть сердце не разорвалось, а он ухмыляется!

— Да это выродок какой-то! Бес в нем сидит, сдох бы, так, может, оно и лучше!

— И то! Работаешь, надрываешься, чтоб их вырастить, а они по улицам шастают.

— Да разве удержишь их дома, когда снег выпал?

— Что тут рассусоливать! Отвести его к родителям, да и все. Ребе ему покажет, как под сани бросаться...

Абрашку собираются понести на руках.

— Нет, вы только гляньте! Есть же Бог на небе! На мальце ни царапины!

Пока толпа дивится, Абрашка выворачивается из-под рук и дает тягу. Добежав до нашего подъезда, оборачивается, делает мне нос и кричит:

— Эй, Башка! Айда на каток!

КАТОК

Зима в разгаре. Днем все бело, ночью идет снег. Установились морозы, сугробы затвердели, как камень, реку сковало льдом. С моста видна окруженная елками площадка — каток.

Кататься на настоящих коньках — о, это наша мечта! У Абрашки был один конек, и тот заржавевший. Он подвязывал его к ноге, и вперед! Другая, свободная, нога ритмично отталкивалась, ржавое железо скребло по льду.

Я же, стараясь догнать его, бежала следом и утопала высокими ботинками в снегу.

Каждый вечер я приставала к маме:

— Ну, пожалуйста...

— Побойся Бога, спятила ты, что ли? — говорила мама, строго глядя на меня. — Опять про коньки? Где это видано, чтобы девочки катались на коньках? Фу, просто неприлично. — Я глотала подступавшие к горлу слезы, а мама продолжала: — Не ожидала от тебя, Башутка! Ты уже большая, ходишь в школу. Что там скажут?

— Абрашка тоже учится, а целыми днями катается.

— При чем тут Абрашка? Какое может быть сравнение? Кто он такой? Мальчишка, пострел, пустая голова! Нашла с кого брать пример! Тебе и думать об этом стыдно. Иди-ка повтори уроки.

— Да я уже наизусть все знаю.

Огорченная, я шла прочь.

Но прошел год, и я снова взялась за свое.

— Как?! Снова коньки? Я тебе дам коньки! Раз и навсегда выкинь это из головы, понятно?

— Мама, но в этом году все мои подруги катаются на коньках.

— Какие подруги? Не упрямься! Ты и так-то на каждом шагу спотыкаешься, не хватало еще, чтоб голову и ноги посреди улицы переломала!

— Но, мама, есть же настоящий каток!

— Нынче с этими детьми совсем сладу нет! Каток! Еще чего. И слышать об этом не хочу! Кататься вместе со всякой шпаной, взбредет же такое в голову!

И все же я добилась своего. Мама сдалась. Мне купили пару блестящих коньков. Таких, что глаз не отвести!

Назывались они «Снежные сирены». От острой стали веяло холодком. Лезвия на ощупь как лед и отполированы, словно зеркало.

Абрашка завидует.

— Поломаешь лодыжки! Видала, какие задранные концы? — каркает он.

Это не то что его единственный ржавый конек!

Честно говоря, голова у меня кружится заранее, как же сохранить равновесие на льду?

Я помчалась к сапожнику.

— Лейзер, вот у меня коньки. А вот ключ, их надо привинтить к ботинкам.

Старый сапожник поднимает взъерошенную голову, выплевывает деревянные гвозди и долго разглядывает меня поверх очков:

— А мама знает? Ты же подметки испортишь!

— Знает, конечно!

Сапожник пожимает плечами:

— Ну, давай ботинки!

Ботинки надеваются на колодку, где только что был сапог. Сапожник протыкает подметки, вставляет винт в каждую дырку, и вот коньки привинчены.

Абрашка продолжает меня дергать — надеется, что я с перепугу заброшу коньки и они достанутся ему.

— У тебя слишком большая нога, они на тебя все равно не налезут, — говорю я. — Но поди попроси у мамы пять копеек на каток, и я дам тебе прокатиться кружок.

— Почему это я должен просить? Тебя же балуют, тебе коньки купили.

— У, вредина...

Я злюсь и убегаю в магазин. Мама занята. Что за надоедливые покупатели! И когда, наконец, они уйдут? Ушли. Теперь мама раскладывает по местам все, что им показывала. Она нервничает, видно, еще не остыла от бурного торга. Стоит ли сейчас к ней подступаться? Но потом явится новый покупатель.

Я хожу кругами вокруг высокого маминого стула.

— Что ты тянешь меня за подол? Что ты ко мне прицепилась? Зачем пришла? Видишь, я занята!

— Мама... я хотела... это стоит всего пять копеек... только разок... — Произнести слово «каток» я боюсь. Может, оно само как-нибудь скользнет маме в уши. — Теперь, когда у меня есть коньки... во дворе они могут сломаться...

Мама вскидывается, будто у нее над головой выстрелили из ружья:

— Коньки, коньки! Опять ты со своими глупостями! Какое мне дело, сломаются они или нет! Ноги твои скорее сломаются! Ну так что?

Я стараюсь не упустить момент:

— На катке, мамочка, не сломаются. Там коньки сами едут.

— Она меня с ума сведет! Вчера коньки, сегодня каток, а завтра что ты выдумаешь?

Ну что еще сказать? Как уломать ее? Я остаюсь стоять за спинкой стула.

И чего она боится? Сапожник так хорошо прикрепил коньки, а каток такой гладкий! Там не то что во дворе... Но попробуй скажи это маме!

А тут еще входит покупатель. Ну, значит, на сегодня — прощай, каток! Увидев нового клиента, мама отталкивает меня рукой:

— Иди, не раздражай меня. Мне некогда! — И вдруг добавляет, обращаясь к кассирше: — Дай ей пять копеек, и покончим с этим.

Только бы мама не передумала! Я хватаю коньки и скорей к реке. Бегу, лечу, не чуя под собой ног. Мимо

проносятся дома и улицы. И наконец, разгоряченная, останавливаюсь на берегу.

Поперек огромного белого полотна тянется твердая, укатанная дорога, по ней едут запряженные лошадьми сани, телеги, движутся с одного берега к другому черные пятнышки — люди.

Я осторожно ступаю на лед, но тут же взрывается и подстегивает меня музыка.

«Сюда! сюда!» — зовут раскатистые барабаны, и я, задыхаясь, несусь туда, на каток.

Его окружает частая древесная изгородь из невысоких задумчивых елочек, с трудом удерживающих заледеневшие растопыренные ветки.

Сверху болтаются подвешенные на проволоке разноцветные бумажные фонарики, без умолку играет музыка. Плавно, как в бальном зале, скользят танцующие пары.

Я завороженно подхожу к воротам. На ветвях ближайших деревьев свесившись сидят мальчишки, с завистью оглядывают и поддразнивают каждого входящего. Меня встречают свистом.

— Глянь, эта коньки притащила, а сама на них и стоять не умеет!

Написано это на мне, что ли? Куда деваться? И дом далеко — не спрячешься.

Не так страшен сияющий лед, как улюлюканье мальчишек.

— А ну, вон отсюда!

Хозяин катка приходит мне на помощь и сгоняет горлопанов. Лед похрустывает, в нем пляшут отражения. Парни, девушки на коньках словно ножичками вырезают на нем фигуры. Я смотрю на них, как на волшебников, восхищаюсь их ловкостью, их веселым смехом.

Надеваю коньки и я. И, словно с гирями на ногах, ковыляю по деревянному настилу, ведущему на лед. В щелях под ногами поблескивают белые кристаллики.

Внезапно, будто сжалившись, ко мне, резко свернув, подкатывает юноша, кланяется и предлагает кресло на полозьях:



— Хотите, прокачу?

И, не успев подумать, я уже сижу. Молодой человек отталкивается, санки трогаются, и вот мы мчимся по кругу. Миг — и я на другом конце катка. Парень летит, санки подскакивают на ходу и подбрасывают меня. Да он сейчас закинет санки на елку и вывалит меня на снег!

— С ума сошел! Я больше не могу! Хватит!

Юноша тормозит, останавливает санки, и я слезаю на лед.

— Ну, давайте теперь сами! — хохочет он и оставляет меня одну.

Рядом кружатся и перешучиваются парни и девушки, блестят зубами, будто бросают в лицо пригоршни снега. Веселый вихрь подхватывает и меня. Мне становится жарко, кажется, лед раскалился под ногами. От меня уже идет пар. Елки быстро приседают, встают, взмахивают тяжелыми ветвями, с которых срываются мне навстречу белые хлопья.

Еду по середине катка, усталая, вся в ледяных крошках. Дорогу мне перегораживает живая цепочка из ребят. Кто-то обхватывает меня за талию, вплетает в хоровод. Цепочка растянулась на весь круг. Начинается бешеная гонка в несколько десятков ног. Цепочка сматывается, разматывается и завихряется.

Вдруг голова ее замирает на месте, хвост свивается в петли, и самый последний человек дергается и падает.

Домой я иду, шатаясь, закинув коньки на плечо, все тело ломит, ноги как деревянные.

Где я: шагаю еще по реке или уже по улицам? Все кружит голову дымка белого сна.

ВЕСНА

Конец зиме. Конец снегу и холодам. Безоблачное небо, легкий ветерок и летящий клич, точно звук рожка: «Ту-ру-ру! Весна идет!»

Все просыпается, расправляется, идет в рост после долгого сна. Что-то потрескивает, что-то лопается. Что-то живое пробивается, растекается, разлетается, наливается.

Повсюду праздник. Радость, свет, тепло. Другим стал воздух. Помолодело, высоко поднялось солнце. Ожили почки.

Прошлого больше нет, оно погребено под снегом. И опять возрождается жизнь.

Каждый день дает новый побег. Сами дни растут, удлиняются, терпкий воздух напоен ароматом, шелестом, ропотом — трепещет каждая ветка.

Травы еще нет. Зябко голой земле. Ее твердая корка растрескалась. И жадно ловит она сизую дымку солнечных лучей.

За день земля размякает, выпускает наружу живое тепло, которое таило в недрах всю зиму. Кажется, она ворочается, приподымается, ищет пищу. Прилипает к ногам. Ура! Снег сошел, и вот она снова, добрая, родная земля.

Все холят и жалеют ее. Ей раскрывает объятия небо. Миллионами жарких лучей напитывает ее солнце, проникает в каждую ложбинку, высушивает и отогревает.

И наконец пробиваются первые травинки, поднимает голову первый бутон. Солнце воскрешает сухие корявые ветки, одевает деревья в новый убор из нежных зеленых листков.

Целыми стаями прибывают птицы, чирикают и щебечут. Жужжат пчелы и мухи. И счастливая, лучезарная



земля покрывается зеленью, наливается солнцем и силой, подобно тому, как старый дом наполняется радостью, когда в нем вновь собираются выпестованные здесь и разлетевшиеся по свету дети.

Взбодрившуюся реку распирает. Тает лед. Все кипит и бурлит, как под мельничным колесом. Берега не вмещают столько воды, кажется, уходящая зима излила в реку всю свою злость.

Течение гонит, толкает, ломает лед. Река шумит, рокочет, будто все ветры на свете ринулись в поток и хотят повернуть его вспять.

А небо, хоть и окунается в реку на всю свою глубину, не может достать до дна.

Вдруг среди бела дня небо темнеет, хмурится, комкает набежавшую с громовым раскатом черную тучу. Сверкает молния, прошивает насквозь тучу, и из нее обрушивается стена дождя. Ливень грохочет так, словно не одна туча, а все небо опрокинулось на землю.

На улице потоп. Вода сбегает с холмов, переполняет канавы и рытвины, подмывает и подхватывает камешки, и те весело гремят и перекатываются на ходу.

Хлещет по крышам, стекает по желобам, струится по земле дождь.

На улице пусто. Извозчики торопливо слезают со своего места, накрывают чем-нибудь лошадей и укрываются в подворотнях.

Лошади остаются под дождем, с них течет ручьем, они опустили морды, стыдно им стоять брошенными. Вымокшие, продрогшие, они жмутся друг к другу.

Вот выбежала на улицу понюхать дождь собака. Лошади рады — они уже не одни. Сгрудившиеся в подворотне прохожие смеются и свистят:

— Глупая псина! Фью! Иди домой!

— Куда вылезла под дождь?

Пес трясется от холода, тычется во все стороны, шерсть его блестит, мокрый хвост висит веревкой. Но уйти под крышу не позволяет гордость.

Мы ему завидуем. Так здорово прыгать под дождем!

Ждущим не хватает терпения:

— Каково? Настоящий потоп, а?

— Еще несколько таких дождей, и незачем будет ходить на реку. Выйдешь на улицу — тут тебе и река!

— А что там Двина? Не знаете, как поднялся уровень?

— Двина-то? Разлилась как океан!

— Правда? А сплав уже начали?

— Ничего себе! Проснулись! Уж целый лес сплавили, а вы и не заметили?

— Златка! — толкаю я подружку. — Слышишь? По реке сплавляют лес, давай посмотрим! Абрашка уже там. Да вон все пошли!

Дождь наконец кончился. Но воздух еще влажный. В канавах бурлит вода, а по небу раскинулась на весь горизонт радуга.

Люди расходятся кто куда. А мы бегом к реке. Скорее на мост!

Тут стоит шум и грохот: на мосту галдят люди, под мостом бурлят волны. Река напирает и рвется из берегов, как рвущий цепи великан.

Она ревет, стонет, захлестывает то один, то другой берег, будто хочет затопить весь город. Серые, черные, зеленые волны набрасываются на опоры моста и, откатываясь, вырастают снова, мерясь с ними ростом. И вдруг накатывают на низкий берег, угрожая ближайшим домикам. Увлекаемый волнами, устремляется на берег и обратно песок.

Мы смотрим на все это с моста, и у нас захватывает дух: вода, кругом только вода...

Под нами пенные водовороты. Наверху — похожее на отражение реки небо. Голова идет кругом...

На мосту полно народу. Нас с подругой притиснули к мокрым перилам, капли пены брызжут сквозь прорези чугунного литья нам в лицо.

Вот опрокинутая с вершины холма в реку церковь. Крест наклонился и сейчас сломается на гребне волны. За ним потянулись деревья городского парка. Их ветки

сплелись и перепутались в водяной ряби, колокольчиками трепыхаются листья. Узнаю размытые парковые скамейки. Сколько раз я на них сидела!

А поверх этого отражения наползают и застывают похожие на белых медведей облака.

Весь город со своими домами, окнами, крышами словно оторвался от земли и скользит по реке.

Вдруг меня кто-то толкает, а затем на нас наваливается толпа.

— Ой! Меня сейчас сбросят в воду!

— Где Абрашка? Златка, где ты?

Со всех сторон вопят:

— Плоты, вон плоты!

Деревянный мост сотрясается от топота и крика.

Вдали, на горизонте, возникает вереница плотов — кажется, спускается с неба. Они плывут так медленно, что движения почти не заметно. Повисает тишина. Все глаз не сводят с бревен.

На двух концах каждого плота невозмутимо стоят, опираясь на длинные шесты, дюжие деревенские парни и словно спят наяву.

Потихоньку плоты все же приближаются. Уже слышен плеск весел. Лавина стволов подползает к мосту.

А навстречу им несутся крики, будто их не хотят впустить в город:

— Эй, там! Куда правишь? Куда тебя черт несет? Сломаешь шею! Бери левее! Слышь! Левее!..

— Где там левее? Правее давай! — Зычный голос перекрывает все остальные.

Каждый считает, что может справиться куда лучше плотогона. В возбуждении зрители пихают друг друга, как будто подталкивая тем самым плоты.

Гребцы задирают головы, ищут, откуда кричат. И обозленно плюют в воду.

— Чего они хотят от нас?

Плыли себе и плыли преспокойно день и ночь. А подплывешь к городу — с ума можно сойти. Мало того что в каждом городе перегораживают путь страшные

каменные столбы. Поди-ка обогни их! Даже волны и те разбиваются. А тут еще целая толпа на мосту только и ждет, чтоб плоты разъехались.

«Попробуй уцелей! Даже если минуешь мост, сверху орава посыплется!»

И все бурлит вода; опоры, как разъяренные хищники, издают угрожающий рык.

Плоты уже совсем рядом. Господи, что же будет? Я хватаюсь за перила, меня сдавливают в лепешку. Руки болтаются над водой. Я закрываю глаза — страшно смотреть вниз.

— Златка, не знаешь, где Абрашка?

Вот кто ничего не боится. А Златка трусит еще больше, чем я. И от страха больно щиплет за руку.

— Пусти! — Я отталкиваю ее.

Вдруг — дикий грохот! У меня глаза лезут на лоб. Где же плоты?

Все смешалось. Бушует вода. Всплывают короткие и длинные бревна. Скрепы лопнули, и плот рассыпался, словно коробок спичек. Бревна пляшут и крутятся вразнобой в бешеном кипенье волн. Сплавщики перепрыгивают с одного на другое, взлетают и ухают вниз, не выпуская из рук шестов.

Толпа на мосту гикает и хохочет. Плот разнесло — вот умора!

И никому не жалко сплавщиков, которые мечутся, как сумасшедшие, пытаются подцепить и подтащить своими тростинками-крюками толстенные бревна. А волны ревут и уносят их.

От берегов на помощь плотогонам отчаливают лодки. Но их качает и швыряет во все стороны в водяной каше.

— Очумел, что ли, куда прешь?

— Бросай шест, олух, не то я тебе голову проломлю!

— Эй, поднажми, косорукий! Чего скорчился?

— А ты что разорался! Пошел к черту!

— Сам пошел!..

Лодки, весла, шесты сталкиваются, мешают друг другу. Зеваки на мосту бегают из стороны в сторону, будто хотят собрать бревна сверху.

Одни лодочники чешут в затылке и плюют в воду, другие — ловят и волокут бревна.

Я бреду домой расстроенная. Все тело ломит, будто я сама разбилась вместе с плотом. Бревна так и мельтешат перед глазами, мне никак от них не отделаться.

Когда же плоты пройдут под мостом? Наверное, ночью... Когда все спят, стихает и вода, на мосту никого нет — вот тогда-то они крадучись проскользнут меж задремавших опор.

В КОНДИТЕРСКОЙ

С самого утра в доме кутерьма. Все чистится и моется. Готовится посуда к Пасхе. Вилки, ложки и ножи начищаются до блеска. Пузатый самовар испускает искры, как стрелы.

— Гляди, Саша! — Я наклоняюсь к самовару. — Вон твоя и моя голова!

— Отстань ты со своими глупостями! Выдумает тоже! У меня полно дел, надо помочь Шае. Сегодня седер!

Будто я не знаю!..

Мама дала мне длинный список вкусных вещей, которые нужно купить. Сама она занята в магазине и поручила это дело мне. Наверное, потому, что я лакомка...

— Башенька, будь настоящей хозяйкой! Позаботься, чтобы все было самое лучшее.

Сколько бы я всего ни накупила и сколько бы угощений ни наготовила Шая, в последний момент все равно чего-то не хватает.

Гости приходят с кучей детей. Все съедается подчистую, и всех припасов оказывается мало.

Я закупаю чуть не всю кондитерскую. «Для кого столько сладостей?» — будет возмущаться мама. Ведь Шая, при всех своих заботах, уж конечно не забудет испечь пироги и сделать свой коронный чернослив с грецкими орехами и медом.

Мимо этой лавки не пройдешь даже с закрытыми глазами. На улице еще холодно, но из одной подворотни идет горячий сладкий дух, и вкусный запах щекочет ноздри.

Там и находится еврейская кондитерская. Здесь выпекают лучшие в городе пирожные и печенья.

Я подхожу со своим списком к закопченной, будто она ведет прямо в духовку, двери. Ее потускневшая ручка никогда не остывает.

Вхожу и окунаюсь в сладкое облако. Прислушиваюсь: так тихо, словно в лавке никого нет. Слышно только ворчанье огня.

Кондитер, его старая жена и костлявая незамужняя дочь — никто не говорит ни слова. Зато все трое приторно улыбаются. Жаркая улыбка разливается по бледным лицам, точно их поливают разогретым сиропом из кувшина. Они купаются в сахаре и меде, даже если им случается съесть кусочек черного хлеба с селедкой. И никогда у них не пахнет, например, луком.

Все трое, тощие и сухие, как головешки, целыми днями снуют в старых тапочках из кухни в гостиную и обратно. Почему они называют лавку салоном? Может, из-за портрета на стене: хозяин с хозяйкой в свадебных нарядах? Косо висящая фотография под стеклом в черной рамке, засиженная мухами. Стулья с драной обивкой и несколько столиков. Когда эти столики загромоздили гостиную, она окончательно превратилась в лавку.

Что купить? Дверь открывается сама собой. В темной прихожей душно, как в парилке. Я вижу хозяйку: она нагнулась к печке и ворошит угли длинной кочергой.

— Здравствуйте! — вежливо говорю я в темноту.

Кондитерша, не разгибаясь, чуть поворачивает голову в мою сторону:

— Здравствуй, Башенька! Как дела? Давно тебя не видела. — Все это она говорит, глядя уже не на меня, а снова в печку.

— А-а, Башенька! Заходи! — Рядом со мной неожиданно выныривает хозяин, я и не слышала, как он вошел. — А я как раз думаю, чтó это Алтина дочка все не идет? Пончиков скоро не останется. Фруктовой пастилы не хочешь? Она сегодня удалась как никогда.

Дочь тоже тут, остановилась на полпути из кухни в гостиную. У меня щиплет в глазах и першит в горле от густой сладости.

Так что же выбрать? Столы ломятся, как на свадьбе. Вот целая мостовая блестящего карамелью печенья. Вот пухлые, белые, горячие, воздушные пироги. Золотистые миндальные пирожные. На другом столе россыпи булочек и пряничных звезд Давида. Тут же в большой миске остывает маковая масса для начинки, а рядом сияющая на весь магазин царственная ваза с горячим вареньем.

— Что вам доставить? Что мама просила? — спрашивает кондитер.

Я показываю пальцем на блюда:

— Вот это, это и вон то. До свидания, до свидания!

Скорее отсюда, не то задохнусь.

— До свидания, Башенька. Все будет доставлено. Счастливого вам всем праздника!

На улице вдыхаю воздух полной грудью. Как хорошо!

А теперь бегом домой. Как бы пакеты с покупками не прибыли раньше, чем я успею дойти. Припускаю со всех ног.

Так и есть, братья уже надкусили все, до чего добрались.

— Что мама скажет! Это же для гостей!

И я прячу подальше пасхальные сладости.

В ГОСТИ

— Башутка, тебе ватрушку или блины? — будит меня трубный голос Шаи.

— Блины? А что еще есть?

— Что еще? Не ребенок, а наказание! Мало ли, что есть! Есть булочки с маком. Вставай, я тебя причешу. У нас сегодня гости, будешь играть в орехи.

— Как ты думаешь, я выиграю? — Это уже шепчет мне на ухо Саша.

Как только папа уходит вздремнуть после обеда, мы располагаемся в гостиной. Братья достают из карманов пригоршни орехов. Все садятся на пол.

— В правой? В левой? В правой? В левой? — Мальчишки трясут кулаками у меня перед носом. Кулаки гремят, как погремушки, и оглушают меня. Я боюсь ошибиться, а братья норовят меня облапошить.

— В левой!

Я стараюсь удержать их руки, чтоб не жульничали.

Кулак разжимается, и орехи сыплются на пол.

Мы бросаемся ловить их. Я ползаю под столом, выгребаю орехи из-под буфета. Они застревают в щелях. Братья свистят сквозь зубы, гоняют орехи, как мячики, и соревнуются, кто первый поймает ногой.

— Эх, запить бы орехи винцом! — мечтает молчаливый Аарон, сплевывая на скорлупки, которыми усыпан весь пол.

— Держи, держи, вон куда твой покатился! — Абрашка подталкивает Сашу и сует орехи ей за пазуху.

— Дурак ненормальный! — Саша отбивается и встряхивает платье. Мы с хохотом разбегаемся по дому.

Я захожу в столовую. Стол сияет праздничной скатертью в цветочек, которую не доставали с самой Пасхи. Значит, намечается что-то торжественное. Я достаю из буфета приготовленные угощения: пастилу, печенье, миндаль, расставляю хорошенькие новые тарелочки. Доверху накладываю в вазочку варенье. Папа очень любит чай с вареньем. А тетя Рахиль вообще за чашку чая именно с этим, сливовым, отдала бы все сладости на свете.

— Кто должен прийти? Что еще поставить?

— Ух ты! Налетай!

Абрашка вихрем врывается в столовую, подскакивает к столу и запускает пятерню в блюдо с пирожками.

— Вот умница! Все уже готово! — На пороге появляется мама, свежая, улыбающаяся. Она подходит к зеркалу с париком в руках и надевает его. Легкие мелкие локоны расправляются и разлетаются как от дуновения ветра. — Знаешь, детка, завтра мы сами пойдем в гости к дяде Бере, — вполголоса, словно по секрету, говорит мне мама, вкалывая в волосы длинную шпильку.

Из всех детей папа с мамой берут с собой в гости только меня.

— Уже звонят! — Я бросаюсь встречать. — С праздником, дядя! С праздником, тетушка! — Я так и прыгаю вокруг гостей.

Дядя Хаим-Лейб широко улыбается. По случаю праздника его лицо из розового стало почти красным. Но привычная сигара еще не торчит изо рта, как дымящаяся труба.

— Что поделываешь, Башенька? — Добрые глаза тети Рахили тоже улыбаются мне. Это самая близкая из всех моих теть. Я могла прожить у нее все лето, могла запросто заходить к ней хоть каждый день. Сегодня ее не узнать в расшитой стразовыми висюльками накидке, такой широкой и длинной, что тетя похожа на живую вешалку. — Осторожно, Башка, оторвешь! А я надеюсь, с Божьей помощью, ее еще годик поносить!

— Хотите снять шляпу?

Шляпа сидит набекрень, и мне кажется, тете трудно держать ее на голове. Целая гора лент и цветов — такая тяжесть! Да еще каждый год по цветку прибавляется.

— А мы, тетушка, завтра идем к вам с дядей Бере.

— Знаю-знаю, и ты приходи! У меня для тебя кое-что есть, — шепчет она мне.

— Башенька, успокойся! Почему ты не ведешь гостей? — кричит мама из столовой.

— С праздником, Алта! С праздником, Шмуль-Ноах! — Дядя наконец входит и с таким пылом приветствует моих родителей, словно давно с ними не виделся. Сегодня он даже пожимает им руки, а в будни только кивает с улыбкой.

— С праздником, с праздником!

Папа сидит за третьим стаканом чая.

— Как поживаете, Рахиль? Садитесь. — Гости садятся к столу. — Что слышно в городе? Вы ведь всегда так горячо участвуете во всех делах общины. — В папином голосе сквозит легкая ирония и даже обида на то, что его-то в них так подробно не посвящают.

— Да откуда мне знать? Говорят, что... — И дядя принимается пересказывать городские новости.

Мы слушаем. Даже папа многого не знает. Вот уж, действительно, если бы не дядя, мы бы понятия не имели, что творится в городе.

Дядя говорит без умолку. Счастливый, что его слушают, расходится еще больше. Новости следуют одна за другой, каждая разрастается в целую историю, пока ее не оборвет чья-нибудь брошенная невзначай шутка.

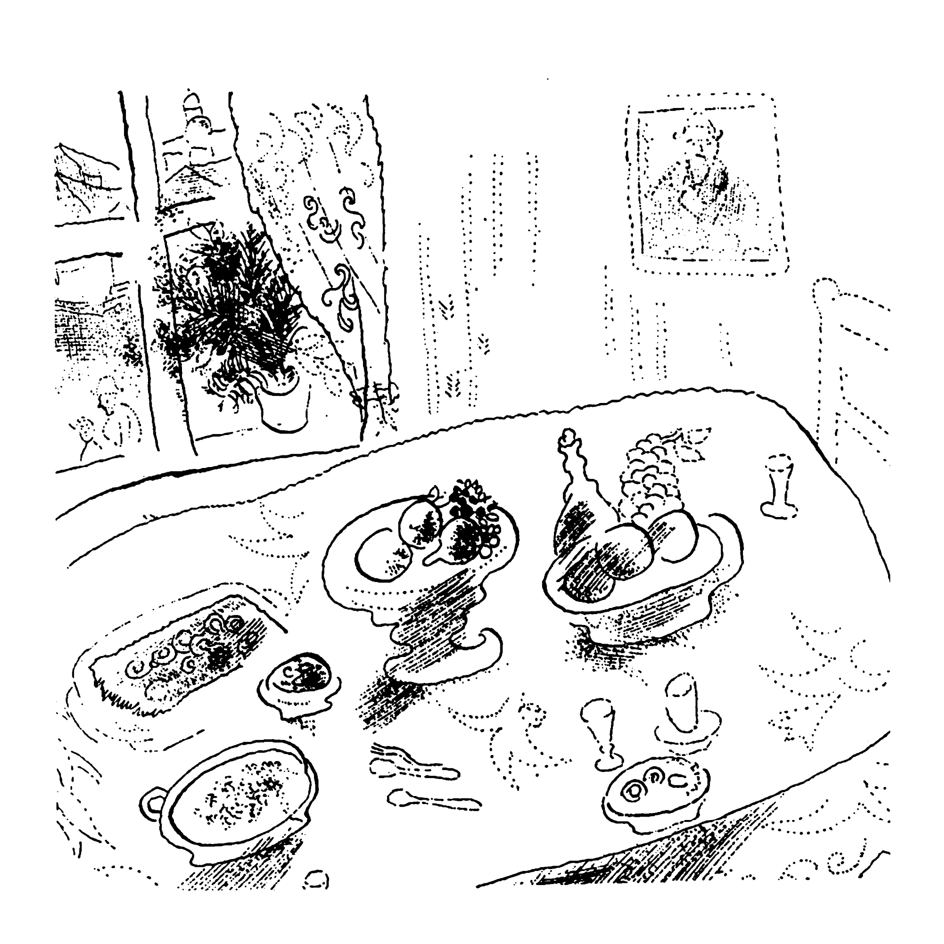
— Дядя, возьмите кусочек торта!

— Вот это, я понимаю, торт! — с набитым ртом восхищается дядя. — Ты выбирала, Башенька? Ну, ты знаток! Вот на кого можно положиться!

Я краснею, как свекла, и прячусь за тетин стул.

— Тетя, попробуйте чернослив, хоть штучку!

Мне хочется закормить ее сладостями. Чернослив сочится медом, так и просится в рот. Но тетя только смотрит на него, наслаждаясь одним видом. Я обхажи-



ваю гостей, предлагаю пастилу, миндаль, но они, кажется, уже утомились, то ли от дядиных рассказов, то ли от угощенья. Они встают со стульев. В передней я подаю тетушке накидку и слегка встряхиваю ее, чтобы зацепившиеся висюльки улеглись на место.

— Ты всегда обожала побрякушки. — Тетя улыбается довольная, что мне так понравилась ее старая накидка, и сконфуженно поправляет обвисшую, бесформенную шляпу.

— С праздником, Алта! Бог даст, скоро увидимся у нас. Башенька, спасибо за угощение!

— С праздником, с праздником! — Мы провожаем гостей до двери.

— Рахиль плохо выглядит. С ней что-то не то. — Мама качает головой, и все молчат.

— Башенька! — зовет меня мама на другой день. — Одевайся! Идем к дяде Бере.

— Что мне надеть?

— Откуда я знаю! Что хочешь.

Я несусь на кухню:

— Саша, где мое синее платье?

— Никуда не делось, вот оно, надевай. А вам черное, хозяйка?

Она помогает нам одеться, ловко застегивает. Одной мне бы не справиться.

— Ты так выросла с прошлого года, Башенька, — по платью видно.

Одетая, причесанная, я смотрю, как Саша расправляет черные кружева на мамином шелковом корсаже. Брошка-звездочка искрится под горлом, крошечные бриллиантовые серьги вдеты в маленькие ушки.

Мама сияет в своем черном наряде, как звезда на ночном небе.

Пусть бы вот так стояла и не шевелилась. Но она поднимает руки, будто крылья, и прикалывает булавкой шляпу. Два прикрепленных сзади черных пера свисают и покачиваются с двух сторон.

Жаль, мне никогда не надеть эту ее шляпу с перьями. Почувствовать бы, как она по-птичьи колышется на голове.

— Ты не видела мой шапокляк? — Папа весь взмок. Он уже надел воротничок и манжеты, и с него довольно. Он бы с радостью остался дома... Как по волшебству, выскакивает из отверстия длинная тулья. Мама обтирает и обдувает ее, чтобы придать блеск.

Папа надевает цилиндр. Я смотрю во все глаза. Он в один миг вырастает и становится похож на стену с черной трубой. Наконец мама с папой выходят за порог. Цилиндр не покачнулся. Мамины легкие перья чуть дрогнули.

— Дети, стерегите дом. Не уходите все сразу, — говорит мама, обернувшись напоследок. Даже в парадном платье она помнит о жуликах.

На улице полно народу, все идут в гости. Черные, коричневые, зеленые, бронзовые туалеты. Приветственно кланяются друг другу плывущие, как парусники, широкие, нагруженные цветами и лентами шляпы. Мама знакома со всеми дамами в городе.

«Где же папа?» Я ищу глазами его цилиндр. Мужчины шагают каждый особняком, с раздумчивым видом, заложив руки за спину. Иногда, как в полусне, кивают головой. Волнуются густые бороды. Женщины идут медленно. Должно быть, нелегко нести на себе снаряжение из длинного платья и огромной шляпы, украшенной сухими цветами, которые символизируют листву праздника Кущей. Да и новые туфли жмут.

Тротуар узкий. Меня то и дело задевает по лицу широкая расшитая пола чьей-нибудь накидки. Лучше сойти на мостовую: хоть больно ступать по камням, зато никто не толкает. Пока мама не втаскивает меня обратно, я успеваю постоять на окаймляющих дорогу чурбаках и приложить руку к телеграфному столбу. Он так гудит, что страшно: не унес бы и меня вместе с депешами.

— Мама, а где папа? Я его не вижу.



— Чего ты боишься, дурочка?

Я боюсь, как бы в этом неведомо куда текущем потоке женщин мы не прошли мимо дядиного дома.

— Мама, идем скорей, папа нас, наверно, ждет. — Я тяну ее за рукав.

— Да мы уже пришли. — Мама останавливается перед открытыми настежь воротами. Я бросаюсь во двор и сразу подбегаю к дядиному окну. Да, папа сидит за столом и уже пьет чай.

Нас встречает тетя Мейре. Статная, пышная, похожая на могучую ель. От нее пахнет сладкими духами.

У нее вытянутое веснушчатое лицо, рот с крупными зубами, маленькие, похожие на блестящие угольки, глазки.

— С праздником, Алтенька! Рада видеть вас, хвала Господу, в добром здравии! Раздевайся, Башенька! — Слова сыплются с ее губ вперемешку с трескучим смехом.

— У тебя орехи есть? — раздается хриплый шепот над самым моим ухом.

— Пошли скорей играть! — возникает другой двоюродный братец.

Бомбке и Сёмке, краснолицые и круглые, похожи на два пузатых барабанчика. Карманы их набиты орехами. Они так орут, будто запихивают свои орехи мне в уши.

— Дети, тише! Дайте нам передохнуть. Что у вас за шум? Невозможно разговаривать! — одергивает нас тетя Мейре.

Бомбке и Сёмке гримасничают и подмигивают мне у нее за спиной. Но тетя вдруг проворно поворачивается и, удерживая меня за руку, приказывает сыновьям:

— Марш отсюда! Идите гулять во двор! — И, отгоняя их от меня, выпроваживает вон. — А ты, Башенька, заходи! У меня столько вкусного. Надо же всего попробовать! — Она смеется, все знают, что я сластена.

Сижу и уныло жую миндаль. Мне ужасно скучно. Комнаты у тетушки тесные, мы все стиснулись вокруг стола, впритык к окнам и стенам, так что не повернуться.

Дядя Бере — молчун. Он тут младше всех, но выглядит намного старше жены и дяди Хаим-Лейба. Волосы его так белы, как будто на голову накинуто свежевыстиранное покрывало. В тихих черных глазах затаилась улыбка. Длинный красный нос, вялые губы. Густые мохнатые брови. Дядя боится вымолвить слово. Верно, считает, что все вокруг умнее его. Сидит, как застенчивая девушка, и заливается румянцем, если его о чем-то спросят. Поэтому беседа за столом не клеится. Только тетя Мейре не закрывает рта.

— У вас остынет чай, Алта! Возьмите варенья, реб Шмуль-Ноах. Вы ведь любите мое варенье. Алтенька, попробуйте печенье. Это моя гордость. Башенька, ты доела миндальный крем? Хочешь кусочек пирога?

— Нет, спасибо, я больше ничего не хочу.

— Как это ничего? Уж не заболела ли ты, Боже сохрани? Тебе нехорошо? — Тетя обеспокоенно суетится вокруг меня.

А я сижу размякшая, отупевшая. За окном двоюродные братья швыряют друг в дружку орехами.

— Мама, пойдем домой! — вырывается у меня, и я со стыдом прижимаюсь к ней.

— Почему тебе вдруг захотелось домой?.. Впрочем, пора уже собираться!

— Куда вы спешите, Алтенька? Магазин ведь не открывать, — удерживает тетя.

— Все равно, уже поздно! Пока вернемся...

Все выкарабкиваются из-за стола.

И тут-то, когда гости уходят, дядя Бере выходит из оцепенения и заводит какой-то длинный рассказ.

Но я уже во дворе.

— Дура, почему ты не пошла с нами играть? Просидела там, что ли, к пирогам прилипла?!

Бомбке и Сёмке обстреливают меня пустыми скорлупками. И я убегаю, будто в меня летят горячие угли.

ЛЕТО НА ПРИРОДЕ

Если папа с мамой оставались в городе, то отправляли меня на все лето к тете Рахили.

Худенькая, хрупкая тетя Рахиль всегда была печальной. Да и не с чего ей веселиться. Зато дядя Хаим-Лейб был человеком жизнерадостным. Любил посмеяться и пошутить. Ни минуты не сидел на месте, весь день где-то бегал, выпятив встопорщенную бороду

Мы относились к нему без особого почтения — видели же, что папа не принимает его всерьез. И нисколько не боялись его косматых бровей, под которыми поблескивали маленькие глазки.

Он вечно держал в пожелтевших зубах и с наслаждением потягивал длинную сигару.

С ним можно было побаловаться, поболтать, можно было даже пощекотать его, потаскать за бороду, поиграть его тростью с костяным набалдашником.

Дядя с тетей управляли вторым нашим магазином, который находился на другом берегу. Дядя каждый день приходил за товаром и приносил выручку. И, хотя он был маминым братом, папа не очень ему доверял.

Дядя был осведомлен буквально обо всем, что происходило в городе. По утрам в синагоге, днем на улице, у соседей, в окрестных лавках, вечером у ребе — он всюду успевал, всюду заходил, усаживался, жадно слушал, вставлял словечко-другое, рассказывал анекдот или просто наблюдал.

И так часами. В магазине он бывал редко, дома — еще реже. Забежит перекусить, проглотит стакан чая — только в эти минуты тетя Рахиль его и видела. А так весь день проводила одна.

Ходила из угла в угол по магазину. Если являлись разом несколько клиентов, ей помогал часовщик. Каждого покупателя она подолгу, до хрипоты уговаривала, повторяя одно и то же на разные лады, пока он наконец не уходил с покупкой или с пустыми руками. Она же оставалась сидеть на высоком табурете за кассой, с каким-то виноватым видом, нос ее покрывался капельками пота, очки съезжали по нему на самый кончик.

Когда же никого не было, часовщик сидел в своем закутке, а тетя забивалась в комнатушку за магазином хлебнуть чайку с вареньем.

И так день за днем, без передышки. И только летом, в деревне, выдохшись за год, тетя могла прийти в себя.

Тут уж волей-неволей хозяином в магазине становился дядя.

— Если твоя тетка уезжает, пусть хоть тебя с собой возьмет, — говорила мама.

И вот мы собираемся в дальний путь. Собственно, не так уж это далеко, но ехать надо поездом. Сначала одним, потом пересесть на другой, а там еще и в тряской телеге.

В ней мы едем долго, потому что в каждой деревне местные женщины хотят знать, кто мы такие. Я разглядываю их сквозь щели двуколки. Они все какие-то черные, замотанные в платки и косынки, лица у всех озабоченные, насупленные. Но находят время остановиться на площади и расспросить тетю и кучера. Тетя отвечает как старым знакомым, и, когда телега трогается, они доброжелательно смотрят нам вслед. Как будто она сказала им что-то очень важное. Все улыбаются и желают нам доброго пути. Колеса стучат по деревянному настилу. Когда темные женщины на площади превращаются в маленькие точки, я растягиваюсь на соломенных тюфяках.

До чего же мягко!

Мы катим по песку. Деревца вдоль дороги подпрыгивают в ритме колес, поддувает ветерок, скоро вечер. И наконец мы приехали. Осоловевший кучер слезает с козел.





В маленькой спаленке нас ждут две узкие белые кровати. Но бо́льшую часть дня мы проводим на веранде, где полотняная занавеска укрывает нас от солнца и дождя. Нас вкусно кормят. Из кастрюли с тушеным мясом, картошкой и луком поднимается легкий парок, сладкий, как непрестанные грезы, в которых витает тетушка. После обеда она отдыхает, а я убегаю в поле. Солнце золотит колосья пшеницы.

Я собираю васильки и маки и складываю их в подол — от этого пунцовое платье разгорается еще пуще. Потом раскладываю цветы на траве, стебелек к стебельку. Обрываю лепестки и пускаю их по ветру — гадаю, сколько лет проживу. Дома расставляю букеты по всей веранде и жду тетушку, чтобы идти купаться.

Мы раздеваемся на песке, под крутым откосом. Я шлепаю по воде, поднимая тучу брызг. Тетушка окунается у берега. Приседает и встает, хлопая по воде руками, но очень скоро вылезает. Я тоже ложусь на песок и сквозь полузакрытые веки смотрю на небо. Потом снова встаю, захожу в воду и плыву вдаль.

Тетя зовет меня, кричит, что остынет самовар. Машет руками, чтобы я вылезала. Хватит! Все уже ушли. Но я плаваю до изнеможения.

Там, вдалеке, тетя уже взобралась на кручу. Ее голос доносится из-за деревьев. И тогда наконец я выскакиваю из воды, второпях накидываю платье и бегу, утопая в высокой траве, на веранду. Тетя уже успела напиться чаю и ждет меня, чтобы разрезать политую сметаной творожную запеканку.

Часто мы с двоюродными братьями — они живут тут же, близко — катаемся на лодке. Собирается веселая компания мальчишек и девчонок. Я гребу до пузырей на ладонях. Рано поутру друзья будят меня, и мы идем в лес за земляникой. Скромные ягодки так соблазнительно краснеют на ползучих кустиках, что я набираю полную пригоршню и отправляю прямо в рот, а корзинка так и остается пустой.

А черникой просто обжираюсь. Синие руки, синие губы, и для корзинки хватает. Хожу, пригнувшись к земле, как старушка, и шарю по кустикам. Когда же разгибаюсь, не знаю, здесь ли еще мои братья, или я одна в лесу. Дрожит каждый листик, деревья вздыхают. Трещат и падают сухие ветки.

Вдруг срывается и перелетает с верхушки на верхушку всполошившаяся птица. Где-то вдали поет соловей, на миг все стихает, и слышно его одного. Я зову остальных. Кто-то, кажется, отвечает, но может, это просто сорока. Где я? Ушла вперед или хожу по кругу? Солнце пробивается сквозь листву. Лучи пляшут на ветках. Жук ползет через тропинку. Нечаянно наступаю на муравейник и пугаюсь больше, чем сами муравьи. Они суматошно копошатся, лезут мне на ноги. Я отряхиваю подол. Жара и страх допекли меня окончательно, и я бегу вон из леса, к большой дороге.

На опушке все собираются вместе. Каждый взвешивает на руке свою корзинку. У кого больше ягод? И гурьбой идем домой.

После дождя мальчишки зовут меня за грибами. В лесу сыро. Землю устилают мокрые листья. С веток капает на голову и за шиворот. А то вдруг под ногами вода. Я не люблю грязи и луж, мне все мерещатся в них лягушки. Как услышу кваканье, так все внутри сжимается.

Попадаются грибы. Но, чуть прикоснешься, дрябло обвисает шляпка. И такие скользкие, что противно. На старых грибах налет зеленоватой плесени. Не понимаю, как это тетушка ухитряется превратить эту добычу в такое вкусное кушанье.

За всеми этими играми, прогулками, трапезами незаметно проходит лето, и я возвращаюсь домой в два раза толще, чем была.

Совсем другое дело, когда родители сами снимают дачу.

Сначала снаряжают и отправляют вперед две-три подводы с мебелью, постелью и съестным. Следом та-

щится привязанная веревкой наша рыжая корова. И мычит, задрав голову, на небо.

Служанка Саша сидит рядом с кучером на груде матрасов.

И только через несколько дней на поезде привозят нас, детей.

В доме, бревенчатом срубе, сладковато пахнет смолой. Стены и пол лоснятся.

Папа с мамой приезжают только на Шабат. Братья терпеть не могут торчать за городом всю неделю. Так что я остаюсь одна, предоставленная сама себе.

Бегаю по лесам, как молодой зверек. В сосновом аромате, между высоких сосен под синим куполом неба. Солнце мечет с верхушек деревьев пучки лучей на тропинку. Искрятся птичьи глазки. По земле стелются черные тени и убегают прочь, едва я сдвинусь с места.

Я ухожу все дальше, теряюсь среди стволов. Наступаю на сухие веточки под ногами и добавляю свою толику в лесной шум, как какая-нибудь птаха, что копошится и чирикает в зеленой кроне.

Ищу местечко, где бы прилечь. И, закинув руки за голову, смотрю, как пробиваются сквозь ветви лучи, как пляшут блики и тени. Слушаю лес. Все вокруг щебечет, стрекочет, жалобно посвистывает. Где-то стучит топор. Я встаю и вижу перед собой двух здоровенных, кряжистых, чернобородых мужиков. В руках блестит по топору, из котомки торчит бутылка. Четыре изумленных зеленых глаза глядят на меня, как на черта. Не подавая виду, что испугалась, я ухожу, будто ничего не видела, и прислушиваюсь к тому, что происходит сзади. Не оборачиваясь, представляю себе, как облегченно опустились их плечи. Как, поплевав в ладони, они продолжают рубку.

Из леса выхожу к реке. Течение довольно быстрое. Поплыть бы по нему щепкой.

Вдруг резко темнеет. Набежавшие тучи прячут солнце и синеву. Вспыхивают и скрещиваются белые клин-



ки, полыхают молнии. Я забираюсь в кусты, которые треплет ветер. Но от ливня никуда не спрячешься.

Люблю купаться в грозу. Берег забросан листьями всех деревьев вперемешку. Вода теплая, со свинцовым блеском. Медленно вхожу в нее. Я совсем одна, только молодые зеленые стебли рядом бьются на ветру и смеются над дождем и громом. Мокрая насквозь одежда валяется на песке. Домой я бегу, облепленная влажной простынкой.

Пятница, конец дня. Во всех домах на верандах пьют чай с вареньем. При виде закутанной в простынку фигуры, бегущей под дождем, дачники в недоумении отставляют блюдечки.

Рано утром я выскальзываю из постели, бегу на веранду и забираюсь с ногами на банкетку.

Глухо доносятся голоса только-только проснувшихся служанок. Час или больше я сижу над книжкой. Дачи разбросаны островками. Всю неделю дети сидят одни. Иногда мы устраиваем турниры по крокету.

После ужина большие и малые собираются на веранде. Мы играем, ползаем под столами, смеемся допоздна, пока кто-нибудь не откроет окно и не прикрикнет на нас. Тогда мы уходим из дому и перебираемся петь в уснувший лес.

А под конец идем на вокзал смотреть, как прибывает и отходит поезд.

Собственно, весь вокзал — это скамья под навесом.

Мы скользим на одной ножке вдоль рельса, изображая акробатов на проволоке.

Свистя и пыхтя, подходит поезд.

Навстречу ему из будки выскакивает заспанный диспетчер и бросается укрощать паровоз, как разъяренного быка.

Подержав немного, паровоз выпускают на волю, он набирает духу и удаляется, сначала медленно, потом все

быстрее и быстрее, пока от него не останется тонкая черточка дыма на небе.

Однажды в пятницу вечером, когда мы уже легли, нас разбудили возгласы и смех. Не вставая с постели, я смотрела сквозь жалюзи. Это старшая сестра и ее друзья приплыли на лодках.

Она разбудила Шаю, кухарку, и поставила на стол все, что было приготовлено на завтра. С шумом и смехом компания наворачивала рыбу и холодную курицу, забыв о том, что вокруг, на дачах, все давно уже спят. Наконец не выдержал наш ребе — выскочил на веранду босиком, в ночной рубахе до пят, и прогнал буянов. Седые волосы, борода, длинные руки — все взметалось, как на ветру.

— Вон отсюда, бесстыдники! — кричал он хриплым голосом. — Сгиньте, безбожники!

И хотя все эти молодые люди были ярыми социалистами и не боялись даже полиции, перед ребе они превратились в маленьких детей и послушно ушли. Мы слышали только, как они поют в лесу по пути к реке, где их ждали лодки.

Я лежала расстроенная. Почему сестра даже не зашла ко мне?

Лето кончается еще быстрее, чем наступило. Укорачиваются дни. Вечерами зябко и грустно.

Отовсюду потянулись телеги — дачники уезжают в город.

Я остаюсь последней. Обхожу дома с заколоченными окнами, заглядываю на опустевшие веранды. Деревья печально расступаются и замирают.

Поникла и пожелтела трава.

Я молча бреду по песчаной дороге к вокзалу, куда скоро, свистя, подкатит бойкий поезд и заберет меня в город.

ПОДАРКИ

— Добрый вечер!

— Добрый вечер! С Новым годом!

Магазин заполоняет целая толпа: тут родители жениха и невесты, дальние и близкие родственники.

Они пришли выбирать подарки новобрачным. Каждый ломится в дверь так, будто боится, что его, сохрани Боже, не пустят. В магазине сразу становится тесно. Народу набилось столько, что не повернуться. Яркий свет керосиновой лампы режет глаза. Все щурятся.

— Куда это мы попали? В дом богачей?

Посетители внимательно осматриваются. Протирают очки, вытягивают из карманов, как красные вымпелы, большие платки.

— С порядочными людьми надо соблюдать приличия!

Мужчины приглаживают бороды и бакенбарды, покашливают. Кто помоложе и посмелее, сморкаются.

— С ума сойдешь от этого тиканья! — Старики хватаются за голову и, чтобы прийти в себя, подходят к витринам.

— Что же вы прячетесь? — подталкивают вперед будущего тестя, щуплого старика с длинной жидкой бородкой. — Вам, с Божьей помощью, выбирать первому.

С ним вместе враскачку выступает его солидная супруга.

— Не толкайтесь, пожалуйста! Пропустите невесту!

— Что ты смущаешься, Шимка? Ты уже, благодарение Богу, невеста! Пойдем-ка со мной поближе!

Худышка невеста цепляется за мать, будто вдруг охромела.

Жениха, темноволосого юношу, за почтенными сединами отцов и не разглядеть.

Завидев такое множество людей, продавцы разбежались по углам. «С такой семейкой придется разбираться часа четыре, а то и пять!»

— Хозяйка! Пришли за свадебными подарками!

Мама выныривает откуда-то из-за сейфа. Усаживается на свой высокий табурет и пробегает взглядом по лицам. Белый кружевной воротничок делает еще светлее ее приветливое лицо и вносит спокойствие в шумное семейство. Не говоря ни слова, мама всех собирает вокруг себя.

— Как поживаете, Алта?

Все смотрят на нее.

— Спасибо, хорошо. Грех жаловаться. А как ваше здоровье?

— Все слава Богу, хотя какое уж тут здоровье...

— Как? Боже! Кто-нибудь захворал?

— Да нет, пока Бог миловал. Но годы идут, да и мы их торопим. Стареем. Вот последнюю дочку замуж отдаю, Шимку, цвести ей да радоваться! Это моя младшенькая!

— Счастья вам и удачи!

Мамина ласковая улыбка ободряет мать невесты. Заправлять всем будет она. Ее дряхлый, вялый супруг молча стоит в сторонке. Зато она заводится и трещит с таким воодушевлением, что дрожат приколотые на шляпе цветочки:

— Подумать только, Алта! Дожили! А что поделать! Все идет по кругу! Скоро совсем старичками станем. Вот так! А там уж... — Она смолкает, словно прижатая к стене. Кое-кто из родственников тяжко вздыхает. Но мать невесты уже затараторила с новой силой: — Шимка, знать, под счастливой звездой родилась! Сколько было предложений! Но с этой партией мы, видит Бог, не прогадали! Жених... не смотрите, что молодой да зеленый... зато уже ученый! А уж происхождения самого лучшего, из прекрасной семьи! Такой почтенный



род! — Мужчины степенно кивают бородами в знак согласия.

— Ну, нашему Давиду и самому краснеть не приходится! Мы с мужем, дай ему Бог здоровья, долго обдумывали брачный контракт.

Теще приносят стул.

— Что такое? Не перебивайте, пожалуйста! Дайте договорить! Алта, вы слышали о прадеде жениха, раввине Менделе? Да упокоится он в светлом раю! Вот это благочестивый человек! Настоящий пророк. Уверяю вас! Дай Бог, чтоб о каждом можно было такое сказать. Да позаботится его святая душа о правнуке!

Головы присутствующих обратились к потолку, будто покойный предок находился там.

— О, вы уж слишком далеко отклонились!

— А вам какое дело? Неудивительно, что от вас у всех голова болит!

Дерзкий родственник остается посрамленным! Но кто-то еще хочет вставить слово.

Мама знает все семейство. Они женили и выдали замуж весь выводок детей и каждый раз выбирали украшения и свадебные подарки у нас в магазине, с маминой помощью.

— Как умерла? Да что вы говорите? Она всегда выглядела такой молодой и здоровой! — У мамы сжимается сердце при известии о смерти кого-то из родни. — Кажется, еще вчера выбирали ей подарки! Так ее и вижу! Сохрани нас Бог от всех напастей!

— А как жалко сироток! Еще совсем маленькие! — со слезами говорит пожилая тетушка.

— Э, грех жаловаться, Дебора! Шлоймо, благодарение Богу, недурно зарабатывает... — отбивает новую атаку на свои позиции будущая теща. Ее не остановишь. Она будто боится, что, прекрати она нахваливать жениха, это сокровище, глядишь, и ускользнет от нее.

Но и тетушка не может удержаться:

— Словом, нам повезло!

— Да вы-то что лезете, вы-то что перебиваете?

— Кто? Я? Что вы на меня накинулись? Что я такого сказала? Я ничего не сказала!

— Тихо, нечего тут препираться!

Мама приходит на помощь обиженной тетушке:

— А как поживает ваша старшая сестра? По-прежнему страдает ногами? Что ж, все под Богом ходим!

Семейство дружно вздыхает вместе с мамой. Все смолкают.

Невесте не терпится поглядеть, какой подарок ей выберут.

Маленького росточка, совсем еще дитя, она, потупив глаза, слушает всю эту женскую болтовню. А как только посмотрят на нее, краснеет, не знает, куда деваться, и прячется за спину матери.

На жениха она не смеет и взглянуть. И видит-то его чуть не первый раз. А он держится особняком, как посторонний. Наконец родители невесты вспоминают, зачем пришли.

— Ну, что будем покупать? Что вообще-то нужно? Жениху подберем часы с цепочкой и кольцо. Так! Невесте, с Божьей помощью, тоже приличные часы.

И начинается церемония.

Отец, мать, тетки ощупывают и подносят к уху каждые часы, взвешивают на ладони каждую цепочку: «Сколько весит такая вещица? Как-никак золото!»

Двоюродные сестры примеряют каждое кольцо. Они ведь, даст Бог, в свой час тоже станут невестами... Все такое красивое, что голова идет кругом. Каждый считает себя знатоком. Каждый высказывает свое мнение. И каждый что-то облюбовал.

И все забыли, что надо на чем-то остановиться.

— На одних часах свет клином не сошелся! — восклицает перезрелая кузина. — Надо посмотреть и другие! — Она уже забыла, как восторгалась предыдущими, но хотела, чтобы выбрали то, что нравится ей. — Положитесь на меня! Я живу в центре города. Из Витебска никуда не уезжала. Все ювелирные витрины знаю почти наизусть.

Старшие больше значения придавали не красоте, а весу:

— Главное, чтоб было хорошее золото. И чтоб люди, упаси Бог, не подумали, что мы скупердяи!

И, хотя все устали, не могут глаз отвести от сияющего золота — не каждый день видишь такое.

Мама тоже утомилась, но улыбается, сидя на своем табурете. А про себя думает, что, пока хоть что-нибудь будет куплено, придется еще попотеть! «Но надо продать! А то, не дай Бог, уйдут к конкурентам!»

Беспокойство придает ей новые силы, она велит достать еще и еще футляры и услужливо их распаковывает.

Вот маленькие часики переливаются в маминой поднятой руке. И глаза ее вдруг блеснули так, словно она выиграла главный приз в лотерею. Она уверена, что на этот раз все клюнули на приманку. И правда, все смотрят молча, даже кузина-перестарок обомлела от изумления.

От волнения у мамы чуть не выпрыгивает сердце из груди. Она быстро окидывает взглядом лица всех родственников жениха и невесты. Заметив, что один из них готов к чему-то придраться, она спешит заговорить ему зубы:

— А как дела у вашего брата? На жизнь хватает?

Главное — не упустить! Невеста явно на ее стороне. Как увидела последние часики, так и затрепетала.

Но так просто семейка не сдастся. Наступает решительный момент. Все выжидающе смотрят на родителей жениха. Последнее слово за ними.

— Хвала небу! Эти подойдут... Раз невесте нравится... пусть принесут ей счастье!.. пусть носит на здоровье! — произносит отец жениха, до тех пор не вымолвивший ни словечка. Потом засовывает в нос понюшку табака и снова теряет дар речи.

— Да, но надо еще узнать цену! — хмурится его супруга.

Начинается торговля.

Мама меняет тактику. Берет большой журнал, где значатся все товары. Медленно листает страницы толстой тяжелой книжищи. Все сгрудились, и каждый норовит сунуть в нее нос. Но попробуй разобраться в этих каракулях! Как отыскать среди этих черных букв блестящие часики?

— Это не так просто, как кажется. Тут есть своя хитрость. — Мама ищет пальцем номер. — Вот он!

Все глядят на палец. Под ним точно такие же цифры, что и на этикетке.

Старики родители проникаются к маме еще большим почтением.

— Ну что сказать, Алта! Чтоб так разбираться, у вас должна быть голова, как у раввина! — Покупатели ищут лазейку. — Ей-же-ей, Алта, мы вам верим, как Богу. Столько бы радостей принесли нам наши дети, сколько подарков мы им у вас купили! Но... вы же знаете... средства у нас не так велики... И потому... скинули б вы малость цену, вот было бы божеское дело, Алта, а?

Мама в смятении прикладывает руку к сердцу, как бы говоря: «Если уж вы не верите учетной книге...»

— Вы же знаете, я всем продаю по самым справедливым ценам. Давайте считать! К указанной цене надо прибавить восемь процентов на расходы и прибыль...

Мама придвигает большие счеты. Черные и белые косточки оживают и скачут, притягивая друг друга. Мамины пальцы порхают по ним, как по клавишам пианино.

Семейство начинает нервничать.

— Когда ж они остановятся? Косточки-то золотые!

Почти все косточки перекинуты. Мама смотрит на застывшие счеты и строгим голосом неумолимо настаивает:

— Это последняя цена. И, поверьте, очень выгодная. Врагам моим столько счастья, сколько я на этом выручу!

Клиенты знают, что мама не обманывает. Но как же не выторговать хоть копеечную скидку!

Маму обступают со всех сторон. Улыбки исчезли, от учтивости не осталось и следа. Обозленные лица, неприязненные взгляды. У мамы сохнет во рту, сипнет голос. Сейчас бы чашечку чая... Но она держится стойко и улыбается из последних сил.

Один из членов семейства делает движение к двери. У мамы темнеет в глазах. Три часа уговоров впустую.

Несколько человек колеблются. Конечно, торговаться неприлично, но потом ведь замучают упреками... и они тоже поворачиваются к выходу.

Мама темнеет лицом, тонкие губы огорченно кривятся. Уходят!

— Ну Бог с вами, по рукам!

Родичи расцветают и возвращаются к прилавку. Свекровь торжествующе улыбается. Вот у кого поучиться, как выцарапывать копейку! В магазине опять светло и радостно. Возвращается праздник.

Покупка подарков — это уже начало брака. Невеста, раскрасневшись, глядит на свои сокровища, уложенные в футляр на красный бархат.

Жених же, замечтавшись, разглядывает серебряные сервизы в низких витринах.

— Вы умеете заводить часы? — обращается к нему мама.

Невесте она протягивает маленький сверток и помогает надеть на палец веревочное колечко:

— Будьте счастливы!

Девушка смущается и заливается румянцем, как будто ей надели обручальное кольцо.

— Спасибо! — отвечает за нее ее мать.

— Дай Бог нам и следующий год встретить в добром здравии!

— Аминь!

Старик отец поглаживает бороду.

— Кажется, уже поздно? — спохватывается его сватья и смотрит на шеренгу часов на стене. — Пора домой.

— До свидания, Алта!

— Счастья вам в новом году, здоровья! И пусть дети приносят вам одни радости!

Головы приходят в движение. Родичи толкутся у дверей.

— Вы выходите? Проходите первым! Вы ведь, сдается мне, на год старше!

— Что вы! Кто считает годы? До ста двадцати еще, даст Бог, много времени!

Из магазина все выходят в приподнятом настроении. Не зря старались! Девушки идут вприпрыжку и прыскают со смеху, будто их щекочут.

— Уф! Откройте дверь! — Мама хватается за голову и бежит в комнаты передохнуть.

Я несу ей стакан чая с вареньем.



СВАДЬБА ААРОНА

Из всех моих братьев только Аарон любил делать мне игрушки.

Его тонкое лицо всегда так спокойно, будто он таит в себе непочатый сон, который боится потревожить. Длинные пальцы все время что-то мастерят. Из хлебного мякиша он лепит разных птиц и зверей. Из серебряной фольги умеет сворачивать чаши, кубки и бутылки. На завернутой в папиросную бумагу расческе может наигрывать мелодии.

Однажды в канун субботы Аарон вдруг признался маме, что у него есть невеста. Весь дом в изумлении. Даже мама ошарашена.

Целый день она занята в магазине, некогда и подумать, что дети где-то там растут или даже уже выросли. Ей и в голову не приходит подумать об их планах. Для нее вся жизнь — это магазин, а значит, так должно быть и для ее детей.

Аарон — единственный, кто остался работать в магазине, может заменить папу и съездить за товаром. Что не мешает папе по-прежнему относиться к нему как к мальчишке. Когда Аарон возвращается после долгих поисков лучшего товара, усталый с дороги, папа, вместо приветствия, бурчит:

— Явился! Дурень такой! Что ты там столько торчал в Москве? Небось опять новую шляпу купил!

Вот почему, когда в ту знаменательную пятницу Аарон вдруг предстал взрослым юношей и заявил, что хочет жениться, никто ушам своим не поверил.

Папа понял, что это всерьез. Перед ним уже не ребенок, на которого можно шикнуть. Помолчав несколько минут, он принимается расспрашивать Аарона:

— И кто же невеста? Кто ее родители?

Оказывается, невеста из Двинска, а ее родители тоже содержат небольшую ювелирную лавку, торгуют серебром. Папу это не слишком радует. Ему всюду мерещатся конкуренты.

Репутация этого семейства ему неизвестна. Они не из любавичских хасидов. И только когда бобруйский раввин дает благословение на этот союз, мы начинаем шевелиться.

Свадьба состоится у родителей невесты. Мы готовимся, заказываем наряды.

Мама всегда хорошо одевается, но к свадьбе сына хочет сшить себе и мне новые платья. Мы идем к лучшей в городе портнихе, польской знаменитости, чуть ли не генеральше. Проходит не одна неделя, наконец наряды готовы, и мама примеряет платье перед трюмо портнихи. Хоть картину с нее пиши! Платье сказочное: густо-вишневое, из переливчатого, шуршащего при малейшем движении шелка, украшенное кружевом цвета тусклого золота. Широкое и длинное, так что не видно туфель. Сзади ниспадает узкий шлейф, который мама может подхватить и закрепить на запястье бархатной лентой. В руке она держит серебряный кружевной платочек.

Из украшений же, хотя наши сейфы и витрины ломятся от золота и драгоценных камней, мама надевает только маленькие бриллиантовые серьги, поблескивающие в ушах, как детские глазки. Да еще на груди приколота брошка-веточка с алмазной россыпью.

Мое платье песочного цвета, без рукавов и с открытой шеей. Но из-за смуглой, в тон платью, кожи шея и руки не так торчат. На талии пламенеет закатным багрянцем широкий шелковый бант. Платье спускается мягкими складками почти до полу, но из-под него все же видны черные лакированные туфельки и мелькают



светлые чулки. Распущенные волосы перехвачены лентой из той же ткани, что и платье.

Когда наши наряды доставляют домой, их складывают в большой плетеный сундук. Они лежат с самого верха, бережно сложенные и отделенные от остальной одежды, покоясь на груде фраков, сшитых для жениха, папы и братьев.

Это было первое мое настоящее путешествие. Утром, еще до благословения молодых, я надела свое новое платье и решила взглянуть на невесту, до того как она выйдет в полном уборе.

Невеста крепко сбита, осаниста, пышная грудь натягивает ткань платья. Глаза у нее разные: один каштановый, другой светло-серый. Отец говорит, что это к счастью.

Я вхожу в комнату, где ее одевают; как ни странно, она совсем не стесняется, стоя перед нами почти голой. Затаив дыхание, я слежу, как ее облачают в белое платье. Прозрачная вуаль, которую прикалывают к ее высокой прическе, делает ее еще полнее.

Спустя некоторое время я вместе с другими стою около кресла невесты и жду. Когда же она появится? Потихоньку разгораются свечи у нас в руках — мы освещаем дорогу невесте.

Когда наконец невеста уже восседает на почетном месте, окруженная женщинами и девушками, я перевожу взгляд на дверь, из которой медленным, плавным шагом выходит стеснительный Аарон в сопровождении папы, отца невесты и десятка других мужчин.

И больше уже не смотрю на невесту, пораженная папиным лицом: оно стало еще бледнее обычного. Но, не успев пройти несколько шагов, он останавливается. Невеста вдруг откидывается на спинку кресла, теряет сознание. Женщины хлопочут вокруг нее. Мы с волнением следим за ними.

Наконец она приходит в себя, приближается Аарон и дрожащими руками откидывает ее вуаль.

— Мазлтов! Поздравляем! Благословенный день! — кричат со всех сторон.

Я бегу к папе, бросаюсь ему на шею, и мы вместе плачем. Вся наша семья заливается слезами.

— Бог знает, что его ждет, если невеста еще до благословения падает в обморок!

Родственники невесты дружно улыбаются и приглашают гостей в зал. Заиграли скрипки — начинаются танцы.

ПОЕЗД

Я была уверена, что наш город — крайняя точка мира: ведь на витебском вокзале все поезда к одной платформе прибывают, а со второй отправляются в другую сторону.

Наша река Двина тоже течет к нам, а потом течение поворачивает. Даже солнце всходит на небе с одной и закатывается с противоположной стороны горизонта.

Но что же такое наш Витебск: начало или конец мира? Мучаясь этим вопросом, я бреду к вокзалу. Куда, в каком направлении отправится сегодня поезд?

В переполненном зале ожидания хаос и смятение. Все ждут поезд. Вот прозвучат три звонка, и вагоны отъедут, оставив растерянное стадо пассажиров. Пóезда ждут, как прихода Мессии. Вдруг задрожали стекла, что-то блеснуло, черный язык дыма застилает окна, и в зале поднимается суматоха. Но проезжает один паровоз, будто собрался на прогулку: покататься, поучиться ездить по рельсам. Люди вскакивают.

Какая-то женщина умоляет мужа:

— Поди, ради Бога, посмотри, что за поезд.

— Где ты видишь поезд? — Он отпихивает ногой чемодан. — Черт меня побери, если я что-нибудь знаю!

— Почему нас не выпускают наружу?

— Да тише вы, помолчите хоть немного! Звонка не услышим!

Все прислушиваются, толкают друг друга. Полная сумятица. Люди хватают свои вещи. Все приходит в движение, словно уже побежала земля из-под колес. Даже ветер закручивается волчком.

Все здесь, начиная с начальника вокзала, имеет весьма внушительный вид; как же иначе в городе, с которого начинается мир! Зал ожидания монументальный, с высокими и широкими окнами. Шторы спускаются волнами с самого потолка. Длинные буфетные столы с белыми скатертями сияют, как церковные купола. Обилие стекла и серебра, игра отражений в зеркалах, но все это тонет в сером однообразии пассажиров.

Толпа безумно разрослась. Неужели все обитатели Витебска вместе со своими пожитками хлынули сюда, чтобы покинуть его? А как же будет город без людей? Может, и домишки тоже упакованы и отправляются неведомо куда?

— Такая поездка — не шутка! — отфыркиваясь, жалуется закутанная в сто одежек, обложенная узлами и свертками толстуха. Она воздевает руки и причитает без умолку: — А вдруг я заболею в дороге? — Ее провожает вся семья. Каждый чувствует себя злодеем, но не знает, что сказать. Любой сочувственный вздох только раззадоривает страдалицу. Глаза ее наполняются слезами. — А как тут есть? Как спать? — все стонет она. — А вдруг, бывает же такое, мне флюс надует? — Провожающие молча прикидывают такую возможность, а женщина хватается за щеку и надвигает платок. Страшные мысли ворочаются у нее в голове, как жернова.

Она всю жизнь прожила со своим мужем на одном месте. И вдруг все переменилось. Смерть унесла ее спутника, и ей приходится уезжать.

— Дети, не прыгайте на вещах! Все раздавите! Мотл, — обращается она к старшему сыну, — я ничего не забыла? Боже мой, а где моя сумочка? Я так и знала, что что-нибудь потеряется! — Она заламывает руки, будто хочет изломать пальцы за их оплошность. — Дети, ищете, ищите везде, что вы на меня уставились! Не знаете разве — на вокзале полно воров! Вон, поглядите, что за тип шныряет! Носильщиком прикидывается, а сам настоящий жулик. По глазам видно. Думает, красную фуражку нацепил, так всех и одурачил!

— Тетушка, гляди, вон она, твоя сумка, лежит у тебя за спиной, на скамейке! — восклицает маленькая племянница.

— Благослови тебя Господь! — Тетушка треплет ее по щечке. — Умница какая! — Все смотрят на девочку. — Столько вещей, как все упомнишь... а тут, страшно сказать, воры кошельки из карманов вырезают.

— Да что вы сказки рассказываете, Шейне-Гитл! — взрывается пожилой родственник. — Не морочьте нам голову! Сколько народу ездит, и все, слава Богу, добираются!

Что этот старик понимает в поездах? Небось за всю жизнь нигде дальше синагоги не бывал! Шейне-Гитл не слушает его и сидит как на угольях. Стоит кому-то в зале чихнуть — она вскидывается:

— Поезд загудел! Ну-ка, сбегайте посмотрите, где он там? Он может прийти с минуты на минуту. Не успеешь проследить, всё ли взяли!

Вдруг в зал входит величественный контролер. Широкая малиновая шинель до полу развевается при каждом шаге. Серебряные пуговицы мечут искры. Он прокашливается. Все замерли. Медленно поднимает руку и, кажется, вырастает на глазах. Блестит зажатый в пальцах колокольчик. И, прежде чем он успевает зазвенеть, все толпой бросаются к выходу.

— Первый звонок! Смоленск, Брянск, Орел! Первый звонок!

Контролер и сам раскачивается, словно колокол, кричит и звонит во все стороны.

— Куда-куда идет поезд?

— Не слышал, что ли?

— А вам трудно повторить? С первого раза не поймешь.

— Лучше готовь билет да считай свои узлы!

— Куда побежал, дурень! Возьми ребенка на руки. А то еще и на него билет спросят. Ну что встал, остолоп? Беги скорей, займи место!

В дверях толкучка. Но контролер стоит стеной:



— Стоп! Билеты, показывайте билеты! — Пропускает он по собственному усмотрению. — Куда суешься? Ты едешь в Двинск! А это поезд на Смоленск. — Он загораживает проход. Протыкает щипцами билеты, как сердца. — Второй звонок! Смоленск, Брянск, Орел! Второй звонок!

Его голос подталкивает пассажиров, срывает с мест. Сидящих не остается. В буфете официанты суетятся вокруг столиков.

— Вот болваны! Расселись хлебать горячее, когда, того гляди, поезд уйдет из-под носа!

— Третий звонок!..

Я не знаю, на кого глядеть. Все кругом волнуются, и я тоже начинаю часто дышать. Все эти люди вдруг становятся мне дорогими и близкими. Как будто уезжает моя семья и оставляет меня одну. Вернутся ли они когда-нибудь? И что станет с городом?

Паровоз разводит пары, гудит, готовый увлечь за собой вагоны с пассажирами. Из окна первого класса смотрит важный господин. В его застывших глазах что-то мелькает. Он отъезжает равнодушно. И все же, наверное, невесело ему в купе одному. Снаружи видны крытые бархатом пустые сиденья. Ничьи головы не согревают кружевных накидок. В другом окне словно сошедшая с картинки элегантная дама. Она улыбается — мне или, может, самой себе? Смотрится в стекло, как в зеркало. Обе фигуры похожи на фарфоровые куклы. А в третьем классе толчея. Поезд содрогается. Пассажиры судорожно заскакивают на подножки, провожающие поспешно выходят.

— Скорей в вагон!

— С Богом!

— Садись у окна. Но смотри не простудись. Подними воротник.

Последние возгласы несутся из окон и дверей, застывают на губах оставшихся на перроне друзей, переходят во взмахи трепещущих на ветру платочков.

Состав оторвался от города.

Дым вытягивается в длинное облачко. Вспыхивают огненные языки над трубой. Скрипят колеса. Паровоз отдувается, катится вагон за вагоном. Еще виднеется блестящая от пота, освещенная пламенем голая спина кочегара.

Я возвращаюсь словно с похорон.

Поезд едет вдаль, а я иду назад, в город. Он похож на опустевший дом. Ну хоть деревья уцелели? Парят над крышами их воздетые руки. И тишина.

Или и впрямь весь город уехал?



Послесловие

Белла всегда мечтала стать актрисой. И стала ею, играла на сцене, имела успех. Но вернулся из Парижа я и женился на ней. А потом мы уехали во Францию вместе. С театром было покончено навсегда.

Долгие годы ее любовь освещала все, что я делал. Но у меня было чувство, словно что-то в ней остается нераскрытым, невысказанным, что в ней таятся сокровища, подобные берущему за сердце «Жемчужному ожерелью». Ее губы хранили аромат первого поцелуя, неутолимого, как жажда истины.

Откуда эта скрытность от друзей, от меня, эта потребность оставаться в тени?

Так продолжалось до последних, проведенных в изгнании лет, когда в ней пробудилась еврейская душа, ожил язык предков.

Стиль, в котором написаны «Горящие огни» и «Первая встреча», — это стиль еврейской невесты, изображенной в еврейской литературе.

Она писала, как жила, как любила, как общалась с друзьями. Слова и фразы ее подобны мареву красок на полотне.

С кем сравнить ее? Она ни на кого не похожа, она одна-единственная, та Башенька-Беллочка, что смотрелась в Двину и разглядывала в воде облака, деревья и дома.

Люди, вещи, пейзажи, еврейские праздники, цветы — вот ее мир, о нем она и рассказывает.

В последнее время я часто заставал ее читающей ночью в постели, при свете маленькой лампы, книги на идише.

— Так поздно? Давно пора спать.

Помню ее в номере загородной гостиницы за несколько дней до того дня, когда она уснула навечно. Как всегда свежая и прекрасная, она разбирала свои рукописи: законченные вещи, наброски, копии. Подавив шевельнувшийся страх, я спросил:

— Что это вдруг ты решила навести порядок?

И она ответила с бледной улыбкой:

— Чтобы ты потом знал, где что лежит...

Она была полна глубокого, спокойного предчувствия.

Словно вижу ее, как тогда, из гостиничного окна, сидящей на берегу озера перед тем, как войти в воду. Она ждет меня. Все ее существо ждало, прислушивалось к чему-то, как в далеком детстве она слушала лес.

Вижу ее спину, ее профиль. Она не шевелится. Ждет, размышляет и уже угадывает что-то потустороннее...

Смогут ли сегодняшние, вечно спешащие люди вникнуть в ее книги, в ее мир?

Или прелесть ее цветов, ее искусства оценят другие, те, что придут позже?

Последнее, что она произнесла, было:

— Мои тетради...

2 сентября 1944 года, когда Белла покинула этот свет, разразился гром, хлынул ливень.

Все покрылось тьмой.

Марк Шагал,

Нью-Йорк,

1947

Н.В.Апчинская

«ГОРЯЩИЕ ОГНИ» БЕЛЛЫ ШАГАЛ

В Библии Бог создает Еву из ребра Адама со словами: «Пусть она зовется «жена», ибо от мужа взята она». До конца понять эту фразу можно, лишь зная, что на иврите, языке Священного Писания, слово «жена» — иша — происходит от слова «муж» — иш[1]. А поскольку весь мир, по Библии, сотворен божественным Словом, очевидно, что единство первой пары, ставшей архетипом всех последующих, не фигуральное, а самое прямое.

Так же прямо, но с помощью пластических средств изображал Марк Шагал свое духовно-телесное единение с Беллой, автором предлагаемой читателю книги. Она была не только женой и главной любовью художника, но также его музой, героиней множества произведений и воплощением того вечно женственного начала, которое верующие иудеи именуют словом «Шхина».

Белла (Берта) Самойловна Розенфельд (1892 (?) — 1944) родилась в Витебске в семье богатого коммерсанта, владевшего несколькими ювелирными магазинами[2]. Подобно Шагалу, она получила еврейское и русское образование. Окончила одну из самых престижных гимназий города (Мариинскую) и посещала в Москве известные женские курсы В.И.Герье, где изучала историю, философию и литературу (темой ее диплома было творчество Достоевского)[3]. Перед Первой мировой войной Белла училась также в столице актерскому мастерству в одной из студий, руководимых Станиславским. В 1915 году она вышла замуж за Шагала и разделила с ним тяготы военного и революционного времени, сопровождала в переездах из Витебска в Петроград и в Москву и далее — в Берлин и Париж.

Еще до отъезда из России Белла вынуждена была покинуть театр из-за травмы, полученной на репетиции[4]. В дальнейшем ей удалось все же реализовать свои творческие возможности, но не на театральном, а на литератур-

22 – 2694

ном поприще. В конце 20-х она перевела с русского на французский шагаловскую «Мою жизнь», а в середине 30-х начала писать собственные мемуары.

Толчком к их сочинению послужила поездка летом 1935 года в Вильно по приглашению созданного там Еврейского научного института[5].

Общение с еврейским населением Вильно и Варшавы, посещение там гетто и синагог произвели на Шагала и его жену тяжелое впечатление, и они вернулись во Францию с ощущением неотвратимо надвигающейся гибели восточно-европейского еврейства[6]. Вскоре после приезда Белла приступает к работе над воспоминаниями детства, несомненно вдохновленными шагаловской автобиографией. Свою книгу она пишет на идише, языке детства. Пафос ее сочинения сродни тому, которым было во многом проникнуто и творчество Шагала, — запечатлеть и тем самым спасти от забвения черты еще полной жизни, но уже обреченной идишистской культуры. Но если Шагал воссоздавал эти черты, главным образом, кистью живописца, карандашом и пером рисовальщика или резцом гравера, то его жена рождает их с помощью слова. В ее писательстве нашли опосредованное выражение и ее актерские таланты: умение перевоплощаться в разных людей, думать и чувствовать, как они, говорить их языком. Сочинение мемуаров стало главным делом Беллы в Париже, в конце 30-х, и в Нью-Йорке, куда семья Шагала, спасаясь от нацистов, эмигрировала в 1941 году. В сентябре 1944-го Белла, заболев, умирает в американском госпитале, и ее предсмертные слова, по свидетельству мужа, были: «Мои тетради...» Они были вскоре изданы в Нью-Йорке в двух книжках. Первая, под названием «Зажженный огонь», вышла в 1945-м, вторая — «Первая встреча» — в 1947-м, обе — на том языке, на котором были написаны. В 1973 году, когда Шагал уже снова жил во Франции, две книги, сохранив заголовки и хронологическую последовательность, стали частями одной, опубликованной в Париже издательством «Галлимар» в переводе на французский дочерью Марка и Беллы — Идой. С этого издания и выполнен настоящий перевод.

В отличие от «Моей жизни», воспоминания Беллы целиком посвящены детству. В тексте отражены два как будто идущих навстречу друг другу устремления: «поиски ут-

раченного времени» взрослой мемуаристкой и открытие мира ребенком — действующим лицом мемуаров. Название второй части: «Первая встреча» — обозначает встречу героини и с будущим мужем, и с окружающей реальностью, впервые открывающейся детскому взору, и может быть отнесено ко всему повествованию. Но в его названии упомянуты огни, которые зажигаются (как правило, женщинами) в религиозные праздники и которые словно высвечивают для писательницы ее прошлое. Таким образом, заголовки указывают на две стороны описанной в книге жизни — мирскую и сакральную, причем подчеркнуто, что основой всего является именно сакральная.

Белла пишет о ней с глубоким сопереживанием. В каждую субботу, а также в Судный день, в праздники Кущей и Торы, в Хануку, Пурим или на Пасху забывались тяготы жизни и прекращалось само течение времени. Человек оказывался в совершаемой вновь и вновь Священной истории. Славили Творца всего сущего (Его имя было запретным и заменялось перечислением атрибутов), каялись в грехах, молили о прощении за совершенное в прошлом и о даровании благ в будущем. Очищенный покаянием, верующий восстанавливал связь с Богом и миром и соединялся с умершими близкими. Религиозный экстаз, горение души, устремленной к Богу, воплощались не только в молитвах и песнопениях, но и в огнях светильников. На страницах книги мать Беллы постоянно зажигает свечи или масляные светильники, ограждая их руками от враждебных сил; свой маленький светильник возжигает и Белла. В праздник Хануки день за днем прибавляются огни в храмоподобных восьмисвечниках, хануккиях, — память о чуде, происшедшем во времена Маккавеев, когда в Иерусалимском Храме восемь дней горел лишенный масла светильник. Все эти огни, даже погашенные, продолжают освещать будни, ибо в праздничные дни создается фундамент, непоколебимые устои повседневного уклада. Соответственно именно праздники образуют костяк посвященной этому укладу книги.

В отличие от повторяющихся праздничных ритуалов обыденная жизнь предстает не только более земной, но и более разнообразной и менее упорядоченной. Впрочем, поскольку все покоится на религиозных основах, четко отделить одно от другого невозможно. Сама материя, из которой

ткутся праздничные и будничные дни, во многом одинакова и при этом соткана из бесконечно разнообразных подробностей. Главы с описанием субботних трапез, религиозного воодушевления в синагоге в Судный день, сооружения шалаша для праздника Кущей или перипетий пасхального седера — плавно перетекают в главы, в которых рассказывается о свадебных церемониях и мытье в бане (тоже в основном ритуальных), о занятиях с ребе, семейных завтраках и ужинах, об играх и поездках на «ханукальные деньги» на санях с извозчиком, о том, как горят дрова в печке или возрождается весной природа... В образе рассказчицы сливаются воедино вдумчивая, внимательная, хотя и по-детски наивная девочка и писательница с зорким взглядом и умением находить словесный эквивалент бестелесным образам прошлого. И в детстве, и во взрослой жизни Белла остается мечтательницей с «головой в облаках»; она и впрямь постоянно смотрит в небо, не упуская, однако, из виду ничего из того, что происходит вокруг нее на земле. Кажется, что главная ее задача — показать цветущее изобилие жизни, тем более полное, что детство ее (в отличие от шагаловского) протекает в богатой семье с еще не разрушенным войнами и революциями полнокровным и устоявшимся бытом. (Недаром Шагал в «Моей жизни» при описании свадебного стола в доме своей невесты вспоминал о «пирах» Веронезе.) Все, о чем она пишет, предстает в яркости, присущей самому первому восприятию мира, и при этом как одушевленное и связное целое. (Отсюда, в частности, сравнения и метафоры, которыми переполнен текст.) Подобный взгляд — черта детского, поэтического и религиозного мировидения — был в равной мере присущ и Белле-ребенку, и Белле-писательнице. Звезды у нее спускаются ниже, чтобы рассмотреть прохожих на мосту, но отказываются следовать за ними в узкие улочки, предпочитая остаться на речном просторе. Часы разговаривают, как дети, или ворчат, как старый брюзга, их сердца бьются, и они способны замирать от счастья. Во время праздника оживают портреты раввинов на стенах и сами стены. Драгоценные камни в бережных руках отца раскрывают каждый свою красоту и наполняются светом, порой они обнаруживают таинственную способность влиять на судьбы людей.

Умение видеть все изнутри, как и дар психологического анализа, особенно ярко проявилось в портретной галерее кни-

ги. Она полна запоминающихся образов. Это и сама героиня, и ее любимый младший брат Абрашка, сорванец, неистощимый на проказы. Мать, соединяющая религиозное рвение с кипучей мирской деятельностью, держащая в руках дом и магазины. Отец, занятый по преимуществу молитвами, чтением и толкованием Писания, царящий на всех праздниках, подобно библейскому патриарху. Еврейская кухарка Шая и русская горничная Саша. Служащие магазина и родственники. Часовщик, так влюбленный в свое дело, что почти не замечает близких... Все они изображены с любовью, но без прикрас, в осязаемой трехмерности своего духовного и физического облика. Мы слышим их живые голоса, разговоры, крики, перебранки — устную речь с ее интонациями, нежностью или грубостью, жаргонными словечками и идиомами.

Во второй части воспоминаний появляется персонаж, меняющий плавное течение жизни героини. Встреча с Марком Шагалом повергает Беллу в глубокое смятение и пробуждает в ней гамму противоречивых чувств. Он не похож на окружающих, кажется чужаком, хотя живет всего лишь на противоположном берегу реки[7]. В нем есть нечто и от ангела, и от фавна, и от зверя. Его появление пугающе-таинственно и провиденциально.

Примерно так же описывает свою встречу с Беллой в доме ее подруги Теи Брахман и Шагал в «Моей жизни». Правда, стиль его повествования, совпадающий со стилем его пластического искусства, иной — гениально сжатый, исповедально-личностный и экспрессивный. Свой рассказ он кончает словами: «И я понял: это моя жена... Это мои глаза, моя душа»[8].

Читая книгу Беллы — все ее главы, а не только те четыре, в которых речь идет о встречах с Шагалом, постепенно осознаешь, что у нее была в самом деле во многом его душа — летящая с обращенным к земле взглядом, как на знаменитой картине 1910-х годов. Среди их душевных и творческих соответствий — не только мечтательность и укорененность в быте, но также юмор и психологизм, приятие жизни и умение видеть ее как одушевленное целое (идущие во многом от хасидизма), а также стремление запечатлеть приметы национальной культуры, не замыкаясь в национальной обособленности и не отгораживаясь от окружающего большого мира. Все это, естественно, проявля-

лось у Беллы в иных масштабах, по сравнению с Шагалом, без его гениальности, визионерства и экстатичности.

Любовь к своему народу у автора «Горящих огней» сочетается с полным отсутствием ксенофобии. Характерно, что один из самых привлекательных персонажей книги — русская служанка Саша. Она глубоко привязана к маленькой Белле, и та платит ей тем же. Вообще, во взаимоотношениях евреев и русских в мемуарах нет и намека на национальную и религиозную вражду. Черта оседлости, гетто, погромы — все это как будто остается «за кадром». Однако не случайно так напряженно-драматична глава, посвященная чтению во время праздника Пурим библейской «Мегилла Эстер». Праздник этот радостный, поскольку в Библии Эстер — в русской транскрипции Эсфирь — победила-таки врага еврейского народа Амана. И все же страх перед вновь и вновь воскресающим Аманом не ослабевал на протяжении всей еврейской истории. Белла посвятила ему всего лишь одну главу, но в ней есть, кажется, предчувствие (или знание?) невыразимого ужаса Катастрофы, которая постигнет евреев в XX веке.

«Горящие огни» начинаются с описания пустого дома, который затем наполняется его обитателями; постепенно к нему присоединяется и густо населенное пространство окружающего мира. В эпилоге Белла наблюдает уезжающих из Витебска, и ей кажется, что и город опустошается, как дом. Может быть, он тоже уехал куда-то, как поезд?

Все кончается в жизни: детство, а порой и дом, и город, и даже страна, в которой это детство протекало... В современном Витебске осталось мало евреев и почти ничего не сохранилось от города начала века, в котором цвели и плодоносили различные национальные культуры и который Репин сравнивал по красоте архитектуры с Толедо в Испании.

В книге своей жены Марк Шагал присутствует не только как действующее лицо, но, в определенном смысле, как соавтор. В 68 рисунках тушью он прослеживает главные эпизоды, создает портреты, вчитывается в текст и соприкасается с душой автора, выстраивая собственное повествование[9]. Рисунки к «Горящим огням» во многом продолжают иллюстрации к автобиографической прозе художника. Если офорты к «Моей жизни» относятся в основном к началу 20-х, то гра-

фические листы к мемуарам Беллы были выполнены в конце 30-х и в последующие десятилетия. В них уже нет характерных для начала 20-х кубистических сдвигов, сочетающихся с некоторой тяжеловатостью, предметностью и пространственной замкнутостью изображений. Образы выглядят более легкими, бесплотными, поэтически-свободными, парящими. Однако природа их остается прежней. Как все, что создавал Шагал, они воплощают внутреннее видение, представляют собой материализацию поэтической идеи, в основе которой лежит синтез и автономность от эмпирической, видимой лишь глазом реальности. Подобно библейскому Творцу, от которого художник наследует прежде всего именно творческую способность, он создает новый мир, живущий по своим законам, но питающийся соками живой жизни. Каждый его рисунок имеет обобщающий характер, что не мешает ему быть и детальным, и конкретным.

Столь же характерна для Шагала метафоричность, отражающая связь всего сущего. Он изображает не обнимающихся, а само объятие, хотя влюбленные при этом присутствуют. Не танцующих, а танец, его пластику, ритмы, душу, опять же воплощенную в конкретных персонажах. Не молящихся, а религиозный экстаз, порыв к Богу, который превращает скромный киот со свитками Торы в подобие Божественного Престола, а пространство синагоги расширяет до неопределенных размеров. Сам иллюстратор предстает порой в птичьем обличье, ибо миссия художника, как и поэта, — вестничество; порой — в образе фавна или кентавра.

Все изображенное, не только персонажи, но и предметы, имеет изначально духовную природу. Между тем даже ангелы, оставаясь существами иного мира, приобретают вполне земной облик. (Особенно впечатляет пророк Илия, который слетает с небес с бокалом ритуального вина в руке.) В связи с этим хотелось бы привести уже цитированное мною в работах о Шагале высказывание Вл. Соловьева о присущей иудаизму вере в невидимое и одновременно желании, чтобы «невидимое стало видимым», вере в дух, но только такой, «который проникает все материальное и пользуется материей как своей оболочкой и орудием»[10]. У Шагала материальное и духовное в полной мере «проникают» друг в друга, но при этом составляют оппозицию. Духовность у него конкретна, образы индивидуальны и психологичны, хотя сквозь

их личностные черты проглядывают сверхличные. Благодаря своему дару и своему методу художник из Витебска смог пластически выразить вневременную сущность национального бытия, духовного и физического, воплотив ее в живых персонажах — и в том числе в персонажах графики к «Горящим огням». Мы видим отца Беллы, грезящего над Писанием со смущенной и радостно-легкой улыбкой; озабоченного и внутренне собранного над жемчужным ожерельем или монументально-замкнутого на прогулке. Ребе, олицетворяющего благочестиво-фанатичную углубленность в священные книги в противовес своей предающейся мечтам ученице. Родственники, служащие магазина и прочие иудеи показаны по-местечковому глуповато-простодушными, но в своей глубокой религиозности истинно «божьими детьми». Все эти портретные образы замечательны именно сочетанием индивидуальной и сверхиндивидуальной национальной неповторимости.

Внутренняя духовная природа шагаловских иллюстраций определяет особенности их пластического языка. Поскольку изображается не природный объект, а поэтический образ, изображение подчиняется не природным, а поэтическим законам. В рисунках нет пустых, не заряженных мыслью и чувством мест (при том, что художник часто оставляет ничем не заполненной поверхность листа) — недаром он именовал свой стиль «психопластикой». Все, что не работает на образ, попросту опускается, рождая дополнительные смыслы: парадоксальной игры, энергии и лаконизма. Особенно яркий пример — иллюстрация к главе «Стакан сельтерской» или фигура еврея, идущего в праздник Кущей с ритуальной ветвью в руке. В этой фигуре оставлены только голова, рука, держащая ветвь («лулим»), ступни ног и линия, намечающая очертание спины. Графика здесь, как и в других работах мастера, заимствует приемы у литературы; можно привести хрестоматийный пример — описание с помощью нескольких деталей лунной ночи в чеховской «Чайке».

Жесты шагаловских персонажей прямо выражают эмоции, параллельно рисуют абрис тела и траекторию его движения, заставляя вспомнить и другого Чехова — выдающегося актера и режиссера Михаила Чехова, с его теорией и практикой «психологического жеста», передающего внутреннюю сущность образа.

Фигуры у художника и движутся, и стоят на месте, как в архаическом и средневековом искусстве, ибо они представляют собой графический знак, который соединяет в себе преходящее и неизменное. Знаковость обуславливает близость изображения к слову, его связь с письменной речью и самой техникой письма. Недаром Шагал отождествляет себя с поэтом, а его жена в иллюстрациях не расстается с книжкой. Он рисует, как пишет, используя разный нажим пера, цезуры и многоточия. С другой стороны, духовная основа его образов находит отражение в их постоянной дематериализации, в исчезающе-малых штрихах и точках, почти неразличимых по своей тонкости контурах.

Основанное на контрастах видение мастера из Витебска обусловило его пристрастие к парным портретным композициям, которых немало в иллюстрациях. В них противопоставлены психологические типы и состояния, характер и сама субстанция образов — замкнутых и открытых, линеарных и вылепленных пятном, плотных и развеществленных, черных и белых. Иногда добавляется третий персонаж, и образуется не менее характерный для Шагала «тройственный союз» мужчины, женщины и животного.

В соответствии с содержанием и названием книги особое место в иллюстрациях занимают религиозные праздники, причем некоторые композиции — такие, как «Праздник Кущей» и «Подарки на Пурим», — повторяют созданные еще в 1910-е годы. Через всю книгу проходит также изображение Беллы, девочки, потом девушки. Она молится вместе с матерью, выбегает навстречу пророку Илие, купается или катается на коньках, позже встречается с Шагалом и вдохновляет его на создание картин, но чаще всего — погружена в чтение.

Другой сквозной образ графики тоже связан с текстом и вместе с тем отражает один из ведущих мотивов всего творчества Шагала.

Это образ часов и Времени.

Как и в мемуарах Беллы, часы у автора иллюстраций зачастую принимают человеческий облик, в одном из рисунков они уподобляются, например, в соответствии с надписью на футляре, французскому королю. На многих листах показан переполненный самыми разными часами магазин Розенфельдов (замечательно, что ко всем своим духовным

соответствиям Шагалу Белла оказалась еще и дочерью коммерсанта, успешно торговавшего не только ювелирными украшениями, но и часами). На одном из листов мать держит в руках часы с брелоком, подарок для новобрачных, в то время как родственники совещаются по поводу цены. Серьезность их размышлений заставляет предположить, что речь идет не столько о стоимости часов, сколько о цене Времени.

Для Шагала время — не Хронос, пожирающий своих детей, а источник столь важного для художника многообразия форм, рождающий полновесные, как яблоки, плоды Бытия. Подобный образ возникает в рисунке, на котором стенные часы с человеческим лицом держат рукой шар маятника, в то время как кисть другой руки, принадлежащей человеку, протягивает навстречу часам яблоко. Но время, связанное с человеческой жизнью, лишь оборотная сторона атрибута Божества — Вечности. Этой теме посвящен рисунок, на котором Белла читает, уютно устроившись внутри часов, парящих над городом. Подобные мотивы появились в искусстве Шагала еще в 30-е годы, они отражали главную, в его представлении, оппозицию Бытия — и его собственное стремление «сидеть в своем углу» и одновременно приобщаться к большому миру, быть «у времени в плену» и выходить за его пределы.

Собственно, в этом суть описанных в книге религиозных праздников, их огни зажигаются и гаснут, но символизируют веру в иной, негасимый, свет. Его отблеск падает и на совместное творение Беллы и Марка Шагала, на все его словесные и графические образы.

Примечания

[1] Пятикнижие Моисеево, или Тора. Брейшит. М., 1991, с.51. Цитата из Книги Бытия приведена по этому же изданию.

[2] Семья Беллы жила по соседству с самым большим своим магазином, в одном из наиболее известных домов Витебска. Он располагался в центре города, на правом берегу Витьбы, напротив ратуши и костела св. Антония, и принадлежал купцу Бейнусу Витенбергу. Помимо Розенфельдов, среди арендаторов был владелец гостиницы «Брози», давшей название всему дому. Как пишет современная исследовательница, «здесь же находи-

лись магазин Яхнина по продаже канцелярских принадлежностей, а также холстов, кистей и красок для художников, мебельный магазин Шехтера, кондитерская «Жан-Альбер» (ее вывеску можно прочесть на рисунке Шагала. — *Н.А.*), а также фотографическое ателье Маковского. Место было всегда людное, бойкое, а если учесть, что при магазине Яхнина работала скоропечатня, а владелец гостиницы заманивал своих клиентов кегельбаном, бильярдными комнатами и рестораном с русской и французской кухней, то, возможно, и чрезмерно шумное. Однако обитатели дома Витенберга в конце концов привыкали к такому образу жизни и волей-неволей вносили в него свою лепту. Розенфельды, например, держали во дворе дома корову» (Людмила Хмельницкая. Штрихи к портрету. «Мишпоха». Витебск, 1998, № 4, с.31 — 32).

Л. Хмельницкая (директор Дома-музея Марка Шагала в Витебске), опираясь на архивные изыскания, прослеживает также историю Розенфельдов в XIX и начале XX века, начиная с первого упоминания этой фамилии в архивных документах (1832).

В том же номере журнала «Мишпоха» опубликована статья известного витебского краеведа Аркадия Подлипского: «Белла из семьи Розенфельдов», в которой подробно рассказано об отце и матери жены Шагала и приведены собранные в результате многолетних изысканий сведения о судьбах членов семейства, о которых идет речь или просто упоминается в ее книге. Приводим краткое резюме этой статьи.

Отец писательницы, Шмуль-Неух (или Ноах) Розенфельд (1863 — 1923), был сыном Ицхака Розенфельда, о котором Шагал в «Моей жизни» писал, что он «только и знал, что молиться с утра до ночи», швырял в печку все написанное по-русски и призывал всех евреев идти в хедер или в раввины. Шмуль-Неух унаследовал религиозность отца, был ревностным хасидом, почитателем главы витебских хасидов ребе Шнеура Залмана. Окончив в 16 лет иешиву, среднюю религиозную школу, стал видным талмудистом и в течение ряда лет исполнял обязанности старшины Талмуд-Торы, бесплатной религиозной школы для мальчиков. В 1877 или 1878 году он женился на Фриде Боруховне Левьянт (1863 — 1943), дочери богатого торговца, который организовал торговое дело Розенфельдов. Его фактическим руководителем всегда была Фрида-Алта, унаследовавшая от отца деловую хватку; в итоге Шмуль-Неух стал богатым человеком, владельцем четырех ювелирных магазинов. После революции Розенфельды лишились всего иму-

щества (обыск чекистов в их доме красочно описан в «Моей жизни») и переехали в Москву.

У Розенфельдов было восемь детей: шесть сыновей и две дочери. По старшинству: Исаак, Анна, Яков, Аарон, Израиль, Мендель, Абрам и Берта (Белла). Начнем с младшего, любимого брата Беллы, который не сходит со страниц ее книги, — «Абрашки».

Абрам Самойлович (так звучит отчество детей Шмуля-Неуха в русской транскрипции) Розенфельд (1890 — 1980) пережил всех своих братьев и сестер. Он закончил реальное училище в городе Скопине Рязанской губернии, затем Киевский коммерческий институт, работал инженером-экономистом. Его сын стал крупным ученым, автором многих работ по истории математики средневекового арабского Востока.

Старший брат Беллы, Исаак (1878 — ?), учился в Швейцарии, где окончил философский и медицинский факультеты, позже жил в Париже, общался там с сестрой и с Шагалом.

Об Аароне Розенфельде (ок. 1882 — 1941) известно лишь, что он прожил бóльшую часть жизни в Петербурге — Ленинграде и умер там во время войны.

Яков Розенфельд (1883 — 1973) стал известным советским экономистом, доктором наук, профессором. Учился в Женеве и Гессене, до революции некоторое время был репетитором будущего поэта Демьяна Бедного. В руководимом им Военно-промышленном комитете в Петрограде Шагал работал в 1915 году, о чем вспоминал в «Моей жизни»: «Начальник безжалостно тиранил меня. Это был мой шурин, который все боялся, как бы ему не попало за мою нерадивость, вот и придирался...» В 1915 — 1917 гг. художник с семьей несколько раз побывал на даче шурина в Заольше (близ Лиозно). Яков Розенфельд был профессором Политехнического института в Ленинграде, а с 1940 г. преподавал в ЛГУ, откуда был уволен в 1947-м во время борьбы с «космополитизмом». В 1949-м он был арестован и провел шесть лет в лагерях и ссылке, после чего вернулся в Ленинград и продолжил научную работу.

Израиль Розенфельд (ок. 1885 — ок. 1942) должен был стать продолжателем дела отца, обучался за границей работе с драгоценными камнями, но после революции так и не смог реализовать свои способности и применить свои знания.

Единственная сестра Беллы, Анна (1879 — ок. 1960), была одной из первых витебских социал-демократок. Видным революционным деятелем был и ее муж, А.М. Гинсбург, член витеб-

ского комитета РСДРП, автор книги «История социализма и рабочего движения». В 20-е годы он работал в аппарате Высшего совета народного хозяйства, преподавал, а в 1930-м был арестован и приговорен к 10 годам заключения; дальнейшая его судьба неизвестна.

[3] А. Подлипский. Белла из семьи Розенфельдов. «Мишпоха», 1998, № 4, с. 35.

[4] Там же.

[5] Институт сокращенно назывался ИВО (Идишер Виснщафтлахер Институт). 15 августа 1935 года Шагал прочел на его съезде доклад: «Что мы должны сделать для еврейского искусства». (См.: Марк Шагал. Ангел над крышами. Стихи. Проза. Статьи. Выступления. Письма. Перевел с идиша Л. Беринский. М.: 1989, с. 127 — 132.)

[6] Позже Шагал напишет в стихотворении «Виленская синагога»:

Строенье старое и старенький квартал...
Лишь год назад я расписал там стены.
Теперь святейший занавес пропал.
Дым и зола летят, сгущая тени...

(*Марк Шагал. Ангел над крышами, с. 38*)

[7] Шагал родился, как и Белла, в Витебске, а не в Лиозно, как было ошибочно указано в вышедшей в 1918 году книге А. Эфроса и Я. Тугендхольда «Искусство Марка Шагала». Эту ошибку спустя почти 70 лет повторили авторы каталога «Возвращение мастера», и с тех пор она тиражируется в разных отечественных изданиях (в том числе во втором издании «Моей жизни», выпущенном в 2000 году петербургским издательством «Азбука») и телепередачах.

[8] Марк Шагал. Моя жизнь. М.: 1994, с. 77.

[9] О своем отношении к книжной иллюстрации художник писал: «Я всегда мечтал работать с книгами, сливаться с литературой... Эту работу я понимал не как иллюстраторство, как таковое, но — сродство, сродственность в искусстве» (Марк Шагал. Ангел над крышами, с. 136).

[10] Вл. Соловьев. Еврейство и христианский вопрос. Берлин, 1921, с. 21.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОРЯЩИЕ ОГНИ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

МОИ ТЕТРАДИ

Белла Шагал

ГОРЯЩИЕ ОГНИ

Редактор Ю.И.Зварич
Художественный редактор Е.П.Кузнецова

Шагал Б.

Ш15 Горящие огни: Пер. с фр. — М.: Текст, 2001. — 351 с.: ил.

ISBN 5-7516-0205-6 Лидина

Белла Шагал была не только женой и великой любовью художника, но и его музой, героиней множества его картин. Книга «Горящие огни» продиктована желанием писательницы запечатлеть и тем самым спасти от забвения быт и культуру родных мест. В иллюстрациях к книге Марк Шагал отображает главные ее эпизоды, создает портреты, выстраивает собственное графическое повествование. На русском языке публикуется впервые.

ББК 84(4Фра)

Лицензия ИД № 03308 от 20.11.2000
Подписано в печать 24.01. 01. Формат 84 × 108/32.
Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 16,02.
Тираж 5000 экз. Изд. № 337.
Заказ № 2694

Издательство «Текст»
125299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1
Тел./факс: (095) 150-04-82
Представитель в СПб. и «Книга — почтой»:
(812) 311-96-31

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93

КОЛЛЕКЦИЯ / текст



Она молчит, я тоже.
Она смотрит — о, ее глаза! — я тоже.
Как будто мы давным-давно знакомы
и она знает обо мне все: мое детство,
мою теперешнюю жизнь и что со мной будет;
как будто всегда наблюдала за мной,
была где-то рядом,
хотя я видел ее в первый раз.
И я понял: это моя жена.
На бледном лице сияют глаза.
Большие, выпуклые, черные!
Это мои глаза, моя душа.

Марк Шагал



ISBN 5-7516-0205-6

